

95
9
11
1344



6-0000

K ↓
12/11

9
11

$$\frac{95}{1344}$$





фбис

борис пильняк

9 95
1344

О ' к э й

американский роман



ф е д е р а ц и я

м о с к в а - 1933



2010456461



64-36



1

4 июля 1776 года, в день объявления независимости, в день возникновения Соединенных Штатов, в Филадельфии, американская женщина Бэтси Росс подарила Джорджу Вашингтону, первому американскому президенту, первое американское знамя. Это было полтора года тому назад. 7 ноября 1931 года, в годовщину Октябрьской революции, в Детройте, американская женщина Бэтси Росс, праправнучка первой Бэтси Росс, передала коммунистическое красное знамя детройтской организации коммунистической партии.

2

За последние двадцать лет впервые в январе 1931 года я давал полуобязательство верить в бога и не быть бандитом, равно как и анархистом. Происходило это обстоятельство в Германии, в Берлине, в американском консульстве. Мне предложено было прочитать параграфы, написанные по-русски безграмотным языком, точнейшим переводом с английского, где сослагательным наклонением значилось:

— если вы не веруете в бога —

— если вы едете с намерением заняться бандитизмом —

— если вы едете с намерением убивать представителей правительства и дипломатов дружественных держав —

— если вы едете нарушать законы —

Я попросил эту скрижаль на память. Мне отказали. Когда я прочитал эту картонную скрижаль, консульская леди, проникновенно сощуриив глаза, сказала:

— Если есть пункты в этом билле, вы должны предупредить заранее... Вы прочитали внимательно? Если есть пункты, относящиеся к вам...

Консул, оставшись со мной с глазу на глаз, повторил вопрос:

— Вы прочитали пункты?

— Да, — ответил я.

— Есть пункты, относящиеся к вам? — спросил консул.

Когда люди теряются, они разводят околесицу: я собрался было учинить исторический экскурс в американское бытие о том, что американское население-де действительно слагалось из верующих бандитов, и ужели действительно-де и до сих пор много в Америке бандитов, и так это нормально, что бандиты чистосердечно, подобно верующим в бога, признаются в своих намерениях, как явствует из билля?..

— Но вы же большевик! — сказал консул.

Тогда я протянул вперед мой красный паспорт,

замолчав. Консул и я внимательно и молчаливо по-сматрели на паспорт, оставив не вырешенной словами дилемму красного паспорта.

— Вы имеете доллары? — спросил консул.

— Да, — ответил я.

Я решил, что в визе мне отказано. Но визу мне дали, предположив, должно быть, что в бога я верую, равно как и не бандитствую, и обязав меня не бандитствовать и веровать. Иного основания в выдаче мне визы представить невозможно. Став при получении визы экстренно верующим, я впервые осознал, что такое гипокритство, мысли мои опустив в раздумье о веровании и о бандитах.

Консул, передавая паспорт леди для дальнейших формальностей, сказал:

— О-кэй.

Если бы я знал, что такое значит «о-кэй», я, конечно б, повторил его консулу в эхо. И пусть будет здесь же дано объяснение этого слова. В начале девятнадцатого века президентами в Соединенных Штатах предпочтительно бывали генералы, люди военные и ненаучные. И был президентом генерал Андроу Джэксон. Есть на английском языке два слова: «all correct», что значит — все правильно, совершенно верно. Президенту Джэксону приносили на подпись законы. Он визировал их двумя буквами: «о. к.», полагая по грамотности своей на слух, что он пишет первоначальные буквы слов «all correct», потому что «all correct» на слух прсизносится «оалл коррект»: эти же

две буквы — о. к. — произносятся по-английски «о-кэй». Так и пошло по президентско-генеральской безграмотности это «о-кэй», распространенное и узаконенное в Америке, как «олл-райт» в Англии и «ма-манди» в Китае.

И больше, чем «олл-райт».

Разорился американец на бирже — «о-кэй». Расшиб американец автомобиль — «о-кэй». Свернули американцу скулу в футболе — «о-кэй». Ограбили бандиты — «о-кэй». Президенты теперь ставят «о-кэй» на законах из солидарности предшественному невежеству. И я говаривал «о-кэй», чтобы ничему не удивляться.

3

Некогда пионеры вслед Колумбу плыли до Америки месяцами.

Пароход «Бремен» ныне идет от Шербурга до Нью-Йорка четверо с половиной суток. Описание этих океанских левиафанов, данное Иваном Буниным в повести «Господин из Сан-Франциско» и казавшееся несколько лет тому назад классическим, ныне устарело почти так же, как стимботы. Сравнить с уездным городом пароходы типа «Бремена» нельзя, — это город уже губернский. Партер московского Большого театра меньше салона первого класса. Стамбульская Айя-София построена с меньшей роскошью, чем «Бремен». И прочее.

На пароходе каждодневно выходит газета, и еже-

секундно радио американской биржи с Уолл-стрита— «тикер» — отмечает на бумажной ленточке температуру долларов капиталистических жульничеств.

Пароходы построены для пассажиров.

Советский пассажир есть человек особенный, и о нем особо.

Рядовому ж пассажиру первых классов полагалось пять раз на дню есть различные бананы, мяса, варенья, печенья, сыры, паштеты молочного, ракового, рыбьего, растительного и даже минерального происхождения. Полагалось по ассортименту пить коньяки, вина, ликеры и виски всяких невозможных комбинаций, называемых коктейлями. Полагалось в гимнастическом зале болтаться от получаса до сорока минут на электрической бабе для растрясения жира и мчать на подвешенном к потолку велосипеде для аппетита. Полагалось бегать по палубам, отдыхать на шезлонгах и фотографировать друг друга туда и сюда. Полагалось дважды в день брать ванны и менять одежду. После завтрака в два часа смотреть картину. После чая в половине шестого играть на скачках, где скачут деревянные лошадки по воле числа очков, брошенных очередной леди, при чем совершенно понятно, что деревянные лошадки бесчувственны в силу своей деревянности и эту свою деревянную нето лошадиность, нето бесчувственность передают и тотализаторщикам, жертвующим и выигрывающим доллары.

После обеда, к девяти часам и за полночь, полагалось баловать (от слова бал) фокстротами и тем ко-

личеством алкоголя, когда сердца размягчаются подобно ногам, сбрасываются препоны традиций и полов. и баловство (от слова бал) заканчивается уже в полупригашенных переулочках кают, когда в мужском коридоре проюрокнет вдруг женский халатик, и взвизгнет за перегородкой шопот, когда на женском коридоре предательски вдруг заскрипят ночные туфли джентльмена, для осторожности расставившего ноги на манер опоенной лошади.

Все это полагалось под величие океана и под белую ленточку радио-морзэ, ежеминутно сообщавшую долларовое тепло, благородство жульничеств, а также каблогаммы для сердечно-едущих.

Утра на пароходе туги, как океанские туманы, которые рвет пароход. Трубачи режут своими трубами и коридорами кают. Но пассажиры не идут к брекфесту, требуя к себе в каюту орандж-джус — апельсиновый сок — иль грэйп-фрут, фрукт, который возник всего несколько лет тому назад, придуманный гениальным американским ботаником Бербанком, помесь лимона и апельсина. Бербанк, к слову сказать, создавший этот фрукт, который сейчас ест три четверти земного шара, имел неосторожность молвить однажды, что он не верует в бога, и умер, затравленный американскими попами, как писалось в газетах.

Балы ж бывают различны (в официальной своей части), — обязательно бывает баварский вечер, когда все вооружены сосисками и кружками с пивом, когда на головах у всех надеты бумажные шляпы, пустые

пространства заполнены воздушными пузырями, серпантинном, во ртах у всех, кроме сигар, воткнуты свистульки, и балующие задают кошачьи концерты на мотив: «о, майн либхен Лизабетт, Лизабетт!» — Оркестр тогда переодет в баварцев. На пьянстве гейдельбергских студентов шутовские бумажные шляпы сменены шутовскими студенческими — корпорантскими, буршскими — каскетками.

И обязательно бывает так называемый американский вечер. Это в ночь перед Америкой, когда американцы вспоминают, что на родине у них «прохибишен», то-есть сухой закон, и налегают на легальные алкоголи со всем американским размахом. Размах, действительно, получается грандиозный. Пьют грандиозно не только в салонах, но на всех лестницах и палубах, залезая для поэзии иной раз под вельботы. Пьют, не разбираясь ни полом, ни возрастом. Каютные дела выползают тогда не только на палубы, но и в салоны, в каютных переулках останавливая время в вечность бутылкой виски в рот из горлышка. С российским пьянством этот американский размах во всепалубном масштабе сравнить возможно разве лишь в ломовом порядке. Куда русским!

Советскому гражданину и пассажиру — прямо надо сказать — все это кажется свинством, в независимости от масштабов. Советский человек, оставивший за собой трудное, стальное величие его страны (а действительно, за пределами СССР, сейчас же за польским «кордоном», необыкновенно, величественно начи-

нает гореть звезда СССР, когда быть гражданином СССР — (величественно и гордо!), — советский человек понимает, конечно, что тикер — фактический хозяин корабля и людей на корабле—понятен, к сожалению, немногим,—что нет такого американца, который мог бы съесть все то, что ему предлагается, но в подпалубных классах есть такие, которым не предлагается ничего,—что многие американцы тоскливо и подагрически ложатся спать до фокстрота, — что первый класс (и даже в первом классе люкс и ритц, где кобелятся миллиардеры за особую приплату, не желая есть с остальными), тикер, водка, деревянные скачки, гимнастика и теннис на верхней палубе, «монкэй бизнес» («обезьянье дело» — то, что юркает женскими халатиками на мужских переулках и шлепает олоенными туфлями на переулках женских) — все это идеалы.

Советский гражданин держится в стороне, чуть-чуть ошарашенным. Ему хотелось бы пустить в эти верхне-палубные просторы тесноту подводных консервов и необходимостей третьего класса, советскому гражданину понятных.

Советский гражданин, автор этих строк «о-кэй», американского романа, ехал в качестве писателя. Он знал, что ему нужно было поехать, но он также знал, что для его страны американские комбайны и тысячетонные штамповальные станки нужней его поездки. Поэтому он не взял с собою советского золота и отъезжал от советской границы без единого цента.

В Варшаве он получил злоты, которых ему хватило

до Берлина. В Берлине он получил марки, которых ему хватило до Парижа. На «Бремене» оный писатель, ставшая у форштевня, рассматривая океанские просторы горизонтов и светящихся фосфорически под нссом корабля моллюсков, — соображал:

— от Варшавы до Берлина, от Берлина до Парижа, от Парижа до Нью-Йорка, — ну, а там как-нибудь образуется, поелику одна голова не беда, а и беда — так одна.

Но писатель был писателем, а в пароходной газете напечатан был список пассажиров. И в день выхода этой газеты — сначала этакая сухая леда, а затем этакий сонный мистер, торгующий в СССР пушшиной, справились, — что, мол, такой-то не такой-то ли? — Барышня заинтересовалась моими фокс-данными. Мистер потащил меня к маникюру, справляясь о точке моих зрений на виски «блэк-энд-уайт» и «скотч».

И в этот же день пришли радиogramмы из-за океана. Приветствуем, дескать, встречаем, все о-кэй, но одна телеграмма гласила:

«номер приготовлен в отеле «Сэнт-Моритц» —

Я спросил сонно-пушного мистера, что это за гостиница. Мистер оживился, прочитав конфетно-изящную бумажку каблограммы, и сказал, что это одна из самых дорогих гостиниц в Нью-Йорке, в пятьдесят этажей, и находится между Пятой и Шестой Авеню, против Сэнтрал-парка —

Единственную каблограмму я послал с океана моему издателю: не надó, мол, мне «Сэнт-Моритца»!

Вечером мне подали новую каблогранму:
«остановиться в «Сэнт-Моритце» необходимо стап
номер бесплатно» —

Я подивился любезности издателя, хотъ воспринял
этот номер, как вставной зуб.

4

Океан был величествен. За ютом была Европа.
Форштевень двигался к Америке. У русского человека
есть такое:

— весна, завалинка, в валенках на завалинке сидит
дед и блаженствует всем земным блаженством,—куры
роются в пыли, тепло, девки-трактористки проехали
на тракторах с пахоты в гараж, стрижи царапают
закат, — деду нельзя как хорошо! — и дед говорит:

— Благодать-то, благодать-то какая!...— и молчит
лирически, и добавляет: — зубы чтой-то давно не бо-
лели,—вон у Сидора Меринова вторую неделю болят...

— именно, — нельзя как! — нельзя русскому чело-
веку, чтобы ему было хорошо, когда у Сидора Мери-
нова болят зубы вторую неделю. И у каждого русского
человека обязательно есть свой зуб. Под величие
Атлантики, на путинах из Старого Света в Новый,
открытых тогда, когда история человечества нащупы-
вала пороги капитализма и лазила в подворотни от-
крытых, и заросших уже бузиной, ворот средневе-
ковья, русский писатель думал:

— В веках, в громадных веках, быть может, в Ат-
лантиде, в несуществующих теперь землях, возник

первый человек. Где-то на берегах Атлантического и Индийского океанов, у Средиземного моря, возникли первые вести о человеке, известные человечеству. Из небытия, из мрака времен, из непознанных на берегах Средиземного моря возник тот ручеек истории человечества, который определил потом судьбы цивилизации земного шара. Этот ручеек Месопотамией, Палестиной, Египтом, Ассирией вести о человечестве вынес к грекам и римлянам, зародив историю Европы. От греков и римлян история полузаписана. Сколько народов, сколько цивилизаций, религиозных и философских систем, государственных образований возникло у человечества, жило, цвело и ггло! От римлян колымага истории известна, — известно, как эта история текла, — поистине текла, — происходила, случалась, — как обливалась кровью германцев, гуннов, галлов, — как костенела средневековьем, — как переживали ее пар и ткацкий станок, — как грозами шли по ней революции. Но старость не есть древность. И если Египет, Ассирия и Вавилон погибли от греко-гунно-алланов, то до братьев их, живущих до сих пор в Индии, Китае, Японии, гунно-европейцы добрались только в прошлом веке. Эти народы ведут свою историю от времен Артаксерксов, при чем Япония свою историю сплела с Европой империалистическим равноправием разбоя. Все это происходило. И первая история, которая имеет свою дату возникновения, — это история Америки — не индейцев, конечно, но европейских колонизаторов. История Америки — молодая

история. Мать американской истории — старуха Европа. Что взяли дети у матери?—дети победили мать?—молодая Америка западнее Запада?—действительно ль она гораздо больший запад, чем Западная Европа? Великий океан есть громадный шов земного шара, где с одной стороны в океан обрывается древность Востока и с другой — молодость Запада, — не даром в Тихом океане есть черта, где корабли иль остаются иль вают время на сутки иль сбрасывают сутки со времени. Но: земной шар — есть шар, и, стало-быть, в тот час, когда на Востоке романтиков панствует древность ночи (помните,— «спит седой Восток!»),—на Западе тогда закатывается день,—и, следовательно, где-то есть утро. Это утро—в Союзе Социалистических Республик, история которого имеет дату рождения — 25 октября 1917 года старого стиля—и история которого не происходит, но строится, делается, конструируется.

Писатель был в Японии, Китае и Монголии, чтобы видеть древность Востока. Писатель поехал в Америку, чтобы видеть самый западный Запад. Писателю хотелось решить, как надо сшить тот шов, который образован Пасификом, ибо писатель знал, что швы национальных культур лопаются один за другим, подобно обручам на спивших бочках.

— и все это писатель думал неверно, потому что думать так — романтика, писателям свойственная, но необходимости не имеющая. Все гораздо проще. Человеческая история растет. От надутых воздухом шкур

барана, на которых в древности люди переправлялись через реки, человечество доросло до шестидесятитысячтонных кораблей, бороздящих океаны. По принципу надутых воздухом шкур барана человечество построило цепелины, а нью-йоркские небоскребы, где живут люди, вершинами своими уходят в облачные дни за облака, похожие на бараньи шкуры. От каменного века и от первобытного коммунизма человек прошел дорогами средневековья, феодализма, абсолютных монархий, буржуазных революций, капиталистических демократий. Каждая из этих проистекавших эпох полагала, что она завершает достижения человечества, что она вечна,— и каждая из этих эпох умирала. На больших дорогах истории человечества это всегда было в первую очередь. Именно поэтому в человеческих закоулках и до сих пор отстали от времени центральноафриканский и самоедский бронзовый век, североиндийский феодализм. И даже в Европе кое-где до сих пор воняет псиной монархий. Человечество сейчас переживает эпоху, когда на смену капитализму идет социализм, кто бы и как бы хотел этого или не хотел,— и социализм не проистекает, но строится. Бактерии тифа, чумы, холеры в изолированном виде в природе не встречаются. Их можно найти только в бактериологических институтах. Там они совершенно чисты, помещены в бульон, разлиты по колбам и называются «культурами» — тифа, чумы, холеры. Капитализм в Европе, по существу говоря, в совершенно чистом виде виден трудно. То тебе глаза застыят раскопки

древних. То понятия твои спугала «вежливость» последних Людовиков. То ты потонул в английском дедовском кресле, ровеснике английских консерватизма, парламента, Вестминстера и ведьм, сжигавшихся некогда под Вестминстером и сжигаемых до сих пор речами консерваторов в парламенте. То в Шамборском замке ты видишь тени Мольера, которого играют до сих пор и который до сих пор звучит европейски. Америка начала свою историю самостоятельности на принципах французских энциклопедистов, сразу начав с буржуазной демократии, пионерами своими имевшая людей, главным образом, сектантов, авантюристов и преступников, не укладывавшихся в европейский склероз средневековья. И не есть ли Америка теперь — Соединенные Штаты — культура капитализма в чистом виде, подобно бульону чумы в бактериологическом институте? — этакая колба на сто двадцать миллионов свободно-капиталистических американских граждан!?

Конечно, Америка лежит на столбовой дороге развития человечества.

Эта столбовая прокладывает новые пути—в социализм.

Эти тракты в социализм конструируются в Союзе Социалистических Республик.

Ныне СССР и USA играют в шахматы сегодняшнего человечества.

— а океан, конечно, величествен, космос воды и неба!

На пароходе со мной пожелал познакомиться и познакомился некий американский кишечный миллионер мистер Котофсон. Это был настоящий американец, он задавал на наших палубах американский тон. Он возвращался из Европы с дочерью, у которой был подвязан глаз и которая все время лежала с американскими журналами на палубах и в салонах. Он был энергичен, этот американец. Он крепко стиснул мою руку, подав ее широким американским жестом, ладонью вверх. Мы обменялись «хэлло». Первые фразы нам пытался переводить пушной джентльмен, очень почтительный с кишечным миллионером. Фразе ж на десятой американец сказал:

— Ну, ладно, будем говорить по-русски. Я к вам за советом. У меня, изволите ли видеть, две дочки. Впрочем, не откажите, — стакан сода-виски? — Итак, у меня две дочери. Ради них я живу на свете. Одна из них сейчас осталась в Англии. Все-таки это самая приличная страна. Вторая возвращается со мною, я вас представлю ей. Она доктор философии. У нее от чтения на глазу появилась бородавка, и я возил ее в Германию, чтобы ей отрезали бородавку. Все-таки германская медицина самая приличная. С меня брали по пятьсот долларов за визит. Моя дочь пишет такие рефераторы, что профессора ахают. Дать воспитание детям — это стоит копейки. Итак, я хочу говорить о второй дочери. У нас в Америке хромает искусство. Моя дочь захотела стать писательницей. Говорят, что английская литература сейчас в застое, я в этом не

специалист, но все же английская литература—самая приличная. Мне дали список самых лучших английских писателей. Я остановил свое внимание, главным образом, на писательницах. Так, изволите ли видеть, мне кажется, удобнее и приличнее. Я посетил этих писательниц в Лондоне, и я предложил им давать уроки моей дочери, чтобы она стала писательницей. Она очень талантливая девочка. Итак, что вы скажете по этому поводу? — У нас в Америке так мало настоящего искусства!

— Но откуда вы знаете русский язык!? — спросил я.

— Хэ! — если бы вы знали мою биографию! — Я круглый сирота. У моего дяди в Орле была своя бойня. Мальчиком лет десяти я был уже самостоятелен и ездил с дядей в Сибирь, в Семиречье к киргизам скупать кишки. Вы знаете, что русские кишки, свиные и овечьи, не сравнимы ни с чем в мире, особенно из Заволжья, из западной Сибири и из Семиречья. Несравненные кишки! Ученые полагают, что это от континентального климата и от плохой вашей пищи для овец — такие несравненные кишки. Советское правительство не знает, какое у него имеется золото. Я давал ему через Амторг не плохие миллионы, предлагая сдать мне монопольное право на русские кишки, — ведь у вас же монополия торговли, а я бы сам для этого дела потрянул стариной! — Итак, шестнадцати лет я оказался в Одессе на морском пароходе и шестнадцати с половиною лет ступил на землю Но-

вого Света. С тех пор я в Америке. Вы не знаете моей биографии! — Никто в Америке не знает лучше меня кишечного дела! — Впрочем, вы разрешите, — я выпью еще стакан сода-виски? — Итак, что вы скажете по поводу английских писательниц и моей младшей дочери? В России у меня была фамилия — Котов. Теперь я — Котофсон. Итак, уэлл?

Пушной мистер, когда мы остались одни, почтительно сказал мне, что мистер Котофсон — до сих пор неграмотен, не читает ни по-русски, ни по-английски, он может подписать только свою фамилию на чеке, но все дела читают ему его секретари. Вечером на баловстве (от слова бал) за столиком Котофсона сидело большинство общества наших палуб, и Котофсон поил всех коктейлями.

— Философия истории!

5

Первое, что меня поразило в Америке, — это национальные флаги.

Статуи Свободы, с которой всегда начинают описание Америки, я не успел повидать, подплывая к Нью-Йорку. Меня сбили с толку пароходная шумиха и небоскребы Уолл-стрита. Статуи Свободы я не видал и впоследствии. И, чтобы не путать ею будущих путешественников в Америку, имею сообщить, что в голове этой Свободы можно расположить целую квартиру, а в части юбки ее сзади, под верхними складками, в течение долгого времени располагался тюрем-

ный каземат, — факт не менее поучительный, чем история «о-кэя».

У меня сохранились письма, написанные мною в первые мои американские дни на родину. Рефреном этих писем были междометия — ох, Америка! ах, Америка! ух, Америка! ну, Америка!

Пусть читатель знает, что девяносто девять процентов советских граждан, несмотря на визы, не спускаются сразу в Америке на берег, но арестовываются и отправляются на Эллис-айлэнд, в просторечии называемый Островом Слез, — в притаможенную тюрьму, где их, людей, судят американцы за право быть советским гражданином. Я не имел оснований вывалиться из процента, а тюремные операции на всем свете неприятны, — и, когда пароход входил в порт, вышеупомянутые прелести статуи Свободы меня интересовали меньше свободы моей собственной. Я не был арестован, но два моих соотечественника-инженера (один из них был с женой и ребенком) отправлены были вкушать пороги американской свободы Островом Слез, оставив мне размышления о естественной человеческой солидарности.

В Америке — прохибишен, сухой закон. В его честь всепароходное население пило всю приамериканскую ночь и утром ходило в обалдении катцен-ямера по буфетам, разыскивая, чем бы опохмелиться. Буфеты блистали печатями вместо бутылок.

Припароходные репортеры приехали на пароход вместе с полицией. Я ехал с «публисити», и, когда па-

роход пришвартовывался, репортеры, взяв меня крепко под руки, свели в детскую комнату первого класса. В комнате этой на стенах были нарисованы смеющиеся и плачущие дети в стиле русских кустарных игрушек. Стояли стульчики и столики для детей. Разложены были игрушки. На детские столики поставлены были бутылки с виски и pintы с пивом. Детины-репортеры расселись на детские стульчики, задрав ноги куда не надо. Был это народ ражий, плохо одетый, в стоптанных ботинках, при чем каждый ботинок по пуду. Был это народ активный. Стал этот народ торопливо пить пиво и виски, вопрошать меня и ощупывать. В двухчасовых газетах сообщалось, что с таким-то пароходом приехал такой-то. Галстук на нем такой-то и башмаки такие-то, и остановится он в гостинице такой-то. И больше ничего. Разве лишь еще описание волос и прически. Волосы, оказывается, у меня — песчаные.

Порт, Гудзон и Ист-ривер, задавленные небоскребами Манхэттена и Бруклина, — грандиозны, ни с чем, ни с каким сном не сравнимы — ни с какою татлиновскою фантазией.

Улицы, на которых пешеходов меньше, чем автомобилей, испугали национальными флагами, точно я приехал в табельный день, хотя были будни. Сразу в легкие вошел воздух невероятностей этого города, где в небо торчат стоэтажные дома, и ни единого листочка, ни единой травинки нет на бетоне города.

Отель «Сэнт-Моритц» повторил роскошь Бремена.

Мои чемоданы пришли раньше меня. Кроме моих чемоданов, в номере стояли ящики с виски и джином. Я знал уже цену американскому алкоголю по сухой расценке. Моего кошелька нехватило б, чтоб заплатить за эти ящики. Лакеи сервировали чай человек на сорок. Незнакомые люди раскупоривали виски и джин. Я должен был давать интервью.

Стали приходить журналисты, уже барственные и медлительные, мужчины и женщины. Они жали мне руки и называли не свои фамилии, но имена тех газет, от которых они приходили. Мне непонятные люди передавали журналистам «стэйтмент» — этакую хлестаковскую бумажку обо мне, где рассказывалось, сколько мне лет и кто мои папы, какой я такой-сякой и кто что обо мне сказал. Я был не я, но — материал для публицити. Собравшиеся солидно стали пить виски и допрашивать меня. Я говорил о кольбмаге истории. Мне задавали вопросы:

— как вам понравилась Америка?

— сколько стоит в загсе развестись и выйти замуж?

— сколько получает жалованья товарищ Сталин?

— как вам понравились американские женщины и Нью-Йорк?

Когда спросили, сколько получает жалованья товарищ Сталин, я ответил, что получает он, надо полагать, партмаксимум, около полутора ста долларов в месяц. Народ трепетно поразился этакой мизерной

оплатой, — что, мол, стоит Сталину из-за такой мелочи трудиться!?

Меня спросили:

— Кто же в таком случае сколько получает жалованья, и есть ли люди, которые получают больше, чем товарищ Сталин?

Поразив журналистов тем, что миллионеров у нас нет, понеже они изгнаны (есть еще такие в Америке, которые об этом плохо знают, даже среди журналистов), я сказал, что больше полутораста долларов в месяц зарабатывают квалифицированные рабочие, инженеры, люди свободных профессий, писатели, артисты.

Меня спросили:

— Ну, а вы?

Я ответил, что я зарабатываю раза в три больше в месяц, чем полтораста долларов. На утро в «Нью-Йорк Таймсе» было напечатано:

— «Пильняк предрекает гибель капитализма!» —

— «Самый богатый человек в СССР — Пильняк!» —

Этак в «Нью-Йорк Таймсе». Другие газеты сделали меня Рокфеллером. И много месяцев спустя, уже в Москве, один приятель, американский журналист, рассказывал мне, что он получил из Нью-Йорка от своего агента запрос, после тогдашнего моего интервью, почему и как Пильняк не Пильняк, а Рокфеллер!?

Кесарево — кесареви. Я четырежды упоминал об отеле «Сэнт-Моритц» (над сим «Моритцем» реял

национальный флаг). Продолжаю американскую традицию — плачу с благодарностью. Бесплатный номер в этой гостинице и бесплатный алкоголь были даны мне не издательством, но самою гостиницей. Публисити-мэн этой гостиницы рассчитал правильно, что обо мне будут писать в газетах с указанием, где я остаюсь, а бесплатный номер дешевле, чем платная реклама. Да и реклама такого порядка меньше похожа на рекламу. Не от таких ли психологических комбинаций повела свою историю биржа, учреждение, конечно, психологическое, торгующее, кроме ценностей, также и психологической пустотой разных теплых слов, расцененных на доллары!? — Дорогой «Сэнт-Моритц», — тэнк ю!

Портной предложил мне бесплатно костюм с тем, что я сфотографируюсь в нем и напишу, что, мол, нет лучше костюмов, чем у фирмы такой-то!

На второй или на третий вечер, не помню, меня повезли в театр. Было нас шестеро, сидели мы в ложе, смотрели, как негры представляют себе рай, как бог-Саваоф, наподобие янки, расхаживает в клетчатых брюках, в сюртуке, с бородою вроде ошейника. И пили мы в ложе из бумажных стаканчиков виски. После театра повезли нас в некий «клуб», в кабаре. Американцы берут масштабами, количеством. Если в Париже в этакое кабаке показывают пять голых женщин, то в Нью-Йорке — сто. «Клуб», в котором мы были, знаменит. Имя его я опускаю, дабы не делать ему публицити. Изошрялось в нем штук сто голых кра-

савиц. Люди фокстротили и пили шампанское, коктейли и ликеры. Был джаз, и выступали различные певцы. Все было ужасно роскошно, как у мистера Котофсона. Ко мне подходили какие-то люди, знакомились, уходили. И вдруг до моего сознания довели, что меня просят выступить и сказать хотя бы одно русское слово — здравствуйте или спасибо. Оказалось, что программа этого клуба в тот вечер передавалась по радио. Оказалось, что завезли меня и мою компанию в театр и в этот клуб, кормили и поили для того, чтобы я выступил в программе этого клуба по радио! — Хорошо был бы советский писатель, с корабля попавший на голошупый бал и радующийся в радио! — Ушел я из этого клуба совершенно без всякой вежливости, посредине блюд, а дома долго пил воду со льдом, дабы прогнать раздражение до дрожания рук, злобу и бессонницу. Публицити, реклама, чорт бы их побрал!

6

Публицити! реклама! — честное слово, часто казалось мне, что люди в Америке существуют не к тому, чтобы быть людьми, но для публицити и для рекламы. Это мне казалось. Но я твердо знаю, что все американцы — суть жертва рекламы, ибо реклама там важнее людей, дороже людей, важнее вещей и дороже вещей.

Вы взбрасываетесь пневматическим лифтом на шестидесятый этаж небоскреба — это реклама и чтение рекламы, кроме подъема. Вы едете в такси, за

стеклом перед вашим носом около счетчика ползет кинолента заманчивейших информаций,—это реклама. Вы поднимаетесь на воздушную железную дорогу (на вторые этажи нью-йоркских улиц), вы опускаетесь в подземелье собвеев, вас преследуют кока-кола, Шевролэ, барышни Локки и Честерфильда, — это реклама. Вы едете за город, и вы ничего не видите направо и налево из-за заборов необыкновенных молодых людей обоих полов, прославляющих папиросы, автомобили, мыло, клизмы, кастрюли и самую природу, вроде Грэнд-кэньона, — это реклама, равно как и сам Грэнд-кэньон. Вы прячете ваши глаза в небо, но там реклама, расписываемая аэропланами и прожекторами. Вы лезете в ванну, и на коврике под ногами вы читаете рекламные прелести. Вы прячетесь в постель, вы тушите свет в комнате, и на стене около штепселя, чтобы его легко было найти в темноте, фосфоресцируют слова рекламы. Вы прячете голову в подушки, но в ваши уши, через заводский вой и скрежет города, лезут слова радио-рекламы.

Эти рекламы орут, мурлычат, напевают ариями пугают, шарашат глаза и глаза успокаивают, сшибают с ног, караулят на перекрестках, в подворотнях, в сортирах, в альковах. Эти рекламы лезут в нос, в глаза, в уши, в пищу, в кровь, в сердце и — в карман, карман, карман! — ибо все они существуют к тому, чтобы орать:

— покупайте больше (и ломайте) автомобилей, зажигалок, рефрижераторов! — если вы сломали ваш

прекрасный автомобиль, мы его починим в двадцать четыре часа, и он будет еще прекраснее, ибо мы наделим на него два новых прожектора, лишнюю никелевую сетку, радио, зажигалку, часы, пепельницу, аптечку! —

— радио в вашем автомобиле будет улаживать ваш слух, когда вы будете проезжать поля Тэксеса и пустыню Аризона! —

— покупайте больше штанов, сапог, посуды, мебели, галстуков, папирос, пилюль от кашля и прыщей! —

— ешьте больше мяса, ветчины, омаров! —

— ешьте больше хлеба и масла! —

— пейте больше кока-кола, кофе, чая! —

— больше! больше! больше! —

— самое хорошее! ни у кого, кроме вас, не будет! и самое дешевое! — вы не имеете права не есть, не пить, не иметь автомобиля! —

(Об этом «больше! больше! больше!» речь будет впереди, в разговоре о кризисе, — это «больше» орет тогда, когда в стране десять с лишним миллионов человек безработных).

Все запатентовано. Все покрыто тайной неизвестности.

На грецком орехе стоит клеймо продающей его фирмы. Машины, которые ставят это клеймо, их оборудование и их обслуживание стоят дороже орехов. Покупатель за клеймо платит больше, чем за орех. Все запатентовано. Бюро патентов сокрыло тайны патентов.

В аптеках в Америке, как известно, можно обедать, покупать мороженое, помидорный сок, спортивные принадлежности, книги и папиросы, кроме лекарств (а также каждая аптека — шинок). Аптекарям, фармацевтам совсем не надо висеть над унциями и граммами весов. Все запатентовано, и невозможно купить порошочка православной хины, а надо купить хину патентованную, убранныю в тубик, не горькую, а сладкую, при чем эти стеклянный тубик, сладость и красота стоят в десять раз дороже самой хины.

Но это еще не беда, хина, — это указывает на обстоятельство, что не качество товара; а уменьше его продать решает судьбы предприятий.

Полбеда, что не покупатель ходит за товаром, а продавец насилует покупателя, ловит его всем, чем угодно, от кредитов, от присылки товаров на дом, — до судов. Полбеда, что покупатель должен бегать от продавца и пребывать во всегдашней зависти, потому что — пожалуйста, пожалуйста! больше, больше! так дешево и стыдно каждому американцу не иметь! — а десять миллионов безработствуют, а долларов у покупателя уже нет на самые первые необходимости, ибо ему всунуто радио для автомобиля, когда автомобиля нет, зажигалка для сигар, когда он не курит, и он купил женские туалетные патентованные тайны, но жениться еще не успел. Торговля, равно как и промышленность, свободны по священному праву капитализма. И полбеда, что каждую неделю вдруг выясняется, что некоторая железная вода, которую пил знаме-

нитый боксер (фотография тут же за подписью), — этому знаменитому боксеру вода — и не что иное — дала возможность разбить рожу другому знаменитому боксеру, — так вот эта вода, страшно железная, в упаковке фирмы стоила два доллара, а действительная ее цена две копейки, — и никакого железного чудодейства в ней нет. Бритва жиллет, от тупых ножей которой страдают россияне, запатентованная в первые годы своего существования, стоила десять долларов. Ныне патентные права изжиты, и бритву жиллет дают бесплатно — в качестве приложения к десятку бритвенных жиллета же ножичков. Сколько миллионов долларов переплатил американский любитель побриться жиллетом?! — То-есть полбеда заключается в жульничестве, проверить которое нет сил, ибо каждая проверка упирается в «священные» права свободы собственности и торговли капиталистических китов.

Беда (или полбеда?), что наибольшая статья расхода потребителя направлена на «амюзмент» (амюз — развлекаться), на наслаждения, когда, действительно, рядовой американец завален штампованными запонками, но не имеет лишних (и нужных) сапог, и всегда имеет радио, и всегда знает последнюю картину М.С.М.

Беда... — концерн лесных строительных материалов вступает в борьбу с концерном каменных (или железобетонных, или асбестовых) строительных материалов (или мясники хотят заставить есть мясо за счет молока, — или нефть решила положить окончательно на

обе лопатки каменный уголь, — или синдикат, производящий искусственный шелк, решил убить шелк кокононый), — это в тайне, — это вооружено экономистами, инженерами, миллионами долларов, — это упирается в Уолл-стрит, в Белый Дом, в республиканскую партию и в бандитские тресты — бедный мечтатель, желающий построить себе дачку на берегу Гудзона (или купить себе и своей «уумэн», «уайф» или «сюит-харт» — женщине, жене или сладкому сердцу — шелковое, а не «химическое» белье) — здесь он уже ни при чем, — здесь не только реклама, здесь — приказ, повеление, — здесь совершенно ясно, что и люди, и вещи дешевле самих себя, — и статистические выкладки знают, что не миллионы, а миллиарды долларов были отобраны у американцев таким образом — такими образами.

И над всем над этим — всюду, везде, на домах, на заводах, на перекрестках улиц, на церквях, даже на кладбищах, — американские национальные флаги, флаги, флаги, точно сплошной табельный день.

7

Знавал я в Нью-Йорке человека с Уолл-стрита, чувство к которому я передать не могу за отсутствием слов, передающих подобные чувства. Человек этот лет сорока, миллионер, сух и упрощен в движениях, как хороший перочинный ножик. Он не следует современной американской манере одеваться во все цвета радуги. Он придерживается традиций конца прошлого

века, костюмов, символизирующих паровозную трубу. В его кабинете, рядом с тикером, ежесекундно связывающим его с Уолл-стритом, — телефонные трубки прямых проводов в Лондон и в Женеву (к его информатору с заседаний Лиги наций). Он не имеет никаких предприятий. Его метье: давать советы американским миллиардерам из дураков, куда и как вкладывать им свои миллионы, чтоб получать наибольшие барыши. Меньше чем миллионными суммами он не оперирует. Он очень неглуп и он очень циничен, как полагается ему быть по его профессии. Он знает, если он будет давать плохие советы, безмозглые его пациенты найдут в себе мозгов для того, чтобы от него отказаться. Я увидел этого человека в минуту, когда он положил женевскую трубку. Меня и моего спутника, раскладывая перочинный нож правой руки, он встретил словами:

— Кризис, кризис и кризис! Я говорю моим пациентам, что придумать сейчас ничего нельзя. Иногда я говорю им, что самое лучшее и верное применение долларов, — это вкладывать их в вас, большевиков. По крайней мере деньги будут целы до тех пор, пока вы сами не появитесь у нас!.. Или я говорю им, не плохо было бы организовать концерн по уничтожению советской власти. Собственно, не советской власти, — но создать акционерную компанию по доказательству, что кризис происходит благодаря советскому дэмпингу, большевистской агитации и заговорам. Открыть бы парочку заговорчиков!.. — В тот

и другой бизнес я дал бы по паре личных миллионов, своих собственных. Ручаюсь в доходности на первые шесть месяцев! — вы помните (Флоридские болота в двадцать шестом году!?) — и не надо забывать, что ближайшее наше процветание создали — автомобиль, который стал для американцев каторгой, и прохибишен... При концерне против большевиков — какие публицити, хокум и амюзент! —

8

Что касается меня, то я, в отличие от королевы румынской (королевские дела — факт!), ничего под костюмом не подписывал и за костюм заплатил, равно как и из «Сэнт-Моритца», узнав его благодетель, сселился в квартиру, где я мог расплачиваться. И в первые десять дней моего пребывания в Америке я получил телеграмму:

«работать в Голливуде у фирмы М. С. М. стап договор десять недель стап столько-то долларов неделя» —

Я послал запросную телеграмму: как работать и что делать? — Ожидая ж ответа, я показывал эту телеграмму друзьям и знакомым. Друзья и знакомые оценивали телеграмму различно.

Один:

— Столько-то долларов мало.

— Но что же там делать!?

— Это безразлично. Меньше тысячи вам брать неудобно.

Второй:

— Ну, так и надо было предполагать.

— Что именно!? — я никогда не работал в кино и не знаю, что там делать!

— Это безразлично. А вдруг вы написали бы что-нибудь для Факса или Парамонта!? — лучше вам заплатить даже в том случае, если вы ничего не напишете, чем если вы напишете Факсу.

Публисити! — реклама!

9

В Голливуд я ездил. Об этом ниже.

Кино—третья в USA индустрия, и эта индустрия—порядка амюзмента. Амюзмент — главная расходная статья американского потребителя. Кино, радио, автомобиль, прочее. Под Нью-Йорком, за Бруклином, есть учреждение массового, миллионного амюзмента.

Это — Конэй-айлэнд.

По летам, в праздник, там собирается до полутора миллионов нью-йоркцев для «гуд тайма» («хорошего времени») и амюзмента. Туда не ездят богатеи. Миллион людей — это Эстония, Литва, Латвия. Миллион людей — это массы.

Учрежденьице, называемое островом и городом, которое может собрать столько людей, — кроме того, что оно массовое, — оно любимое, и оно — не прыщ на поясице, сиречь не случайно. Люди едут наслаждаться, наслаждаться в то что бы то ни стало!

На десяток километров по берегу океана (а факти-

чески, под другими именами, на сотню километров) тянутся балаганы, карусели, цирки, харчевни, музеи уродств, тир, лотереи и прочее, прочее, прочее тому подобное, — залитое электричеством под национальными флагами. В один, в два, в три дня всего этого электрического наслаждения осмотреть нельзя. Московский парк культуры и отдыха не сравним никак, — хотя бы потому, что в Конэй-айлэнде нет ни одной травинки. Там: несколько саженей «битча» (пляжа), песка, залитого электричеством, перемешанного с апельсиновыми и банановыми корками, с пробками от кока-колы, с газетными листами и прочими человеческими отбросами, — затем дамба из железобетона, засиженный, как мухами, автомобилями, десятками тысяч автомобилей, и заваленный людьми, как битч апельсиновыми корками. Ночь там так же светла, как день, — от электричества в небе, электричества на земле, электричества под землей.

Океана там не видно, и пахнет не океаном, но бензином, краской и горячими сосисками (называемыми «хатдогс'ами» — горячими собаками, что и соответствует истине). Пятьдесят, примерно, процентов людей, переодевшись в автомобилях, валяются на битчах — битчуются — и ходят по набережной в купальных костюмах и в купальных пижамах самых невозможных цветов и оголений. Остальные народы наслаждаются зрелищами.

Эти зрелища воют, свистят, громят, мартируют, комарят, разливаясь трелями от гармошки до секса-

фона джаза, в экстатическом наслаждении. Эти зрелища жгут прожекторами, ракетами, фейерверками, всеми электрическими цветами и темпами. Орут живые и электрические клоуны. Гирляндами реют национальные флаги, братствуя с электричеством. Миллион людей прет, хохочет, свистит, находу танцует, как на пароходе, со свистульками, с тещиными языками, в необыкновенных костюмах, — находу ест хатдогс'ы, целуется и обнимается. Веселье сверхъестественное! — веселиться во что бы то ни стало! — Веселье летит с каждого лица, с каждой руки, положенной на бедра, на талии, на плечи или на грудь соседа или соседки! — каждая нога ликует! — Галстуки мужчин развязаны. Женщины полуодеты, и очень большой процент женщин одет в белые или цветные, предпочтительно полосатые, брюки, широкие как у матросов. Старозаветные американские традиции костюмов по принципу паровой трубы, клетчатых брюк по принципу американского знамени, волосяных ошейников, вместо бород — исчезли. Американцы одеты во всяческие невозможные цвета, мужчины и женщины одинаково, в лиловые, зеленые, малиновые, желтые брюки, юбки и рубашки. И самый модный цвет — электрик!..

Пары и компании идут в Steeplechase, так скажем, в Сорок Одно Удовольствие, залитое электричеством и украшенное национальными флагами. Пары платят полдоллара за человека, на груди у каждого приколот жетон на сорок одно удовольствие.

Удовольствия начинаются сразу. Под электриче-

скую музыку надо пройти сквозь трубу, которая вращается электричеством. В этой вращающейся трубе люди падают, хохочут и визжат. Вращающаяся труба не дает им встать, возникают невероятные позы, у женщин задираются юбки, если таковые имеются. Специально приставленные молодцы тащат веселящихся из трубы за ноги. Дальше начинаются острые ощущения. Пары бросаются на электрические автомобили. Наблюдатель прокалывает на жетоне одно удовольствие. Шины на этих автомобилях надеты не на колеса, а вокруг автомобиля. Автомобиль на площадке приводится в движение электричеством. Автомобили летят друг на друга, стыкаются своими шинами, отлетают друг от друга, как мячики, налетают на третьи автомобили. Веселье сверхъестественное! Откатавшись, народы залезают на гору. Наблюдатель прокалывает на жетоне следующее удовольствие. Гора тщательно отполирована, со всяческими ухабами. Люди съезжают с горы на своей на собственной, парами или шеренгами, держась за руки. Ухабы и горы разъединяют людей, неизвестно, где руки и ноги. Вокруг этой горы у парашюта стоят зрители фантастических полетов. Иные оперлись о парашют. Вдруг через парашют пропускается электрический ток. Ток колет зрителей, иные обалдело вскрикивают, все хохочут. На тарелке, размером в цирковой ипподром (Америка известна размахами: так, в нью-йоркском цирке таких ипподромов три сразу, и на всех на трех сразу играют), — на такую тщательно отполированную та-

релку, на середину ее, забираются люди. Наблюдатель прокалывает на жетоне удовольствие. Тарелка начинает вертеться, вращаемая, конечно, электричеством. Один за другим люди срываются с середины тарелки и повисают на ее краях. Тот, кто сумел перехитрить центробежную силу и усидел на середине тарелки, имеет право повторить этокое удовольствие без жетонного прокола.

Качели всех сортов!

Карусели всех сортов!

Американские горы (которые в Америке называются русскими)!

Удовольствия! Наслажденья!!

Рядом с Сорок Одним Удовольствием — музей, где показывают самую толстую в мире женщину, самых маленьких карликов, самых страшных уродов, женщину и мужчину — рыб.

Рядом продажа национальных флагов, под которыми вопят армейцы спасения, завывая в свои трубы.

Рядом музей накожных заболеваний и зачатия ребенка (детям вход запрещен).

Рядом музей ужасов (детям вход не запрещен): здесь показывают те комбинации, которые застала или восстановила полиция при сенсационных убийствах. Бандиты зарезали женщину в постели, постель и женщина в крови, бандиты склонились над нею. Жена убила мужа в ванне, ванна полна крови, в руке полураздетой женщины нож. Муж зарезал жену в лесу. Сакко и Ванцетти на электрическом стуле, их лица

искажены судорогой электричества. Все это сделано из воска в страшном изобилии ужасных выражений лиц и крови.

Рядом скелет кита, показывается за один цент.

Опять армия спасения.

Рядом с гадальным учреждением, куда заманивают гадалки, чтобы предсказать судьбу, стоит гадалка механическая, вроде автомата пригородных касс: надо опустить никель (пять центов) и судьба будет предсказана.

Рядом стреляют в тир, кидают мячи и кольца, чтобы выиграть тещин язык, свистульку, колпак, плюшевого мишку, пепельницу для автомобиля.

И есть в Сорок Одном Удовольствии одно удовольствие, которое покрывает все. На миллион людей всегда найдется сотня (или тысяча) дураков (или одураченных). Посреди Сорок Одного Удовольствия построены зрительный зал и сцена, украшенные национальными флагами. Зал всегда до-отказа набит людьми всех возрастов и предпочтительно мужского пола. На сцене бессменно находятся два клоуна, урод-карлик, толстый, как паук, и урод-великан, сухой, как омар. Люди, ходящие по электрическим страхам, острым ощущениям, катающиеся на своей на собственной, в поисках дальнейших наслаждений национального флага, вдруг попадают в некий лабиринт, откуда нет обратного выхода. Они идут вперед. Иные понимают, в какую ловушку они попали. Другие ловушки не осознают. И это — безразлично, ибо отступления

назад нет, на самом деле. Эти, попавшие в лабиринт, выходят на сцену. Зрительный зал гогочет от наслаждения. Из мрака лабиринта люди выходят в ослепительный свет прожекторов. Люди балдеют, совершенно естественно, эти мужчины и женщины, при чем некоторый процент женщин, естественно, одет в юбки, при чем женщины бывают молодыми и старыми, худыми и полными. При виде женщин в юбках зал гогочет особенно вожделенно. Урод-паук и урод-жердь бросаются к оказавшимся на сцене в клоунской вежливости. Оба они вооружены палочками на проволоке, электрическими палочками, при прикосновении с которыми вспыхивает искра и которые больно электричеством колят. Урод-паук предлагает следовать за ним. И вдруг под ногами вышедших из лабиринта снизу вверх начинает дуть сжатый воздух. Музыка захлебывается разными пуками. Юбки женщин взлетают вверх, обнажая, что полагается и чего не полагается обнажать. Женщины судорожно хватают летящие юбки, стараясь собрать их и удержать на коленях. Но урод-жердь тыкает тогда электрической палочкой в их собственную. Женщины визжат от неожиданности и боли, хватаются за собственную, бросая юбки. Юбки вновь летят вверх. Иль женщины бегут куда попало. Тогда под ними начинается прыгать пол наподобие взбесившегося козла. Женщины теряют равновесие и хватаются за поручни. Но по поручням идет ток. Но воздух снизу их не подкидывает! — И никто, никогда, нигде, если он не был в Конэй-айлэнде, не видал



таких выражений лиц, как у тех зрителей, которые сидят в зрительном зале этого удовольствия! — Зал хрюхает, хохочет, визжит, сучит и стучит ногами, — наслаждается! — За вечер таких зримых пройдет не меньше сотни, и сколько панталон, подвязок, а то и совершенно беспанталонья насмотрится этакий миллионный американский зритель! — С мужчинами поступается иначе, чем с женщинами. В тот момент, когда ветер срывает шляпу и мужчина за шляпу хватается, его тыкают сзади электричеством, и ловкостью рук урод-жерди, вместо канотье или шляпы поддуваемого, нахлобучивается на его голову какой-нибудь шутовской головной убор. Поддуваемый и электризуемый замечает это лишь тогда, когда он выбрался из пытки обалдения. За шляпу он платил кровные доллары. Он секунду рассматривает то шутовство, которое оказалось у него на голове и о котором он узнал по хохоту окружающих. Он кидает это шутовство уродам и требует свою шляпу. Его шляпа лежит на троне среди сцены, ему говорят:

— Иди бери!

Жалость к потраченным долларам и жалость к своему достоинству секунду борются, и человек идет за своей шляпой. В тот момент, когда он протягивает за нею руку, шляпа летит в сторону, а вместо шляпы выскакивает из-под трона электрический урод, ужасно визжащий и пугающий шляпного обладателя.

Наслаждение невероятное!

Наслаждение сверхъестественное!

Зал гогочет, и музыка захлебывается, пукая.

Зал украшен национальными флагами.

Но самое замечательное заключается в том, — это по поводу секунды раздумья о стоимости шляпы и своего достоинства, — замечательно то, что зримые и одураченные выскакивали со сцены — веселыми, счастливыми, хохочущими, никак не обиженными. Ясно было, что ряд зримых проходил по этой сцене, украшенной национальными флагами, не в первый раз. Все, что полагалось, они проделывали со знанием и удовольствием, они получали удовольствие, одно из Сорока Одного!

* Таких учреждений, как Сорок Одно Удовольствие, в Конэй-айлэнде несколько. Да и не только в Конэй-айлэнде. Они имеются повсюду, по всей Америке.

Часам к четырем ночи, под праздник и в праздник, Конэй-айлэнд пустеет. Тысячи людей прут в механическую вежливость собвеев. В собвеех нет контролирующих людей, во имя американской рационализации. Чтобы пройти на перрон к вагонам, надо спустить никель в крестообразный автомат, похожий на те крестообразные калитки, которые ставились в России на провинциальных бульварах, чтобы на бульвары не заходила скотина. Когда никель опущен, этот автомат рычит, вертится на четверть оборота, поспешно пропуская человека и подталкивая его для бодрости. Человек должен подпрыгивать, спасаясь от автомата. В поездах же собвеев эти тысячи людей едут в тесноте и комбинациях, нашим трамваям не снившихся, хотя

бы потому, что женщины у нас не ездят в трамваях на коленях своих друзей-мужчин. Но большее количество людей возвращается на автомобилях, знакомые, полузнакомые, познакомившиеся сегодня. И на автомобилях ездят также не по-нашему, ибо вот некая наяда со стриженными волосами и в необъяснимом купальном костюме лежит на переднем крыле автомобиля, подставив раскинутые руки ветру, — иль экстренно влюбившаяся пара устроилась на крыше автомобиля.

Конэй-айлэнд горит заревами, фантастикой, фантазмагорией, обалдением электричества. Миллион счастливейших клерков, рабочих и работниц, домашней прислуги, приказчиков, портных расплзается по своим этажам, разносимый электрическими лифтами.

10

По воскресеньям, когда миллион людей наслаждается Конэй-айлэндом, иль даже полтора миллиона, — нью-йоркские газеты выходят на ста пятидесяти—двухстах страницах. Большинство этих страниц в газетах заняты объявлениями об американских чудесах. Но там в воскресном номере есть все для любого американца. Там сообщается о рейсах торговых кораблей, о курсе бумаг с Уолл-стрита, депеши из Чикаго о ценах на пшеницу, депеши из Нью-Орлеанса о хлопке, а также о самой маленькой ножке самой большой красавицы. В номере напечатаны события, интересные только ирландцам. В номере есть страничка только для

мужчин. В номере есть страничка только для детей. В номере есть страничка только для миссис и мисс, в модных картинках и интервью со знаменитыми красавицами. Литературные приложения. Театральная и математическая хроника. Хроника бокса. Иллюстрированные приложения.

И — страничка сатиры и юмора. Также иллюстрированная, в коей обязательно кто-то вылетает из окошка и попадает в бочку с водой. Или садится на бумагу для мух. Или вставляет в рот сигару горящим концом. Или муж прячется от жены под кровать. Или жена привязывает мужа на цепь к кровати. Это должно катать американца смехом. И обязательно анекдоты, вроде следующих.

«Перевернул.

— Мой муж вот уже целый месяц не покидает меня по вечерам!

— Перевернул новый лист книги поведения?

— Нет он перевернул автомобиль и теперь лежит в постели весь забинтованный!»

«Здравый ответ.

— Сколько тебе лет, милый мальчик?

— К сожалению, я не знаю. Когда я родился, мама говорила, что ей было двадцать шесть лет, а теперь ей двадцать четыре».

«После футбола.

— Сегодня игра была совсем неинтересная.

— Да, ни одного курьезного пьяницы!»

«Ценит аппетит.

— Доктор, я ем свой обед без всякого удовольствия.

— Почему?

— Потому, что еда уничтожает мой аппетит!»

«Боксеры.

— Когда я наношу удар противнику, он чувствует тотчас же.

— А когда я наношу мой удар противнику, он чувствует только через неделю!»

«Хитрая вдова.

— Сударыня, вы не можете выйти замуж. В завещании вашего покойного супруга говорится, что если вы вновь выйдете замуж, то наследство целиком передается кузену вашего покойного супруга.

— Да, но я за этого кузена и выхожу замуж!»

«Система оружия.

— Я хотела бы купить револьвер для моего мужа.

— Какой системы оружие ваш муж предпочитает?

— О, ему все равно. Он еще не знает, что я собираюсь его застрелить!»

«В магазине.

— Я заметил, что ваш последний клиент ничего не купил, но ушел совершенно счастливым. Что он хотел видеть?

Продавщица: — Меня в 8 часов вечера!»

«Старая знакомая.

Он (задумчиво): — Я, кажется, с вами знаком. У вас есть что-то такое, что мне кажется очень, очень знакомым...

Она: — Может быть, это мои панталоны? Я их взяла на эту ночь у мисс Морган».

«Искренний смех.

— Мои подтяжки лопнули в самый разгар танцев...

• — Воображаю ваше смущенье.

— Нет, я хохотал от души вместе с другими. Мои подтяжки были на моем друге Лоренсе!»

От этих сатиры и юмора — предлагается хохотать до упаду, как на поддувании в Конэй-айлэнде.

11

Очень много электричества!

Электричество по вторым этажам улиц Нью-Йорка и под землею развозит людей в пространство. Электричество растаскивает людей по этажам. Электричество запирает и отпирает двери квартир и домов. У иных домов, у подъездов, на стене около парадного, на доске против номеров квартир, находятся кнопки, рядом некое отверстие. Вы давите нужную вам кнопку, и из некоего отверстия вы слышите голос, спрашивающий, — кто звонит и кого нужно? — это хозяин квартиры вопрошает по телефону со своего этажа. Вы говорите. Хозяин говорит «о-кэй», и перед вами открывается парадное, запертое до сих пор. Это хозяин на своем этаже нажал соответствующую кнопку. Парадная дверь, открываясь, зажигает свет в коридоре. Вы входите в лифт. Лифт вспыхивает своими лампочками, и коридор проваливается во мрак. И так до двери в этаже. Электричество готовит и холодит ку-

шанья, где есть электрическая плита и есть рефрижератор, производящий лед, этакий белый электрический ящик. Электрические: утюг, завивалка для волос, чайник, инструмент для поджаривания (и порчи — на русский вкус) хлеба для сэндвичей. Швейные и пишущие машинки приводятся в движение электричеством. Белье стирается электричеством. В некоторых квартирах вы нажимаете такую кнопку, и ваша кровать переворачивается в воздухе, лезет в стену, опускает стену за собою. В каждом автомобиле, совершенно естественно, есть аккумулятор, — но во многих имеется и радио. Гостиница «Сэнт-Моритц» построена по такому последне-электрическому слову техники, что я побаивался там касаться дверных ручек: тронешь ее, а в тебя электрическая искра, как в Конэй-айлэнде. Я долго добивался, почему это так. Толку не добился. Объясняли это мне свойствами ковров. Не знаю. Но по поводу ковров и полов вообще должен сказать, что чистят их также электричеством.

Кроме электричества, очень много шума.

И такого шума, как в Нью-Йорке, нет нигде в мире. Стесненный Гудзоном и Ист-ривером с одной стороны, ставший на граните острова, то-есть на крепчайшем фундаменте, со стороны другой, Нью-Йорк полез вверх, в десятки этажей, поставив рекорд ста двух-этажным Эмпайэр-Стэйт-Билдингом. Сто два этажа Эмпайэра — это самая высокая точка в мире, построенная человеком, выше Эйфелевой башни и всех антенно-мачт и соборов. Внизу, под этими билдингами,

остались улицы, сдвинув шумы домов, как гармошки. На Манхэттэнэ десять авеню (авеню — это по-русски перевести — аллея!), идущих вдоль города, и без малого триста стрит (по-русски — улица), пересекающих город. На этих десяти аллеях четыре аллеи имеют вторые этажи, по которым ежеминутно мчат электрические поезда, мчат, сотрясая улицы и мозг, с воем и скрежетом. И нет в Нью-Йорке авеню, где не был бы слышен этот скрежет.

Все подземелья Нью-Йорка изрыты складами, соборьями, подъездными подземными путями железных дорог, каналами городской пневматической почты, когда почтовые отправления развозятся по Нью-Йорку, по районам с почтамта не людьми, но подземным воздушным конвейером. Громаднейшие в мире нью-йоркские вокзалы врыты в землю. Человек в Нью-Йорке, если он вздумает (но есть и такие, которых к тому побуждает судьба), — человек может неделями жить в Нью-Йорке, двигаясь по нему из конца в конец, проживая во множестве отелей, — может неделями не видеть — даже улиц, не только дневного света, — проживая под землей. И ни на секунду не перестает подземелье гудеть, выть, стонать, этим своим поистине подземным чревом выбрасывая шум на улицы.

В одном Нью-Йорке автомобилей больше, чем во всей Германии. Сейчас известно, что расстояние в три авеню и десять стрит пройти по Нью-Йорку скорее, чем проехать на автомобиле. Автомобилей на улице больше, чем пешеходов, в этом городе, автомобиле-

непроезжем. Автомобили там идут колоннами, в метре расстояния один от другого и в полуметре расстояния направо и налево. Автомобили больше стоят против сигнальных огней, чем движутся. Но автомобили шумят, как известно, пусть даже они ройссовских качеств. И эти шумы ежесекундно лезут в этажи и в нервы. Автомобили шумят круглые сутки, ночами больше, чем днем, ибо по ночам грузовики развозят все нужное этому миллионнолюдному городу.

Нью-Йорк — величайший в мире порт. И с Гудзона, и с Ист-ривер валят гулы и гуды тысяч океанских и десятка тысяч портовых пароходов, пароходишек и катеров.

Каждую минуту прорезывают вой города ни с чем не сравнимые полицейские сирены, сирены пожарных команд и карет скорой помощи. Их сирены сделаны специально для того, чтобы заглушать все остальные шумы и приводить всех в онемение. Они и онемляют.

Я, покинув «Сэнт-Моритц», поселился с моим другом Джо Фриманом на шестнадцатом этаже, на Второй авеню, почти на берегу Ист-ривер. И как в «Сэнт-Моритце», и здесь я не мог спать. Я просыпался ночами и слышал, как воет радио, как за стеной сопит рефрижератор, вырабатывая лед, как свистит по нашим этажам рабочий элевейтор (лифт), развозя по этажам все нужное и развозимое по ночам для уездного города нашего дома. Дом вздрагивал от пролетающей мимо воздушной железной дороги. По мозгу чертой истерии проносились звуки подземки, проло-

женной под нашим домом. За окном, почти в уровень моего шестнадцатого этажа, были трубы нью-йоркской электростанции, — говорят, самой большой в мире, — и чуть ниже моего этажа в утробу этой станции валились вагоны с каменным углем, с грохотом и скрежетом грузоподъемных кранов. В облачные дни трубы электростанции и вершины небоскребов уходили за облака, и облака шли в уровень с крышей нашего дома, все выселяя из реальности в бред воев.

С Джо Фриманом, нью-йоркцем чистокровным, мы проехали на автомобиле всю Америку, от Тихого океана до Атлантического. Джо говорит по-русски, но говорит плохо. Я же на всех языках мира предпочтительно говорю только по-русски. И я стал примечать, что каждый день к вечеру в нашем путешествии через Америку мы оказываемся в наивозможно большем по нашим дорожным местам городе и так устраиваемся, что обязательно у нас, если не под нами, или над нами, то рядом сбоку, либо поезда воют, либо заводы. Это хоть и не Нью-Йорк, но высыпаться плохо. Тогда я стал поступать по-своему. Едем к вечеру подальше от железной дороги, вижу гостиницу, — стап, ночуем здесь, никуда дальше не еду! — Ночевали так ночь, ночевали другую, я спал отлично. А на третье утро Джо оказался совсем больным. Я его спросил, — что, мол, с тобою!? — Он ответил сиротливо и неохотно:

— Не могу спать, три ночи не сплю, птички мешают.

— Какие птички?

— Вот эти, на дворе, я не знаю их имени.

Названия птички я не добился, в силу плохого совершенства наших словесных общений. Поехали дальше. Увидели на поле стадо кур. Лицо Джо стало сердитым.

— Вот эта птичка, мужчина этих леди! — сказал Джо, указывая на петуха.

Когда мы подъезжали к Нью-Йорку, после перехода через Америку, — а был это субтропический июнь и ехали мы с полупленными от зноя носами, тщательно смазанными глицерином, — Джо ликовал в возможности нормально жить.

Я ж очень помню ощущение того заката, когда впереди стали дымы и горбы небоскребов нью-йоркского профиля, когда навстречу пошли шумы и бензины города. Я физически ощущал, что въезжаю в какую-то всемирную керосинку. Ведь если в Конэй-айленде нет океана, хоть он и рядом, то в Нью-Йорке на улицах надо дышать не воздухом, но перегорелым бензином, копотью машин и паровозов.

Ах, эта необыкновенная, механическая, сиротливая нью-йоркская грязь улиц, мусор газет и окурков в бетоне и удушье бензинового пота! — грязь, теоретизированная одним американским писателем, который говорил мне однажды ночью под мое удивление этими грязями и мусорами, в ночную нашу прогулку, — о том, что, мол-де, американцы — индивидуалисты, каждый живет сам по себе и сам за себя отвечает, — поэтому, вы обратили внимание, в квартирах амери-

канцев чисто, но их не касаются улицы! — Ах, этот американский индивидуализм!

12

Но: кесарево — кесареви. Трюизмы бывают истинными очень часто, и трюизм истины, что доллар, только доллар, является хозяином, повелителем, мечтой, услугой американской морали — этот трюизм истины — истинен. И те, которые залезли за заборы долларов, кто имеет джаб (работу) или бизнес (дело), — для тех — стандарты, несмотря на американский индивидуализм.

Это — для тех, которые залезли за заборы доллара.

Европейский стандарт с американским не сравним.

Для залезших за доллары и спрятавших доллары в благодетельность чековой книжки, опершейся на тикер, для всех их в их квартирах обязательны мечты о радио, которое есть страдание, никак не положительное, об электрической кухне и о рефрижераторе. Залезшие за доллар мужчины и женщины должны спать в пижамах, утром каждый должен проходить в свою ванную, принимать душ или ванну, меняя ночное белье на дневное, — умывшись, люди уходят на работу, возвращаются после пяти, — мужчины должны менять дневной серый (или малиновый, или желтый) костюм и цветные ботинки на костюм вечерний, более темный, бриться, второй раз принимать ванну, — обедать, амюзментиться и ложиться спать, перед сном принимая ванну и надевая пижаму. Так должно быть. Очень немногие, даже долларствующие, имеют домаш-

нюю прислугу, и дома они едят только брекфест, утренний завтрак, лонча (завтракая) около работы и диннеря (обеда) в порядке амюзмента. Работают, конечно, и мужчины, и женщины. Так утром, перед ванной, индивидуалист должен телефонировать в соседнюю лавочку, заказывая нужное ему для брекфеста, которое привозится ему рассылным. Он должен уходить на работу. На несколько этажей имеется черная уборщица, негритянка, она подметает комнаты электричеством. Лончит и диннерит индивидуалист в городе, так положено бытом. И разнообразие столовых и ресторанов — невероятно, две из причин коего — алькогольная и национальная.

Разнообразие начинается от дрог-стори, сиречь аптеко-ресторанов, в которых можно лечиться, закусывая, и питаться, излечиваясь. По всем авеню расположены коробки так называемых кафетерий, механических столовых, где вдоль стен, за стеклами, стоят горячие и холодные едова, супы, салаты, мяса, рыбы, раки, закуски, сладости, фрукты, коки-колы, горячее и холодное. Желатель поест идет вдоль этих стен, видит, что ему предлагается, решает о нужном ему. Каждое отдельное кушанье, которое он видит, стоит в автомате. Желатель, имеющий монеты, опускает монеты (разменные кассы, так же автоматические, — тут же), и автомат преподносит ему ту самую порцию, которую он видел. В распоряжении едока мраморный столик, обслуживающий персонал убирает лишь грязную посуду. При этом в большинстве случаев часть

посуды — стаканы, тарелки, ложки — тут же выбрасываются в утиль, — штампованные из бумаги тарелки, ложки, стаканы. И так как кафетерия, чистая и всегда белая, где можно пообедать до-отказа сытно и вкусно за сорок—пятьдесят центов, в существе своем описана, то пусть будет речь о штампах. Тарелки, ложки, стаканы, не говоря уже о бумажных салфетках, — штампованы из бумаги, они употребляются всего один раз, и это гигиенично. Форд штампует свои автомобили. Но в порядке от штампованных фордов до тарелок расположены штампованные двери, рамы, кровати, столы, стулья, книжные шкафы, ножи, ложки, вилки, штампованные из железа, бронзы, бумажной массы, различных мастик, — штампованные в массовом порядке, и этот массовый штамп выбрасывает эти вещи на рынок миллионами и дешево, и эти штампованные — не только двери, стулья и заборные решетки, но и ножи для разрезывания книг, и лампы, и рамы для картин, и автомобили — сделаны отлично, изящно и удобно. И именно этот штамп дал возможность Вулворту организовать десяти-и двадцатицентвые магазины, очень брехать на кои не следует.

Каждый американец, судя по уверениям реклам, должен иметь свой автомобиль, — на самом деле этого нет, — но тем не менее не говоря о богатеях, почти всякий мелкий буржуа, многие рабочие, четыре с половиною миллиона фермерских хозяйств (а всего их шесть) имеют свой автомобиль. Автомобиль стандартного американца, залезшего за доллар, управляет-

ся самим американцем, джентльменом или леди, и со-
держится автомобиль за углом в публичном гараже,
при чем некоторые гаражи — в Нью-Йорке, в Чикаго,
в Детройте — высотой этажей по десяти, где по эта-
жам машины растаскиваются лифтами, — при чем ав-
томобильные бани, предположим, построены в этих
гаражах с наименьшим усовершенствованием, чем ван-
ные для людей.

Дороги в Америке скорее похожи на заводские
конвейеры, чем на дороги: конвейером по ним идут
автомобили, и за работой на конвейере чувствуют
себя на них шоферы. Дороги все в графиках «трафи-
ков» правил движения. Федеральные дороги в иных
местах имеют шесть, восемь полос, то-есть по ним
проходит шесть-восемь машин сразу, четыре в одну
сторону, четыре в другую. Не на обочинах дорог, и
не на столбах, а на самом асфальте написаны белой
краской — графики трафиков — «стап», «тихий ход»,
«лимит не больше шестидесяти километров», «лимит
не меньше сорока километров», «школьная зона»,
«больничная зона», «через триста футов мост», «че-
рез триста футов овраг», «через триста футов гора»,
«через триста футов поворот», «железнодорожный пе-
реезд», — и кроме этих надписей, если дорога, пред-
положим, в четыре полотна, эти четыре полотна раз-
графлены белыми линиями вдоль дороги для того,
чтобы шоферы не зевали. Асфальт и гудрон дорог
сыверен по ватерпасу. Повороты, которые по-англий-
ски надписываются «curve», построены, как строятся

трековые виражи — поворот налево — поднята правая сторона, поворот направо — поднята левая сторона, — когда не требуется менять на поворотах положения руля и нет оснований при быстрой езде слетать с дороги. Впрочем, все ж с дорог летают; в Америке наибольший процент автомобильно-человеческих смертей и увечий происходит не потому, что машины давят пешеходов, но потому, что машины сталкиваются или сваливаются с дорог; машины, которые слетели с дорог, которые разбились, — их не убирают, они валяются по придорожным канавам в дополнение надписей на гудроне и в качестве памятников аварий; в год 1930-й от автомобильных аварий погибло американцев больше, чем в год мировой войны — тех же американцев на войне. На каждые десять-пятнадцать километров по всем американским дорогам, а в иных местах на полкилометра и лишь в пустынях штата Аризона километров на пятьдесят друг от друга, стоят автомобильные станции, бензинные колонки, починочные гаражи шелли, ойли, Дженерал Моторс компани, Форд Моторс компани. Дороги заукрашены рекламными плакатами, и за плакатами попрятались отели. Американец, управляющий машиной, мотора своей машины не знает, да и вообще, кроме руля и тормозов, ничего не знает в машине; хорошо, если он умеет слушать мотор и чувствовать амортизаторы. Американцу предлагается ничего этого не знать: каждый раз, когда он набирает бензин, машина его, в плату бензина, инспектируется, а профилактика, как

известно, очень полезна не только против малярии, но также против разрядки аккумулятора. Когда я менял масло в моторе, — было так раза два, — у меня записывали мой адрес, и я получал недели через полторы от автомобильной станции открытку, напоминавшую, что на моем счетчике было столько-то миль, когда я менял масло, дабы, мол, я не запамятовал сменить масла во-время. Американец должен уметь лишь одно — вести машину. Это американцы должны уметь, и нынешнее поколение, должно быть, с этим умением прямо рождается: десятилетние мальчишки и девчонки за рулем никак не редкость. Кроме управления машиной, американец должен знать правила езды, тончайшую сигнализацию, ибо он не просто едет по дороге, но соучаствует в конвейере езды. За каждое неисполнение этих конвейерных правил — штраф, но, если с вами случилась авария в поле, за вами приезжает автомобиль-мастерская. Российский шофер, если б он проехал по Нью-Йорку час времени с московскими правилами езды, — он был бы засыпан «тикетами», штрафными квитками, как снегом в метель, — и этого не произошло бы только потому, что его б угробили вместе с его машиной на нью-йоркских улицах в первые б пять минут. Но мне однажды угодилось сломать машиной в Нью-Йорке женщине плечо и руку; когда полиция расследовала этот «эксидэнт», мне было сказано:

«— Мистер Пильняк раздавил леди по всем правилам, виновата в эксидэнте леди, а поетому мистер

Пильняк может требовать с леди стоимость разбитого об ее голову фонаря».

Дороги расписаны графиками трафиков и украшены памятниками разбитых автомобилей. Дороги загорожены рекламными плакатами, автомобильными станциями, гостиницами автомобильных клубов, туристских и спортивных обществ, отелями с различными названиями, вроде «Чикэн диннер» — «куриный обед». Все это залито электричеством и спутано телефонами. Дороги освещены по ночам за сотни верст от городов. Машины идут вереницами одна за другой в метре расстояния друг от друга, идут в иных местах со скоростью не меньше восьмидесяти километров. На иных спинах автомобилей висят плакаты, вроде следующего: — «налетай, малый, разве ты не знаешь, что в аду есть еще место!» — Не только в городах, но и в полях, и в горах — не только надписи на асфальте, но и красные и зеленые огни, и перчатка полисмена сигнализируют машинам. Шмелями среди автомобилей, с акробатической ловкостью жужжат мотоциклы дорожной полиции. И американец едет по своим замечательным дорогам понстиче в конвейере. Он ничего не видит, кроме кузова идущей впереди машины и крыльев машин, идущих справа и слева. Он должен следить за каждым своим жестом, чтобы он вел машину правильно, чтоб правильно шла его машина, — иначе — авария, смерть, — смерти в большем количестве, чем в мировую войну. Он должен следить за каждым сигналом на дороге. Он должен

сигнализировать каждое свое движение, — например, «замедляю ход и хочу перейти к обочине», ибо у него прокол, — иначе на него налетят машины, идущие сзади его и сбоку. Машины и дороги — душат перегаром бензина. И индивидуалист, вылезший из конвейера дорог, увидав иной раз рекламу вместо природы, обалдело и блаженно стирает со лба пот конвейерного напряжения. Дороги, эти конвейеры, пересекли всю Америку вдоль, поперек, поперековдоль, вдольпоперек — железом, железо-бетоном и висячими мостами перекинулись через реки, через Колорадо, Миссури, Миссисипи, Потомак, Гудзон, — дамбами прошли по болотам и озерам, — тоннелями врылись в горы. И дороги там не имеют имен, но имеют номера, 66-я идет от Нью-Йорка, через Чикаго, до Калифорнии, 11-я от Бостона, через Вашингтон, до Нью-Орлеанса. Карты дорог раздаются бесплатно на каждой автомобильной станции и в каждом придорожном отеле. Маяковский в своих поэмах поражался Бруклинским мостом через Ист-ривер. Сейчас построены под Ист-ривер и под Гудзоном тоннели, чтобы разгрузить автомобильное движение. По осети 1931 года открыт мост через Гудзон, соединяющий штат Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси: в первый день по этому мосту проследовали — около тридцати тысяч автомобилей, семь человек пешеходов и одна лошадь с коляской.

Если б автомобили в Америке были социализованы, то на каждого американца пришлось бы по сиде-

нию в автомобиле, и все американское население в одно необыкновенное утро могло бы на автомобиле ехать. Слово поворот, угол, по-американски изображается буквами «Curve», по-русски прочесть — «курве», по-английски произносится «кэ́рв»; эс-эсеровский рабочий, практиковавшийся у Форда, естественно, обзавелся автомобилем, обучался управлять им и отписывал в письмах к жене, московской работнице, о своих успехах и неудачах; однажды он попал впросак и в руки полицмену, заехав куда не надо на каком-то повороте; он отписал жене и об этом, писал:

«... а еще у меня был «эксидант», зарвался на «curve» и получил «тикет» от полицмена на трешницу...»

От жены из Москвы последовал строгий ответ: — ах, такой-рассякой, — разведусь!

Однажды в Калифорнии, в горах, я ехал с приятелями (на автомобиле, конечно), приятели затеяли спор о том, что правильно иль неправильно поступает штатное начальство, организовав работы для безработных, а именно постройку новой дороги в горах. Я спросил, где идут работы? Мне показали на дорогу вправо, уходящую в горы. Я попросил нашу драйвершу (шоферицу, хозяйку машины и жену писателя) свернуть к работам, чтобы посмотреть безработных. Направо и налево вдоль строящегося асфальта на километр стояли автомобили. Я спросил, — что за машины?

— «А это приехали безработные на работу», — ответили мне.

Эк, подумаешь, какой в Америке стандарт, — безработные на автомобилях! — но дело-то в том, что автомобиль в Америке перестал быть предметом роскоши, став первостепенной необходимостью, — машины старых марок стоят там двадцать пять—тридцать долларов, — рабочему они заменяют ноги, и безработный расстается с машиной в очередь последнюю, отрезывая от себя возможность передвигаться.

В горах Аризоны, в местах Майн-Рида и Фенимора Купера, под скалами, работали два года тому назад, а теперь молчат по воле кризиса — заводы золотых приисков. Рабочие с гор и пустынь Аризоны, из мест «дикого» Запада и индейских традиций, разъезжаются на своих двадцатирублевых фордишках. Сзади автомобиля привязана повозка. И автомобили и повозки набиты подушками, кастрюлями, радиоящичками, детишками, нищетой. Таких повозок ползет множество. Мы спустились с гор Аризона к штату Нью-Мексико, запаздывали, спешили, было часов десять ночи (и было это во время нашего похода от океана к океану). На дороге фары нашего автомобиля осветили стоящий автомобиль, мужчину, роющегося в моторе, женщину, лежащую сзади машины на асфальте, кудрявые головенки троих детишек за стеклами кузова. Мы остановили нашу машину, чтобы узнать, в чем дело и, быть может, помочь. Человек, роющийся в моторе, сказал о себе:

— «безработный; едет в Средний Запад, — непонятно, что случилось с мотором, — бензин есть, —

а жена — у жены третий припадок эпилепсии за день, иссякли все деньги, и жена, и дети ничего не ели».

Мужчина был академичен. Детишки, несмотря на час, когда им пора было бы спать, весело болтали детскую ерунду про маму. Я смущенно дал рабочему два доллара. Джо укорил меня в скупости. Мы обещали из первого же гаража прислать механика.

Мы приехали в городишко и первым делом поехали в гараж. Человек из гаража не дал нам дорассказать о несчастии, которое мы встретили на дороге.

— Около моста? — милях в семи отсюда? — спросил он. — Так это наш Джон, наш нищий. Ах, комик! Он каждые два раза в неделю ездит на такую работу. Вы уже восьмой сегодня, который просит за него. Ах, юморист. Сегодня он опять работает, значит, мне не дадут спать до часа ночи!

13

Америка — страна рекордов и техники. Был я в Среднем Западе на фермах. Был на молочной ферме. И — в коровьих квартирах на этих фермах коровам играет радио, чтобы коровы больше давали молока от успокоенных музыкою нервов. К каждой корове проведен свой собственный водопровод, чтобы коровы не питались из общей миски. Доят коров электричеством по конвейеру. Корова, коровы выходят на некоторую карусель размером в хороший ипподром, корова встает в стойлице. Карусель вращается по солнцу. Корова вместе со стойлом сдвинулась на размер стойла на-

лево. В соседнее стойло входит вторая корова, а первой корове в это время душ льет мыльную воду под хвост, под живот, на вымя. Карусель передвинулась еще на стойло, корову поливает чистая вода, смывая мыло. Карусель передвинулась еще на стойло, корову под хвостом и в вымени сушит теплый воздух. Тогда в коровьи соски вставляется электрическая доилка. Когда корова привозится каруселью к первобытному своему месту, она подоена. Она подоена без прикосновения человеческих рук. Электрическая доилка гонит молоко по хитроумным трубкам, которые показывают химический состав молока, его водянистость, казеинность и жирность, которые стерилизуют молоко и разливают, герметически закупоривают его по бутылочкам, укладывая их в ящики.

Эти ящики везутся рефрижераторными автомобилями и поездами в города, к потребителю, где молоко прямо из коровьего вымени, без прикосновения человеческих рук, но стерилизованное, попадает в рот желяющего попить молока.

Это — рекорд. Но был я в том же Среднем Западе и просто на фермах, где коровы доятся мужчиною-фермером при помощи собственной его пятерни, не чище, чем нашими рязанскими бабочками, а проживают коровы в черных сараях под черепицей в традициях рязанских единоличных коров. И в том же Среднем Западе есть фермы, которые брошены фермерами волей кризиса и голода.

В том же Среднем Западе находится город Чикаго, а в городе — бойни. О чикагских бойнях написано множество. О чикагских бойнях, никак не отвлекаясь от темы, следует рассказать, что на них не механизировано только одно — предательство: на этих бойнях есть немеханизированные предатели — предатель-козел, предатель-боров, предатель-бык. Бойни вкопаны глубоко в землю, там пахнет кровью миллионов скотин, там убитых. Гурты овец, свиней, коров, сброшенные поездами в подземелье с тем, тобы через несколько часов в качестве филе, крайних мест, грудинок, колбас, консервов поехать в рефрижераторах по стране, гурты в подземельях охватываются смертным ужасом. К обессиленным в смертной тоске выходит тогда спокойный боров (иль козел, иль бык), боров ласково толкает свиней, успокаивает и ведет за собою, успокоенных. Свиньи идут за ним, боров ведет их в узкий лабиринт коридора. В темном месте в коридоре, где свиньи идут гуськом одна за другою, боров вдруг отскакивает в сторону, исчезает, — но на свинью, на свиней, идущих за ним, набрасываются петли, и свиньи взлетают на механических канатах на конвейер, в смерть. А боров в спокойствии идет в новый загон, чтобы успокоить новый гурт!

Это уже не американская тема, — иль американская!? — но если вернуться к американскому молоку, то молоко попало в рот желателя попить молока прямо из коровьего вымени.

Все это — и молоко, и свиньи, и радио-принадлежности, — все это для тех, кто залез за заборы доллара.

Ах, доллар! — ох, американский индивидуализм! — эх, эти миллионы, которых поддувают в Конэй-айлэнде! — ну, Нью-Йорк! —

Впрочем, Нью-Йорк фактически на один этаж ниже, чем это указано цифрами: ни в одном нью-йоркском доме нет тринадцатого этажа, нет тринадцатой квартиры, нет тринадцатой комнаты. С крыш полубоскребов я видел небоскреб Вулворта, пятый нью-йоркский по высоте, — того самого Вулворта, который по всей стране раскинул десяти-и двадцатицентовые магазины. В этих магазинах любая вещь стоит десять или двадцать центов, — стандарт американского индивидуализма. Десять центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок, ручка, чашка, стакан, зубная щетка и прочая, прочая, прочая. И: механический гадальный аппарат — десять центов! — который предсказывает будущее, построенный наподобие перронных автоматов. Этакже ж автоматы торгуют папиросами, спичками, почтовыми марками, шоколадом, мятными конфетами, чуинг-гом'ом (сколько его, этого чуинг-гом'а, сиречь жевательной резинки, пережевывают американцы, в подземельях собсеев и на заводах некурящего Форда), и прочая, прочая, прочая порядка американского индивидуализма. Механический же гадательный предсказатель будущего, подпертый отсутствием тринадцатых этажей, повторил мне мою

американскую подружку, полузнаменитую актрису, которая каждые две недели ходила завтракать в цыганский ресторан на Пятую авеню, где в плату лонча включалось цыганское гаданье о будущем!.. —

И все это, механическое и цыганское гаданье, отсутствие тринадцатых этажей, все это упирается в:

— больше ешьте! больше пейте! больше! больше! больше! слепните от реклам! задыхайтесь бензином! глохните ревом города! давитесь автомобилями и радио! —

Когда можно лирически рассуждать, что город вместе с людьми сошел с ума, стал на дыбы, чтобы улезть в никуда и в нечеловечность, спутав всяческие перспективы.

15

И все у американцев — спорт. При этом понятия — спорт, рекорд, о-кэй — понятия равнозначащие. Костюмы у американцев — спорт (и рекорд, и о-кэй!). Автомобили у американцев — о-кэй, спорт. На каждом пустыре, в Нью-Йорке, и во всей Америке — гольф-площадки, размером в пинг-понг, — спорт, равно как и бокс, и теннис, и футбол, о-кэй, рекорды. В Чикаго, на крыше небоскреба, на мачте провисел человек целый месяц, на мачте пил, ел, спал, жил, — спорт, рекорд. В Чикаго же, в некоем дансинге, со дня открытия его, две тысячи часов непрерывно танцевали — спорт, рекорд (и публицити, конечно), о-кэй. Два паренька

оттащили от своего дома автомобиль на десять шагов, без бензина, и проехали на нем, не купив ни капли бензина, выпрашивая у встречных по литрику, две тысячи миль, — спорт, рекорд, писали в газетах. Линдберг сел на аэроплан, никому не сказавшись, и перелетел через океан, — спорт. Его, Линдберга, коллега, позавидовав Линдбергу, влез в аэроплан и мотался на нем три недели над Нью-Йорком, пил там, ел, и ему туда слету переливали бензин и масло, — спорт и рекорд, даже мировой, — о-кэй, газеты с ума сходили. Обувь — спорт. Поддуться на Конэй-айленде — спорт. Замечательно спортивная страна! — все — спорт, даже бандитизм.

И — очень много национальных флагов! — в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Сантафе, в Нью-Орлеансе, в Боффало, — на поездах, на пароходах, на улицах, в ресторанах на оберточной бумаге, на стеклах магазинов, в клубах, посреди полей, на вышках гор, — флаги, флаги и флаги! — флаги бессменно, точно сплошной табельный день скачущего штандарта и стандарта. Флаги даже на кладбищах!

Так много национальных флагов, что начинает заползать раздумье: не национальными ли флагами заменена нация? — Ведь можно построить парадокс и утверждать, что в Америке нет американцев. Следовало б коренными американцами считать индейцев, — но они — иль вырезаны саксами, иль ассимилированы испанцами, и: индейцы, проживающие в USA, в американских гражданах — не состоят! — американские

индейцы даже не граждане американской республики Соединенных Штатов! Англичане — родоначальники Америки, — но Англию в Америке наиболее не любят, со дней войны за освобождение. Приезжает в Париж, в Москву этаким человек, за пять метров видно — американец, человек неловкий, смущающийся и от смущения чуть-чуть угловатый, человек добродушный и пахнет, кроме французских духов, долларами, — так вот разговоритесь с ним, — не Котофсон ли он?! Город Нью-Орлеанс — легкий французский город, его улицы названы генералами французской революции, и на этих улицах французская речь. Итальянцев в Нью-Йорке больше, чем в Риме, и самая большая итальянская газета в мире выходит не в Риме, но в Нью-Йорке. Штат Нью-Мексико своим названием говорит, что это штат мексиканский, в этом штате живут католики, мексиканцы и индейцы, и там говорят по-испански. Писатель Теодор Драйзер — американский классик — говаривал мне, что себя он считает немцем. В самые первые мои американские дни был я несколько часов сыном святого Патрика. Есть у ирландцев такой просвятитель, коего ирландцы считают детьми. В этот день по Пятой авеню ирландская мелкая буржуазия ходила с флагами и песнями, а вечером буржуазия крупная — Патриковы дети, капиталисты, адвокаты, инженеры, ксендзы, судьи, прокуроры — обедала. Оказался случайно и я на конце этого обеда. Один миллионер, забыл фамилию, тряс меня за плечи, одновременно за плечи мои держась,

силится и никак не мог собрать свои зрачки на моих очках и говорил:

— Ты Пильняк, мне говорили, — у тебя — голова!.. У тебя голова, а у меня миллионы, — давай вместе!

Двоегражданство ж американцев имеет ряд последствий. В Нью-Йорке и во всей Америке вы найдете рестораны французские, испанские, китайские, японские, английские, немецкие, итальянские, польские, русские, — но американского ресторана там не найдешь. За американским рестораном надо ехать в Токио, в Шанхай, в Париж (к Ритцу), в Лондон (к Ритцу) и в прочие ритцовые столицы, и даже в безвкусицу московского Гранд-отеля, бывшей Большой Московской. Разве лишь кафетерии, механическая вежливость, — есть американское изобретение, — но грэйп-фрут американцы едят по-английски. Американцы придумали мороженое «эскимопай». Но нью-йоркцы решают перед обедом о том-де, что следует сегодня поесть французской спаржи, а завтра протравить себя испанскими специями и токилло, мексиканской водкой, делаемой нето из кактусового, нето из агавового сока, самой жестокой в мире. Двоегражданство помогает, конечно, американскому нищезащитству. На фордовских заводах ставят рядом разнонациональных рабочих, чтобы меньше разговаривали один с другим. Наплевать мне на итальянца, раз я ирландец! — Американское двоегражданство надо помнить всегда, когда речь идет о быте, — и ни в коей

мере не стоит отдавать предпочтение англичанам. Американская национальность возникает тогда, когда речь заходить о долларе, ибо —

— американский флаг!

И все — доллар! и все — в долларе! Человек окончил университет и человек, читающий в газетах только об убийствах, один зарабатывает — университетский человек — доллар, а второй в это же время — пять долларов: уважаем тот, кто зарабатывает пять. Человек окончил университет, но другой — бандит, — второй получает больше, и он уважаемее. Люди ученые, люди, занимающиеся гуманитарными делами, даже чиновники, — люди второго сорта. Если не можешь быть мэй-монеищиком — ну, так иди учиться. Хороший игрок в гольф — куда до него хорошему ученому! — Студентов следует спрашивать не о том, какого они факультета, но какой команды — футбольной, баскетбольной или хоккейной? — Заниматься теориями — ерунда, если их нельзя сразу же обернуть в доллары.

И — патриоты! — в восторге от самих себя, в восторге от своей страны (пусть у половины американцев даже отцы не родились в Америке)! — Америка — вершина человечества и цивилизации, венец творчества! — и американцы — никак не космополиты: — что такое Европа или Азия!? — Афины, это где — в Мексике? — Москва, — ах, да, это, кажется, в штате Кентуки! — Ориссей Вольтер, — это бондарь со второй улицы? — но вообще это не важно, Америка никем, ничем и нигде не превзойдена и не может быть

превзойдена! — впрочем, если европейцы там что-то придумывают, так это только для Америки! — все остальное — пустяки! — наш национальный флаг — даже на кладбищах!

Впрочем, если послушать иных американских граждан, оказывается, что все, написанное выше, никакого отношения к Америке не имеет. Даже Нью-Йорк, оказывается никакого отношения к Америке не имеет. Америку, оказывается, надо искать в Среднем Западе. Оказывается, Америка, как была сто лет тому назад, так и теперь живет в демократии, в пуританстве, в свободе слова, совести и вероисповеданий, в страшной добродетели, трудолюбии и целомудрии. По праздникам ездит в церковь, при чем некоторые церкви построены так универсально, во имя свободы вероисповедания, что в них помещены подотделы — лютеранский, католический, методистский, еврейский и прочие. По понедельникам, дескать, Америка стирает белье. Живет в страшной нравственности полов и охраняет эту нравственность такими, например, законами, по которым не родственники и не муж и жена не могут вместе (в автомобиле, коляске, лодке) вдвоем переехать из штата Нью-Йорк в штат Нью-Джерси, то-есть переплыть через Гудзон, и должны быть арестованы за прелюбодеяние, — а муж и жена имеют строгое расписание своих семейных обязанностей, разреestrенных на год вперед. Населяют Америку, дескать, демократы, когда фордовский рабочий может похлопать Форда по плечу и сказать: — «Хэл-

ло, Генри!» — (что касается Форда, то это самый недоступный в Америке человек, живущий в крепости, почти никого не принимающий, но, действительно, раз в году появляющийся среди рабочих, когда его соратники должны кричать ему — «хэлло, Генри!»). Не важно, дескать, — скажут вам, — чем ты зарабатываешь деньги, — и вечером на скамеечке около дома, в клубе иль в ресторане все равны, все кланяются друг другу и — в провинции — жена бондаря знает, какая курица сегодня на обеде у жены шерифа.

И — действительно, свидетельствую — все это имеет основание до сегодняшних дней, не только для Среднего Запада даже, но даже для Нью-Йорка. Прошлый американский век пуританизма то там, то тут вдруг выползает из сна времен и приводит в недоумение, ибо с автомобиля современных американских скоростей вдруг попадаешь в кованную железом медленность пионерских фур. Это он путает очень многим по очень много количеству пунктов мозги. Это он зажигает свечи и поручает интеллигентам строить коттеджи в стилях избушек дровосека. Это он из городов по деревням, а не наоборот, посылает крестьянские платья. Это он свел меня с некоей женщиной в бронкском парке, в дожде —

16

Это он свел меня с моими соотечественниками-американцами и с Эйми Мак Фёрсон, в Лос-Анжелесе, в Калифорнии.

Я прочитал:

«Песнь 91

«Любодейца в Содоме,
«Живет она в Вавилоне;
«Сидит она на престоле;
«У ней чаша в руках;
«Полна мерзости в устах.
«Она сидит, укоряет,
«Избизать всех желает,
«Святой боже, святой наш,
«Отомсти ты ей при нас,
«Чтобы очи наши видели,
«Чего мы ожидали:
«Чашу гнева ты излей,
«С лица земли ты избеи:
«К пропасти ее отведи».
И так далее.
«Богу слава и держава,
«Во веки веков. Аминь!»

Песнь эту я прочитал в книге, которая называется: «Сионский песенник столетнего периода. Христианской Религии Молокан Духовных Прыгунов в Америке. Первое издание в Лос-Анжелесе 1930 года». Издана книжка отлично, в кожаном переплете. В отделе «от издания» я узнал:

«Приступив к первому изданию Сионского песенника, объясняется. Содержание песен и напевы разделялись на унывные, торжественные и средние. Будучи пропеваемы соответственно обстоятельствам жизни: при страдании, печальном поло-

жении, с коленопреклонением, воздетыми руками и слезным плачем; а при благополучии — радостном настроении торжественные, с духовной пляской, попросту: бесформенным прыганием. Такие песнопения дают подкрепления плачущим и утешения торжествующим. Когда в собрании плачут, молятся, благодарят, славят своего господа, песнопения с прославлением святых, крайняя степень восторженного возбуждения, доходящая до иступления, до самозабвения, вызывает духовный пляс».

Я был у этих моих соотечественников-американцев.

Сумерки по субтропическим местам переходят в ночь стремительно. Надо было проехать центром Лос-Анжелеса, переехать через мосты железнодорожных путей, попутаться в переулках. И — Расея мать! — за палисадами белые избушки типа кавказских, кавказско-русских построек. На перекрестке — православная, прости, господи, лужа, как у Гоголя, — но над лужей американский фонарь. У двух женщин под фонарем, очень дородных, в белых, похожих на ночные рубашки, платьях и в белых платочках спросили по-русски, — где находится молитвенный дом? — Ответили обе сразу, приветливо, крестьянски-русски напевно, — объяснили. Поровнялся с нами форд серии Т, высокоосный, остановился, — человек с бородою, как лес, в белой русской рубашке, спросил:

— А вы кто такие, братие, будете?

Объяснили, сказали, что, мол, вот один такой приехал недавно из Москвы, хочет побывать на молении. Форд поехал перед нами, показал дорогу. Я ехал за этим фордом и размышлял о том, что—надо ж было отмахать пол земного шара, чтобы вот повидаться с соотечественниками и повидать прыгунство! — но я ж помнил о том, что в Берлине, в американском консульстве, мне предлагалось веровать в бога, — и прыгунов я хотел повидать не только потому, что они русские, но и потому, что они — американцы. Подъехали к зданию, похожему на сельскую русскую школу, поднялись на терраску, вошли в большую, человек на полтора-раста, комнату, освещенную электричеством. Слева в углу стоял стол, покрытый белой скатертью, на нем лежала библия. От стола перпендикулярно друг к другу шли ряды скамей, — на скамьях от стола вглубь комнаты сидели женщины, на скамьях от стола к двери сидели мужчины. И мужчины, и женщины были в белом. Волосы женщин были повязаны белыми платочками. Мужчины были очень бородаты. Бородное зрелище в нынешней Америке — дело чудное. Моложе тридцати пяти лет ни мужчин, ни женщин не было. Женщины на подбор дородствовали. Александр Браиловский, который привел нас, научил, как надо кланяться. Мы поклонились, нам ответили. Я с наибольшим вниманием рассматривал электричество: прыгуны, как известно, удовлетворяют американским божественным требованиям и американские власти поставили

прыгунам одно лишь божественное условие — не тушить во время радений света, радеть при полном электричестве.

За столом, за скатертью сидели старейшины — плотноплечие старичищи — и вели духовную беседу, обращаясь с вопросами и за словом к председательствующему.

— А вот, Иван свет Карпович, видел я нынче сон, еду я на каре, припарковался по всем правилам около своей плантации, и вдруг вижу, идет моя Марфа с колерным, спикают, а в руках у негра факел, и негр смотрит строго, как я припарковался.

На русский язык перевести эту фразу надо со следующими поправками: кара — кар — автомобиль; парковаться — ставить машину в указанном месте, по правилам; плантация — поле; колерный — негр; спикают — говорят. Говорил старичище елейно, пошамкивая, напевно.

Иван Карпович молвил, расправив бороду и проникновенно:

— Мда, этта, конечно, — сон... В священном писании сказано... мда, этта, колерный, конечно, диавольезвул... А факел у него в руке, мда...

Одна из баб, сидевшая на женской скамье, подперла щеку и сокрушенно вставила словцо:

— И хвакел, заметьте, горит красным полымем, будто ойлевый-нехфтяной, а я спикаю, а что спикаю — не помню...

Иван Карпович молвил проникновенно:

— Не помнишь, сестра, про што спикала?.. Мда,— а я тебе объявлю. Нес этот вельзевул этот факел, чтобы омрачить глаза духовных христиан. Попрыгать тебе надо, Марфа, как следует попрыгать, мда...

Другой старик завел другую духовную речь:

— А я хотел побеседовать, — кредитовался у меня на десять долларов один шабёр, имя его умолчим в виду его духовного братства, надо ему прикупить силосу, обещал отдать на тоем молении и не отдал по сие время... духовно он поступил ай нет?

Иван Карпович молвил, проникновенно попрежнему и опять поправив бороду:

— Мда, этта, конечно... в священном писании сказано, мда....

Этак духовно поговорили еще тем на пять. Подобрался народ. Каждый проходящий кланялся поясным поклоном. Когда духовные темы иссякли, а народ подошел, Иван Карпович прочитал страничку из священного писания, на славянском языке, — этакую страничку белиберды, вырвавшуюся из средневековья во американские утверждения, что Америка, как была сто лет тому назад пуританской страной, так и существует поныне, стирая белье по понедельникам, веруя в любого бога и пребывая в целомудрии, когда из штата Нью-Йорк с не-женой нельзя проехать в штат Нью-Джерси. Читал Иван Карпович ритмично, почему-то задыхаясь, почему-то волнуясь. И, когда он кончил читать, я увидел, что собравшиеся уже экзальтированы.

— Попоем, братие, — крикнул Иван Карпович.

Отодвинули стол и скамьи, люди стали, мужчины и женщины, двумя группами, под прямым углом друг к другу, запели:

«Мир вам, братцы и сестрицы,
Вы зачем сюда пришли.
Дух, дух, дух,
Вы зачем сюда пришли!..

Вы зачем сюда пришли,
Много казни принесли.
Дух, дух, дух,
Много казни принесли!..

Много казни принесли,
Вы какие труды несли.
Дух, дух, дух,
Вы какие труды несли!..

Вы какие труды несли,
Вы трудились ли о том,
Сознаете ли дух отцам».

Песнь очень длинна; выкидываю три четверти и привожу конец в сокращении для иллюстрации глу- постей:

«Мы не знаем, как нам быть,
На каком судне нам плыть,
А мы сядем на корабль,
Каждый будем богу раб,
А наш господь есть один,
Ему славу воздадим,
Богу слава и держава,
Во веки веков. Аминь».

Надо отдать справедливость — пели исступленно, восторженно, изуверски. Сумбур совершенно бессмысленных словесных наборов прыгуны пели, начав замедленными ритмами и ритмы затем все время ускоряя. К концу песни — была уже не песнь, но истерический, гипнотический, замкнутый круг ритмов, вой, когда непонятно было, как у этих людей хватает дыхания для этих, замыкающихся в истерию и в гипноз, все убыстряющихся, все нарастающих в исступлении слов.

Первым запрыгал тот самый, который духовно толковал о десяти долларах, ему не отданных во время. Это было просто страшно, и это вываливалось из ритма, и это — —

— бородатый человек лет пятидесяти, широкоплечий мужик, чернобородый и черноглазый, в кованых сапогах, исказив лицо в бессмыслицу, вдруг запрыгал, — прыгал он очень высоко и, казалось, прыгал затем, чтобы проломить пол, так остервенело он долбил его своими подковами сапог, — он приседал на корточки, откидывал руки назад, взлетал в воздух и свирепо подставлял каблуки полу, он делал это все быстрее и быстрее, — он стал прыгать против одного из старцев, он закричал, переплетая свои откровения святого духа, сошедшего на него, со словами песни:

— Дух, дух, дух! — а кто взял десяти долларов — не скажу! не скажу! — а мы сядем на корабль! — дух, дух, дух! не скажу!..

Он упал на минуту, повалился в бессилии и под-

нялся бледным, ничего не понимающим, стал опять на свое место, продолжал петь. В это время прыгали двое других мужчин и одна женщина. У женщины сбился с головы платок, рассыпались волосы, ее белая рубашка-юбка взбилась выше колен.

Действительно, белье стиралось по понедельникам! — Надо ж было проехать ровно половину земного шара, когда я к Москве был вверх ногами, — чтобы увидеть этакий бред, благословенный американским пуританизмом, что ли?! — Видеть прыгающих людей было попросту стыдно.

Средневековые неистовствовало, и его стыдно было видеть потому, что прыгали, искажая лица и тела, — люди. Когда я выходил из моленной, вслед мне вышел один из молящихся. По-домашнему просто, он спросил меня, — «вы будете такой-то?» — я ответил. Собеседник сказал:

— Читал о вас в газетках. Ну, как на родине? — разрешите мне вас после моления попросить ко мне попить чайку, — не откажите, расскажите про СССР. Мы посылали в Москву к Михаилу Ивановичу Калининскому ходяков, — собирались вернуться. Только вот — попрыгать, — от этого мы не откажемся.

Я ходил чай пить к этому человеку. Канонный русский мужик, канонный кулацкий быт. Отличие лишь в том, что рядом с коровой на дворе, вместо лошади, стоит форд, да вместо русского «нет», он говорит английское «ноу». Приехали прыгуны в Америку лет двадцать — двадцать пять тому назад, поселились на

пустых местах. Лос-Анжелес тогда сам был немного больше, чем их, молоканская, деревня. Занимались сельским хозяйством. Сельское хозяйство сейчас на втором плане, главным источником существования сейчас является ветошничество, собирание мусора в Лос-Анжелесе, — дело, которое молокане монополизировали. Молокане ныне — совершенно естественно — американцы, граждане страны пуритан.

И там же в Лос-Анжелесе — городе Ангела — видел я Эйми Фёрсон. Надо мне было побывать на вокзале, встретить Ала Люэна, моего супервайзера. Приехали на вокзал и: — толпища народа, кинодеи на заборах, сумятица, американские флаги. Цветы, автомобили, пренарядная толпа и, предпочтительно, молодежь, люди до тридцати лет. Приезжала Эйми Мак-Фёрсон.

— Что такое, — спрашиваю, — за Эйми Мак-Фёрсон? — кино-звезда?

— Нет, рассердились, — святая!

Приезжала калифорнийская святая. Устроился с кинодеями на крыше автомобиля, чтобы рассмотреть. Святая ездил путешествовать по Европе. В Америку миллиардеры могут заказывать себе отдельные вагоны, — так вот на пороге такого вагона появилась женщина в наимоднейшем платье, возраста которой — из-за наличия наличных красок — разобрать нельзя, нето семнадцать, нето тридцать семь, очень красивая. Женщину стали осыпать цветами. Заработали кинодеи. Из-за нее и из-за цветов высунулся мужчина, —

сразу видать — сутенер и любовник. Женщина изрекла, толпа перелистала ее слова до крыши моего пребывания:

— Будьте вечно молоды, мои христиане!

За женщиной, за сутенером из вагона полезли чемоданы и круглые для шляп картонки. Ройс усадил женщину и сутенера в свое покойствие. Рассмотрел ее из близости: красивая женщина, уже потрепанная, раскрашенная, как актеры в гриме. Толпа неистовствует, всем весело, и все рады. Штандарт скачет.

Добивался толку, — в чем дело!? — и толка добиться не мог. Ездил на моление в честь приезда Эмми Мак-Фёрсон. Так, скажем, храм построен в стиле эллинских храмов, — этакий эллинизм по американским понятиям! — Все завалено цветами. Не знаю, как правильнее выразиться, — алтарь или эстрада: на эстраду вышла эта самая Эйми Мак-Фёрсон, пререзанная, и велела допрежь всего всем перецеловаться. Затем попели. Затем Эйми стала рассказывать о своей поездке по Европе, о боге, о парижских модах и ритцево-божественных нравах. Так, скажем, храм набит был людьми в возрасте от двадцати пяти лет до тридцати пяти: клерки, магазинные продавцы и продавщицы, домашняя прислуга. Что такое!? — Игорь Северянин в юбке, что ли!? — Эта женщина, спрятавшись однажды у любовника, объявила себя украденной, — дескать, три дня проводила в пустыне, — как сообщалось в газетах, — и спаслась только по воле Христа. Эта женщина доказывает, что самое главное

добро заключается в красоте, которую категорически требовал Иисус Христос; поэтому мужчины должны как следует причесываться, носить наимоднейшие костюмы и галстуки,—женщины ж никак не могут отставать от моды и обязательно для-ради Христа должны краситься, пудриться, укорачивать или удлинять юбки по мере сил и моды. Эта женщина доказывает, что все должны как можно больше целоваться и обниматься во имя Христа, поелику это красиво. У этой женщины легализованный любовник, под-Христос, что ли?— И все! Над храмом — американский флаг!

О госпоже Мак-Фёрсон рассказано в дополнение к молоканам, духовным прыгунам.

В те же самые дни однажды шел я по набережной Санта-Моника под пальмами.

— Борис Андреевич!

Оглядываюсь: — Перетц Гиршбейн.

С этим чудесным человеком, еврейским писателем, впервые я встретился в Японии, в свое время я написал о нем рассказ, который называется «Олений город Нара». Тогда, в первую мою встречу, меня поразило в этом человеке то, что он все время путешествует, — он объездил весь земной шар — Африку, Австралию, Азию, Америку. Тогда, до Японии, он путешествовал уже целый год, и мы услаивались встретиться через два года в Москве. Он должен был из Японии ехать в Китай, в Индию, в Палестину и — в Москву. Я спросил его тогда, почему он так много ездит, почему у него такая воля видеть? — он ответил мне, что

он ездит не потому, что он хочет видеть, но потому, что он не хочет видеть виденного. Поздоровались, пошли ко мне, удивлялись необычайностям наших встреч. Вечером ездили к прыгунской молодежи уже американской генерации.

И это было уже совсем отличное зрелище от того, что я видел, когда люди прыгали, — и было это не в моленном доме, а в школе. На скамьях сидели юноши и девушки, одетые и причесанные американцами. Речь была предпочтительно английской. Бородатые отцы на задних скамейках выглядели недоразумением. Юноша в спортивном костюме произнес речь на английском языке, изредка вставляя в нее славянско-евангельские тексты. Старец говорил поучения, в роде тех духовных собеседований, которые рассказаны, — так его речь у молодежи вызывала смешки, особенно в особенно глупых местах. Девушка, опять на английском языке, прочитала по бумажке, страшно волнуясь, классное сочинение про прыгунского бога. Ни о каком плясе и помину не было, — так, диспут в колледже при родителях. Этак просидели часа полтора, и затем ребята в валом и отдохновенно повалили из класса. Вторая генерация прыгунов — это уже американцы, плохо говорящие по-русски, спортсмены и люди, ходящие в школы и колледжи.

Пишется сейчас это во разрушение моих же утверждений, что в Америке нет американцев, — есть, оказывается: это те, кто собраны под американскими флагами. Я принял виденное у прыгунской молодежи

к сведению, — Джо этому порадовался, — и вдруг мы с Джо увидели, что очень опечален Перетц Гиришбейн, в большей степени, чем прыгунские старцы.

И по дороге домой, и дома за полночь у нас был разговор — о следующем. Джо говорил, что второе поколение евреев в Америке — уже не евреи, но американцы, что еврейские газеты умирают с каждым днем, что еврейские писатели в Америке, в этой богатейшей стране, вынуждены издавать свои книги в Польше. Джо и Перетц — писатели, оба евреи, — и Джо считал правильным, что он пишет на английском языке. Джо утверждал, что еврейский вопрос существует только там, где есть гонение на евреев; когда этого гонения нет, евреи перестают быть евреями, становясь американцами, — и не случайно, поэтому, еврейские издательства, которые издают еврейских писателей, и Перетца в частности, находятся в Польше, одной из отсталейших стран. Джо считал не только закономерным, но и положительным ассимиляцию евреев, и он утверждал, что ему не важно — эллин или иудей, но важен трудящийся человек, и он утверждал, что еврейский вопрос есть пережиток средневековья, он должен исчезнуть, и нет ничего страшного в том, что, мол, вот — Пильняк, немец по происхождению, состоит в русских писателях, и очень хорошо, что прыгунские дети не прыгают и чувствуют себя американцами, интересуясь комсомолом. Перетц не мог отрицать фактов, Перетц очень нервничал. Он говорил о прекрасной истории еврейского народа и недоумевал, почему следует сохранять историю английского или

русского народа, и недоумевал, почему следует сохранять историю английского или русского языков, и надо уничтожить язык еврейский. И Джо, и Перетц перебирали судьбы еврейских колоний на земном шаре. Вдруг наново осветился передо мною образ Перетца, этого трагического человека и писателя. Я вспомнил мой киотский с ним разговор, когда он мне ответил, что он ездит по миру не для того, чтобы видеть, но чтобы не видеть виденного, — этот человек, положив себе в карман американский паспорт, ездит по земле, чтобы найти уходящее гетто, чтобы сберечь своего читателя, свой народ, который от него уходит. Гетто в Америке умирает со вторым поколением, как со вторым поколением умирает прыгунство.

Конечно, я не прав: капиталистическая Америка в первой очередь скидывает с людей средневековые обручи национальностей и сословий (об индейцах и о неграх — дальше). Америка затуманивает, замаскировывает перестраивания людей в классы, когда нет эллина и иудея и российского прыгуна, но есть трудящиеся и бездельничающие за счет трудящихся. Это — на пороге. Но пока — национальный флаг, вместо американской нации, и штандарт (или стандарт) скачет!..

Эйми ж Мак-Фёрсон, оказывается, — баптистка!
Итак, — американский флаг!

В Нью-Йорке, на углу Второй авеню и Десятой стрит, есть английская церковь, где раз в неделю, после проповеди священника, танцуют разные духовности полуголые женщины. Делается это во имя бога, как уверяет тамошний батюшка, изобретатель этих

танцев. Другие полагают, что учинены эти танцы для поднятия посещаемости божьего храма, ибо вообще посещаемость церквей на земле падает. Во всяком случае, полиция никак не протестовала против этих танце-оголений, раз это требуется богу. Возмутились лишь батюшки из соседних храмов. Танцевальный же храм посещался не меньше, чем любой бурлеск, американское публичное раздевание женщин, называемое также рэвю.

О том, как разрешается верить — рассказано. И рассказано, как исчезает двоегражданство: у наций, которые были угнетаемы на своих полусредневековых родинах, в первую очередь. Нации подобраны под американский флаг, под ликование американской демократии, под доллар.

17

Впрочем, если послушать иных американцев, даже Нью-Йорк никакого отношения к Америке не имеет, вместе с танцевальными храмами, не то что прыгуны и Эйми Мак-Фёрсон. Вам расскажут, что Америка, USA — пуританская, правоверная, законная страна, где законы превыше всего. Я, например, во утверждение этой истины, могу рассказать следующий эпизод, бывший в Детройте. Американский Детройт отделен от канадского Винзора мостом. Съехал с моста, из Канады в USA, автомобиль и поехал дальше по всем американским правилам уличного движения. Полисмен заподозрил в шофере бутлегера, торговца алкоголем.

контрабандиста. Полисмен на мотоцикле поехал вслед автомобилю. Автомобиль шел по всем правилам. Полисмен потерял терпение, остановил машину, учинил обыск, нашел несколько ящиков виски. И—по суду—алкоголь был возвращен шоферу. Праведный американский судья рассудил, что автомобиль шел по всем правилам, стало быть, полисмен не имел права его арестовывать. А раз полисмен не имел права арестовывать, то суду ничего неизвестно про виски вообще, — в частности ж все, что в автомобиле находилось, должно быть положено в автомобиль обратно. Закон торжествовал, само собою разумеется. Как выше уже сказано, при переезде через Гудзон из штата Нью-Джерси не-мужа и не-жену следует арестовывать. Этот закон существует, равно, как в штате Юта существует закон о многоженстве. Но разводиться американцы ездят в штат Невада, в город Рено. В штате Южная Каролина разводиться никак нельзя, ни по каким поводам, — в штате Нью-Йорк для развода требуются постельные доказательства прелюбодеяния стороны, — а в штате Невада ничего не надо для развода, кроме желанья и гражданства. Нью-йоркцы и прочие народы и ездят разводиться в Рено, столицу штата Невада. Раньше для этого они проживали там три месяца и один день. Теперь, в силу темпов, всего три недели и один день. Безвыездно прожившие в штате три недели становятся гражданами штата. На другой день после обретения гражданских прав — разводятся. Срок сократился до трех недель в силу конкуренции с другим бракоразводным штатом, — за-

был, как называется, — гостиницесодержатели которого добились также бракоразводных законов. Какие в Рено казино и отели! — буржуазия, разводясь, отдыхает! Закон, как видите, в силе.

— все время мне снился сон, все время хотел восстановить фантазией и знанием те корабли, которые везли в Америку пионеров, — этакий парусник, — этикие люди за столом в кают-компани, заросшие бородами, в свете чадных масленок — ибо в Америку ехали с единым желанием — хорошо жить, всячески хорошо жить, каждый по своему пониманию, — и ехали со всех концов земли, убегая от гнета европейской тогдашней властишки, от голода и бесправия, сектанты, бандиты, авантюристы, мечтатели. Волнами американского заселения можно проверять негативы европейской истории. Время олицетворило хорошее житие в доллары.

18

Ах, ох, ух, эх, Америка!

Надо вернуться в Нью-Йорк, чтобы поставить вещи на свои места. Я употребил сейчас «ох, ах, ух», — так же, как это было в первых моих из Америки письмах, — и первые страницы я писал, чтобы передать американское обалдение.

Некогда в одном из моих романов я имел образ, который я наполнил новыми ощущениями в Нью-Йорке, — эти ж мои ощущения Нью-Йорка обязательны мне для всей Америки, для USA.

Я писал:

«...на курганах у нас выкапывают иной раз каменных баб — археологу баба та — красота прекрасная, — но мельчайшей букашке, которая ползет по щеке этой красоты, видны будут только комья грязи, камень да пыль: надо стать в рост красоты, чтобы видеть ее».

На самом деле, любимы мы некою прекрасною дамой, видим, как все у нее прекрасно и на своем месте, а инфузория, которая в этот самый момент ползет по щеке данной дамы от рта ко глазу, — эта инфузория попадала в кратер ноздри, болталась по красным пескам пустыни Аризона, называемой щекою, видела пальмовые насаждения ресниц. Эмоциональная линия образов каменной бабы и раскрашенной красавицы с эмоциональной линией нью-йоркских ощущений не совпадает. И тем не менее..

С шестидесятого, сотога этажей Нью-Йорк — поразительный, неопиcуемый, необыкновенный, злоециий, злоеще-прекрасный город, — город торжества индустрии, размаха, человеческого умения, — ни одному Таглину и европейскому поэту-урбанисту не снилась такая необыкновенность, такое величие, такие конструкции, такие линии и грандиозность, единственные в мире, неповторимые. Для европейца Нью-Йорк с небоскребов скорее сон, чем явь, — и сон ни с чем не сравнимый, разве от детства осталось воспоминание фантазии, библейское воспоминание города Вави-

лона, которого никто не видел, и именно этой невиданностью Нью-Йорк похож на Вавилон. Нью-Йорк — нечеловечески-грандиозный город, нечеловеческий, зловещий, поразительная конструкция. С крыши Эмпайэра (иль от грифов Крайслер-былдинга) океан, Гудзон, Ист-ривер, горы Нью-Джерси — ваши братья. Шестнадцати-десятиэтажный Нью-Йорк (а в среднем он и есть десятиэтажный, имея целый ряд районов трехэтажных) — этот Нью-Йорк лежит у ваших ног, в дыму, тумане и гуле улиц, лежит далеко внизу. И рядом с вами равноправными братьями стоят в облаках, а иной раз и над облаками, братья-небоскребы. Вдали равным братом и господином величествуют небоскребы Уолл-стрита, нечеловеческая красота!

Человек, стоящий на крыше Эмпайэра, подпертый Эмпайэром, есть человек, стоящий в уровень — нечеловеческих! — красоты и необыкновенности Нью-Йорка.

Но, если идти по улицам Нью-Йорка (итти или ехать в авто, по вторым этажам улиц, в собвеях), Нью-Йорк — ужасный город, ужаснейший в мире, безразлично, на Парк-авеню или на Баури. Город оглушен грохотом. Город дышит не воздухом, но бензином. Город обманут проститучьей красотой электрических реклам. Улицы завалены мусором, без единого листочка. Город превращен в громадную какую-то керосинку копоты и удушья. Взбесившийся город, полезший сам на себя железом, бетоном, камнем и сталью, сам себя задавивший. Город, в котором че-

ловеку жить невозможно, как невозможно в этом городе ездить на автомобилях, ибо автомобилям приходится ездить не по улицам, но друг по другу, несмотря на то, что в этом городе собрано наибольшее количество лучших в мире автомобилей и автомобильных марок.

Индивидуализм! — люди, идущие, едущие по улицам Нью-Йорка и наслаждающиеся радио, кино, бурлесками, Конэй-айлендом, — это те, которые ползут по прекрасной красоте каменной бабы, вырытой из раскопок очень-очень древних и очень примитивных — курганов!

Этот город имеет позор Баури, единственной в мире улицы люмпен-пролетариев, трэмпов, свалившихся с доллара (и этих горьковских люмпенцов в Америке, конечно, больше, чем в Китае). На Баури в лавках продают башмаки, снятые в моргах с мертвецов-беспризорных. На Баури есть ночлежные дома, но люди спят там на асфальте тротуаров, подложив под себя мусор газет, поднятых на этих же асфальтах, потому что эти ночлежные дома работают в четыре смены. Через каждые шесть часов опрастывается помещение ночлежек от людей, чтобы впустить новую людскую пачку — тех, которые ожидали очереди на асфальте тротуаров. Если в Америке нет восьмичасового рабочего дня, — то для людей с Баури крыша в ночлежке только на шесть часов. Эта улица всем своим поддолларовым населением — в башмаках с мертвецов — идет по ночам на угол Бродвэя и Сорок Второй стрит, в центральнейшее место театров и реклам-

ного сумасшествия роскоши, — идет для того, чтобы, стоя в очередях, в одном месте получить чашечку бульона и сэндвич от армии спасения, а в другом — никель, пять центов, — чтобы слушать божественный бред армий спасения и видеть, как волны людей, повторенные Конэй-айлендом, идут из кино и в кино, американскую радость! — Баури повторена на Мотт-стрит, где в «ночной церкви» бездомники спят под вой бабушек. Этот город, как и вся Америка, имеет позор негритянского вопроса, упершегося в Гарлэм. Этот город имеет упорную нищету, упорную тесноту и упорную волю не голодать и жить по-человечески, — грязную, и все же в белом воротничке, теснейшую и отчаяннейшую борьбу за существование Ист-Сайда. Индивидуализм! — никакой одесский. Привоз старых времен не сравнится с палатками и лотками переулков Ист-Сайда, где к громам города примешаны крики детишек, возрастающих на бетоне улиц под автомобильными колесами, и вопли лотошников, которые орут на всех языках мира:

- молоко!
- бананы!
- рыба!
- апельсины!
- электрические утюги!

Однажды с неким бедным миллионером я пребывал на крыше полунебоскреба этого бедного миллионера. Было это этаже на тридцатом. Город разместился внизу. Сидели мы на диванах-самокачках, под зонтиками. Крыша была засажена пальмами и являла собою

сад. Над крышей реял национальный флаг. Бедными миллионерами в Америке называются просто миллионеры, а не миллиардеры, вроде каких-нибудь гам свиных, стальных или кишечных королей. Бедный миллионер указывал на небоскребы, разместившиеся вокруг его полунебоскреба в синеве неба, и объяснял, что этот, мол, небоскреб принадлежит такому-то миллиардеру, тот такому-то, третий...— так он мог насчитать небоскребов пятьдесят.

Я подошел к парапету и стал смотреть вниз. Рядом с полунебоскребом моего бедного миллионера, внизу, видны были крыши соседних десяти-семиэтажных домов. Крыши эти чернели от копоти. На веревках по крышам висела нищета стиранных простыней, рубашек и прочего. Под бельевыми веревками бегали, играя, детишки. На одной крыше, сев на матрац, целовались двое влюбленных. На другой, подстелив газеты, спало несколько рабочих. На цементе крыш, так же как на улицах, валялся мусор апельсинных корок.

Я спросил бедного миллионера, прерывая его истории миллиардерских быддингов, — кому принадлежит дом, стоящий рядом с его полунебоскребом? —

Мой бедный миллионер ответил незнанием.

Закат был очень хорош.

Мне все стало понятным.

В Нью-Йорке есть сорок—пятьдесят человек, подпертых небоскребами в рост Нью-Йорка, для которых Нью-Йорк прекрасен, — эти люди называются миллиардерами, сиречь капиталистами. Они имеют видимые и невидимые кабинеты на Уолл-стрит.

Закат был прекрасен, — на крыше соседнего дома валялись апельсиновые корки, брошенные туда, надо полагать, с крыши моего бедного миллионера, ибо легенда о манне небесной, равно как и о небесных апельсинах, законами физическими объяснена быть не может. Ах, как злоещ и нечеловечен Нью-Йорк с небоскребов! — ох, Америка! — ах, Америка национальных флагов, которые даже на кладбищах!

У бедного миллионера седели усы, подстриженные ницшеанско-макдональдовски. На нем бодрствовали лиловый костюм и красные полуботинки. Его рубашка, галстук, платочек во внешнем кармане и носки были сделаны в один и тот же рисунок и цвет. Движенья и глаза бедного миллионера пребывали лиричны и размягченны. Ах, американско-ницшеанский индивидуализм!

Выше рассказано о публицити. В «Нью-Йорк Таймсе» от 11 октября 1931 года появилась заметка, что помер некий знаменитый американский публицити-мэн Харри Райхенбах, помер и оставил после себя мемуары, в которых утверждал, что человек пятьдесят, не больше, — и он принадлежал к ним, — владели, заведывали и командовали вкусами всех ста десяти миллионов американских белокожих. Эти пятьдесят человек одевали, обували, раздевали американцев, укорачивали женские юбки и удлиняли их, раскрашивали мужские костюмы в индейские цвета, сажали людей в автомобили различных марок, поили их кока-кола, оглушали их радио, брили их жиллетом и прочая, прочая.

Впрочем, все эти благородства — для тех, кто — за долларом. Весь аховый и оховый Нью-Йорк в национальных штандартах и стандартах — для тех, у кого в кармане чековая книжка, и чем больше долларов за чеками — тем больше ахов. А те, кто свалился с заборов доллара — —

Именно это и есть американско-ницшеанский индивидуализм, как оказывается на самом деле. Доллар — вот, кто самый главный американский ницшеанец. И именно этот ницшеанец толкует об индивидуализме и живет легендами о том, что Авраам Линкольн, лицо которого штампуются на долларах, начал свою судьбу в избушке дровосека, что Гувер — сын фермера, что каждый американец может, у каждого американца есть возможность вырваться в индивидуализм просторов так же, как вырвались за облака небоскребы (и выписывать тогда себе из Нью-Йорка в Лондон любимого парикмахера в виду того, что лондонцы бреют плохо!). О небоскребных историях Линкольна, Эмпайэр-Гувера, о вещах и людях — пишутся исторические монографии, как, мол, взяли «бойс'ы» да и свистнули в сотый этаж! — Но истории свала под доллар пишутся редко, а они суть продукт этого самого американского «индивидуализма», они естественнее небоскребов, и их больше, чем хижин Линкольна, в миллион раз.

Закон американских — «свободных»! «индивидуальных»! — трудовых отношений гласит, что, мол, сегодня, в двенадцать часов пятнадцать минут, босс сказал рабочему (или рабочий сказал боссу, по закону

это безразлично, кто кому сказал, хотя рабочие своим «правом» пользуются редко), — «пойди, мол, ты к миссис чортовой мамаше!» — и с двенадцати часов пятнадцати минут между заводом и рабочим никаких отношений нет, в субботу рабочий получит конверт с чеком, коим расплачивается с ним контора по сегодняшние двенадцать часов пятнадцать минут.

Приятель мой, рабочий Х., русский по национальности, рассказывал мне о его работе на заводе. Поступил, дали джаб. Работал на конвейере. Заняты были на конвейере у моего приятеля только две мышцы, только, весь остальной организм здорового человека бездействовал. Эти две мышцы посинели от переутомления. Мой приятель показал боссу посиневшие две мышцы, попросил, нельзя ли стать к другому станку, чтобы синели другие мышцы, а эти отдохнули. Босс (это — надсмотрщик) сказал, — о-кэй, завтра будет перевод. Мой приятель пришел назавтра. Босс дал ему записку к другому боссу. Второй босс показал на двери, там, мол, ждут. Мой приятель вышел за эти двери и оказался за заводскими воротами. В конторе его рассчитали по тот рабочий день, когда он показал посиневшие мышцы. До конца рабочего дня его продержали, чтобы не обрывать конвейера. Ко второму боссу его послали, чтобы не было лишнего шума на конвейерном производстве. Босс прав — «причина» посинения двух мышц лежала в самых мышцах, а стало быть, инициатива лежала в моем приятеле, — стало быть: свободные индивидуальные отношения! — И это тем паче, что безработных в USA сейчас миллионы, —

а вообще, чем старше рабочий, тем больше он изношен, тем больше у него шансов свалиться под заводские и долларовские ворота.

USA есть индивидуально-свободный закон, гласящий о том, что если ты, мол, взял в кредит некую вещь, стоящую, предположим, доллар, уплатил за нее девяносто девять центов, но последнего цента в срок не внес, так вещь у тебя отбирается, а девяносто девять центов остаются в пользу обиженного неполучением одного цента.

Мистеры Форды, ни Генри, ни Эдсэль, — ни при чем, — они пуритане, они даже не курят и только изобретают и усовершенствуют. Генри Форд, как известно, сам даже не торгует. Он даже знать не может о моем втором приятеле, рабочем У., украинце по национальности. Сживали мы с этим моим приятелем под детройтским открытым небом — на его квартире, — покуривали, и приятель мой покручивал недоуменно головою, в национально-украинском благодушии. Все фордовские рабочие должны иметь фордовский автомобиль. Генри Форд аргументирует эту необходимость тем, что рабочие его, дескать, комфортабельны, и им следует знать ту машину, над производством которой они работают. Когда мой приятель поступил к Форду, у него был автомобиль шевролэ. Босс сказал У., что он должен продать шевролэ и купить форда. Генри Форд не торгует. Босс указал знакомого диллера, машиноторговца, который отпустил моему приятелю форда в рассрочку, взяв шевролэ в качестве аванса. Второй босс сказал моему приятелю, что фордовским

рабочим предпочтительнее жить в таких-то районах и в таких-то домах, построенных специально для фордовских рабочих. Генри Форд здесь ни при чем. Мой приятель взял себе прифордовскую квартиру в три комнаты, — у моего приятеля жена и двое детей, — взял квартиру в рассрочку, конечно, и с тем, что, когда он выплатит всю сумму долга, он будет собственником. Было все это в конце двадцать девятого года. В январе тридцать первого года Форд выпустил новую модель. В январе тридцать первого года первый приятель-босс сказал, что он слышал, что, мол, мой приятель (кризис! кризис!) предназначен к сокращению, но что он может остаться на заводе, за него похлопочут, если он возьмет себе фордовскую модель тридцать первого года. Мой приятель, почесав по-украински в затылке, эту модель взял, сдав форд двадцать девятого года диллеру в аванс. Я был в Дегройте в конце июня. Так вот в конце мая моего приятеля сократили.

В середине июня у него отобрали модель тридцать первого года (продать автомобиль он не мог, как не окончательно выкупленный), — отобрали за неуплату очередного взноса. А в конце июня я помогал моему приятелю выволакивать из его коттеджа его добры, ибо его выселили, — также за неуплату очередного взноса. И, по-украински покачивая головой, на квартире господ бога, под кусточком, мой приятель недоумевал: было в его руках три автомобиля, и нет ни одного, была квартира — и есть небо — и почему не отбирают радио, помещенное под кустом, которое так-

же куплено в рассрочку!? — остались только жена да двое ребятишек!..

Дорогие американские индивидуалисты! — на Баури ходят в башмаках, снятых с мертвецов! — Дорогая американская свобода! — ужели нет возможности построить не только эмоциональный, но и логический мост между заоблачно-брадобрейной «свободой» небоскребов и подземельно-спокойной работой борцов в Чикаго!?

Дорогой ницшеанец-доллар! — какая разница в существе вещей между миллионами чикагского председателя бандитских трестов, короля бандитов Ал-Капона и небоскребствами Эмпайэра! — разве Ал — — не о-кэй!?

В Калифорнии, когда там открыли нефть, был такой эпизод. Жила-была индейская семья. Пришли люди из-за гор и предложили продать пустыню. Отец-индеец отказался уйти с земель своих отцов. Через несколько дней семья была вырезана. В живых осталась только одна девушка. Через месяц тогда на горизонте возник ковбой, он подъехал на своем коне, испанец, красавец, он попросил напиться воды, и он уехал за горизонт. Он приехал через три дня, опять просить напиться и опять уехал за горизонт. Через месяц девушка-индейка любила испанца, испанец любил девушку. Они поехали в город к морю, чтобы повенчаться. Они приехали в некоторую контору. Девушка была безграмотна. Ей сказали, чтобы она тут-то и тут-то поставила крестики, за нее расписались. И в тот момент, когда крестики были поставлены, американским спортсмен-

ским жестом — в спину башмаком — девушку выгнали из этой некоей конторы. Девушка подписала не брачный договор, но купчую на продажу нефтеносных земель. Кто это вырезал индейскую семью, а девушку поддал носком бутца в любовь, — не нефтяной ли... Ойль?!

Над землями этой девушки ныне — национальный флаг!

20

Совершенно естественно, что во всех странах люди иной раз сходят с ума, и в Америке в частности. В заболеваниях манией-грандиозой русские начинают представлять себя Петром Великим иль Буденным, — французы — папою Пием или Наполеоном, немцы — Бетховеном, англичане — Шекспиром, про которого никто ничего не знает. Американцы ж, сходя с ума, представляют себя миллиардерами, Рокфеллерами, долларщиками.

В Европе, у нас, в СССР — всегда переполнены концерты всяческих знаменитых баритонов, теноров, рассказчиков, скрипачей, пианистов, их передают по радио, в них влюбляются, у каждого любителя есть свои любимцы. В Европе о них пишут в газетах, — как, мол, их здоровье, и что они разучивают заново. Так вот в Америке к этой категории людей надо отнести и математиков, физиков, конструкторов, инженеров. Их лекции воспринимаются, как концерты. Они любимы, как тенора. Их речи и формулы передаются

по радио. Каждый день в программе радио есть математическая программа. Математические формулы суть материал для газетных сенсаций. Европейских математических знаменитостей выписывают, как мы выписываем Эгона Петри. Эйнштейн приехал в Америку, как знаменитый певец, приехал так, как он не приезжал ни в одну страну, забросив свое имя поистине в массы таким образом, когда известно, что Эйнштейн предпочитает сандалии, а не твердую обувь.

Это математическое мое познание привело меня к познанию так называемой «технологической» безработицы, сколь ни длинен логический мост от математических концертов до голода безработиц. Несмотря на «просперити» (процветание—противоположность кризиса),— в самые лучшие годы последнего просперити — в Америке было от трех до трех с половиною миллионов безработных рабочих, и процент этот рос с каждым годом. Эти безработные не были безработными, рожденными кризисом, — но безработные — «технологические»!

По подсчетам статистиков, в самые лучшие годы Америки на каждые двенадцать рабочих тринадцатый не работал и не работал совсем не потому, что американцы боятся цифры тринадцать. Всему миру на удивление, переведя математику и механику даже в план эмоциональных, эстетических наслаждений, американцы усвершенствуют машины, которые заменяют человека, организуют труд, которые труд же и сокращают. Используем наши примеры: Сясь, бумажный гигант, построен по американским принципам, — бума-

ги он производит горы, на самом деле, — а работают на нем человек сто рабочих, полуинженерного типа; — на Днепрострое, когда он будет закончен, будет работать человек сто двадцать, не больше, они будут караулить правильное поведение машин и воды. Американцы — изобретают. Изобрели электрическое доение коров — сколько рук на сторону? Изобрели, действительно изобрели, «мозг дельца», такую машинку, которая абсолютно безошибочно работает сразу за бухгалтер, счетных барышень и кассира, — сколько сотен тысяч человек на сторону!?. Изобрели теле-пишущую машинку (стоит на столе пишущая машинка, сбоку у нее вертушка, как у телефона-автомата, — человек вертит вертушку, набирает нужный ему номер и пишет затем нужное ему на своей машинке, — это ж самое будет напечатано и на той машинке, которая стоит за номером, им набранным; теле-пишущая машинка заменяет телефон и телеграф сразу, но не трещит, как телефон, и не мешает разговорами). Изобрели вот такую Сясь, которая у нас. На пороге двадцатого века девяносто-пять процентов американских машин двигались паром и руками, и только пять процентов — электрическими моторами, — в девятнадцатом году электричество двигало пятьюдесятью пятью процентами машин, в двадцать седьмом — семьюдесятью восьмью, — в 1931 году, надо полагать, всеи ста процентами (хоть из этих ста процентов многие и безмолвствовали, ибо в 1931 году фабрики и заводы в Америке стали по воле кризиса, — но речь сейчас не об этом), — сколько истопников и кочегаров должны

были искать новых профессий? — сколько людей было сброшено на сторону!? — Спросите десятого американского рабочего, — он расскажет вам о десятке своих профессий: — он было начал свою судьбу в Нью-Йорке закройщиком, был шофером, торговал в мелочной лавке, работал углекопом и кондуктором, был контрабандистом, — ныне он лифтер, — был он всем, — но главное, что он делал, — это он искал работы в уверенности, что завтра — он опять безработный.

Безработица, которая возникает за счет усовершенствования машин и изобретения машин новых, изобретения новых способов производства вещей (штамп, например, вместо поковки), организации заново туда и снижения себестоимости, — за счет трестирования предприятий, — такая безработица называется — «технологической».

Выработка на одного рабочего в автомобильной промышленности с начала века по двадцать пятый год возросла на тысячу двести семьдесят процентов — автомобилями американцы подавились.

Процент «технологической» безработицы сейчас уперся в десять с лишком миллионов безработных, которых считают уже не «технологическими», а кризисными. По-моему кризисный безработный или технологический — он одинаково хочет есть, и вообще изобретение «технологической» безработицы — словоблудие. При социалистическом строе государств безработицы быть не может, — при капиталистическом строе государств — даже «технологическая» безрабо-

тица (экое словечко придумали!) — гонит на Баури и обувает в сапоги с мертвецов.

Есть в американских заповедях (на ряду с той, что каждый, вроде Авраама Линкольна из его избушки дровосека, может угодить в Рокфеллеры иль президенты) заповедь о том, что-де:

— «... кто действительно хочет найти себе работу, тот ее найдет в Америке».

Ну, а «технологическая» безработица? — это и есть американский индивидуализм? — и не это ли самое рассуждение построило мост, гораздо более грандиозный, чем Бруклинский, — мост в американский бандитизм сверхамериканского масштаба?! — ведь каждый американец каждодневно встречается со знакомыми ему бандитами и общается с ними, когда бандитское дело в Америке поставлено так, что не мне уже, а читателю предлагается решить, Белый ли Дом или бандиты являются правительством Америки?!

Познавание концентов «технологической» безработицы сообщило мне, куда растет технология. Сейчас в Америке миллионеров в шесть раз больше, чем в девятьсот четырнадцатом году (за два года — с 1927 по 1929 (предкризисный) — они почти удвоились). Населения в Америке — сто двадцать миллионов человек. Подоходный налог берется в Америке с женатых, когда они зарабатывают больше двух с половиной тысяч долларов в год, а с одиноких — когда больше тысячи пятьсот. Так, на сто двадцать миллионов населения в самый лучший год всеамериканского

просперити, в год 1927, подоходный налог платило всего лишь два с половиной миллиона человек. Процентом девяносто пять из них зарабатывали до десяти тысяч долларов в год, и только двести восемьдесят три человека — больше миллиона. В последний год просперити американских капиталистов (при чем год этот стал годом кризиса), в 1929 году, «зарабатывавших» больше миллиона стало пятьсот одиннадцать человек; двести восемьдесят один человек пришлось из них на Нью-Йорк; одиннадцать человек из них «зарабатывало» больше пяти миллионов. Это было в 1929 году — в год просперити и кризиса: на пятьсот одиннадцать этих миллионеров пришлось десять миллионов безработных. Как известно, в капиталистическом обиходе источниками долларовых благополучий служит не труд, а право собственности: так четверть американского национального дохода — семнадцать с половиною миллиардов долларов — пришлось в тот просперитный год на долю земельных собственников, акционеров и облигациедержателей.

«Технология» голода, оказывается, называясь «технологической» безработицей, имеет противоположный конец миллионерских карманов, — какой замечательный концерт! — Стюард Чэйз, американец и экономист, который по нашим стандартам был бы кадетом, пишет поэтически:

«Возвышаясь над всеми, собственники оконались, как диктаторы американской жизни и ее уклада. Они изгнали философа, учителя, государственного деятеля,

редактора, проповедника в качестве умственных руководителей народных масс. Они управляют правительственной прессой, университетом, церковью, искусством. Они спокойно спят, возглавляя денежную систему. Взоры людей обращены к ним, как некогда были обращены к алтарю, к полководцу, к портику Академии. Боги впервые воздвигли себе храм из золота и мрамора... на рыночной площади».

Штандарт — и стандарт — скачут!

21

Дорогой читатель, когда вы приедете в Нью-Йорк, ваш друг скажет вам, что он для вас «построил» вечеринку. Вы — советский гражданин, вы готовитесь к речам и готовите речь, придумывая старательно, как бы соблюсти вежливость и уложить в ваши слова неуложимое рядом — вашу родину и Америку, ибо вы, советский гражданин, конечно, думаете о социализме, но помните о «веровании» в бога по консульскому предписанию. Так эту речь готовите вы зря. Когда «строят» для вас вечеринку — это значит, что гости придут к половине десятого, а вы приглашаетесь к шести. Вы с хозяином выпиваете по его достаткам и решаете, в какой ресторан вы едете обедать, к мексиканцам или японцам, ваш друг за вас платит. Вы возвращаетесь к вашему другу после обеда. Начинают приходить остальные гости. За руку здороваются немногие. Если дело происходит летом, мужчины, сказав «хэлло!» (здравствуйте), снимают пиджаки и немедля

приступают к экстренной работе — фокстротят часов до трех под граммофон иль радио. Разговоров никаких не полагается. По достатку вашего друга — пьют алкоголь, ибо — если алкоголя нет, то и вечеринки не построишь. Часам к половине четвертого начинают развозиться по домам и вечностям. Если дом вашего друга побогаче, то коктейлят и фокстротят не под электричество, но под стеариновые свечи разных окрасок и толщин. Советский гражданин, естественное дело, иль совсем не фокстротит, а уж если танцует, то у него получается не фокстрот — лисий шаг, — а бертрот — шаг медвежий. Трудодулюбиво заготовленные речи расплзаются в ералаш от трудодулюбия полотеров, приглашенных в честь советского гражданина.

Вечеринок с речами у меня было мало, но все же были. Рей Лонг построил для меня обед в Метрополитэн-клуб. Когда я просматривал список приглашенных, за именем каждого были многотомные труды и биографии: это были крупнейшие американские писательские имена, известные не только в Америке, но миру. В Метрополитэн-клуб не допускаемы женщины. Мы пришли в смокингах. Стены и портьеры Метрополитэн-клуба уничтожали шум города. В Метрополитэн-клубе горели свечи, и в креслах из свиной кожи разлегалось покойствие. Нас было человек сорок — их, знаменитейших, и моих друзей со мною. Гости встречались за коктейлями. Гости сели за священнодействие обеда, за спинками стульев построились лакеи. Свечи величествовали. Рей Лонг сказал речь.

торжественную, как Метрополитэн-клуб. Вторым говорил я; речь свою я готовил дня три, с таким же трудолюбием, как излечивают флюс,— говорил я о заборах национальных культур, об СССР, о земном шаре, о том, что честь, оказываемая мне этим обедом, не есть честь мне лично, но той прекрасной литературе, прекрасной и молодой, которую создали зори социализма и грозы революции,— о молодости я говорил с особенным удовольствием, ибо, действительно, я да Льюн Фишер, да Мендельсон, да Джо,— только мы и были на этом обеде молоды, хоть и относительно, конечно,— остальные ж рассчитывали свое время от пятидесяти, от шестидесяти и больше. За мною говорил Синклер Льюис, нобелевский лауреат,— он высок, узкоплеч, сероглаз, краснолиц. Он нашел меня своим взором, сосредоточил свой взор и сказал:

— Я ничего не буду говорить о Советском Союзе и о Пильняке, — и смолк.

Пауза была величественна, как Метрополитэн-клуб. Синклер Льюис нашел глазами Теодора Драйзера.

— Я ничего не могу говорить о Советском Союзе и о Пильняке, — глаза Льюиса стали страшными, устремленные на Драйзера, — потому что один из присутствующих здесь украл у моей жены три тысячи слов, — сказал Льюис и смолк.

Пауза не походила на Метрополитэн-клуб. Глаза Льюиса побрели по столу.

— Потому что второй сказал, что нобелевскую

премию надо было дать не мне, а Драйзеру, и напечатал это в газетах, — сказал Люис и смолк.

Глаза Люиса побрели к третьему. Метрополитэн-клуб никак не походил на паузу.

— Потому что третий напечатал, что я просто дурак.

Синклер Люис торжественно сел за свои тарелки. Пауза после его речи была гораздо длительней, чем во время его информаций. В тот вечер Драйзер, уже после обеда и наедине, давал пощечину (или две) Люису, — пощечину очень большого звука, ибо на другой день о ней писалось во всех газетах, телеграфировалось в Европу и Японию, сообщалось по радио, комментировалось в лекциях. Я при давании пощечины не присутствовал, уехав раньше этого дела. От репортеров на другой день я должен был прятаться, сознательно устранив себя от пощечинного публицити. Но прок мне вышел от этой пощечины не малый: в штатах Тэксес, в Аризоне, где, конечно, никто ничего не знал не только о моих писаниях, но даже об СССР, я объяснил про себя, — я, мол, тот-то, на обеде которого... — и все всё понимали сочувственно.

За день до моего отъезда в Калифорнию столкнула меня судьба с миллиардером мистером Z.

Я сознательно скрываю его фамилию, ибо она известна так же, как фамилия Рокфеллера или Моргана. Этот человек, его семья и его банки принадлежат к первым десяти американским миллиардерским фамилиям. Если считать, а так и есть в действительности,

что Америка сейчас командует капиталистическим земным шаром, в Америке же командует доллар, торжествуя национальным штандартом, — то этот человек один из десяти командиров Америки, богаче и сильнее английского короля или французского президента. Человек этот сух, стар и слабощен. Я стал говорить о том, что на завтра я еду в Калифорнию и по дороге на сутки остановлюсь в Чикаго. Сейчас же за понятием Чикаго, как это всегда бывало, разговор пошел об Ал-Капоне, чикагском короле бандитов. Я сказал, озорничая:

— Я был бы рад познакомиться с Капоном.

И мистер Z, человек, более сильный, чем английский король, молвил любезно:

— Я вам устрою эту встречу.

Мистер Z позвонил. Вошел бестелесный секретарь, который понимал мистера Z астрально, без слов. Через полчаса секретарь сообщил, что он телефонировал в Чикаго, что мистер Капон занят в понедельник (в тот день, когда я должен был быть в Чикаго), — занят на выборах мэра города и поэтому, к сожалению, не может принять в этот день мистера Пильняка, — если мистер Пильняк задержится в Чикаго, мистер Капон к его услугам.

Я не видал Капона — но этот разговор о нем гораздо более значим, чем встреча: бандит не принял меня потому, что он был занят на выборах, а познакомиться меня с ним хотел — законный миллиардер!..

Иные американцы скажут вам, что все написанное выше к Америке никакого отношения не имеет. Америку, дескать, следует искать не здесь и не там. И вместе с читателем сейчас я намерен пуститься в поиски Америки, в пространства, в безвестность дорог, чтобы найти, наконец, Америку. Я подписал договор с Голливудом, с М. С. М. И мы с Джо двинулись в пространства, отъехав от Нью-Йорка на «двадцатом веке», таким образом, что «двадцатый век» есть интродукция к Голливуду, Голливудом данная.

«Двадцатым веком» называется поезд, такой же конвейер, как автомобильные дороги, только много пыльнее, имеющий от Атлантического океана до Тихого всего две остановки, в Чикаго и в Санта-Фэ. От Нью-Йорка до Чикаго рельсы идут в четыре полотна. Поезд стремителен до утомительности, отбрасывающий в час сто двадцать километров. Поезд идет в пыли и дыме встречных и обгоняемых поездов. Поезд на ходу берет воду: в положенных местах между рельсов проложен жолоб в полкилометра длиною, наполненный водой, — паровоз спускает ковш в воду, вода своим собственным напором лезет в фильтровые резервуары. За каждую минуту опоздания этого поезда пассажирам выплачивается по доллару. На каждого пассажира моего вагона положено было по отдельной кабине, с диванчиком, креслом, письменным столом, с двуспальных размеров кроватью ночью, с гардеробом и умывальником. В поезде было три об-

служивающих вагона, — вагон-обсервейшэн (сплошь стеклянный, с терраскою, на которой нельзя сидеть от пыли), вагон-ресторан и вагон-салон с комнатой для вязания старухами джемперов, с комнатой для курения, с телеграфо-радиоконторой, откуда можно сообщаться с миром и куда с мира приходят телеграммы, и с баней, где можно помыться, где тебя побреют и причешут и где тебе вычистят обувь. Этот поезд предназначен для крупнокалиберных народов. Я отношу его за счет Голливуда. В поезде имеются все шумы, кроме человеческих слов, — негры, которые прислуживают, говорят шопотом. Поезд полупуст. Через города поезд жарит по улицам. Если в СССР, откуда ни глянь в небо, даже в метель, всегда видна полярная звезда, то здесь за окнами поезда, также даже в метель, отовсюду торчат разные девушки и молодые люди рекламы, которые выстроились над шпалами, как у нас клоуны на крышах провинциально-ярмарочных балаганов. Воротничок хотелось менять каждые три часа, — и полоскать рот от гари и пыли — ежеминутно.

Так проехали от океана к океану, сохранив традиции и гари Нью-Йорка. От Нью-Йорка уехали в мятель и в горы штата Пенсильвания. Мятель — как у нас. Пенсильванские — Аллеганские — горы — вроде Валдайских. Когда глаз прорывался за рекламу, предполагались за шпалами тверские земли. Он Нью-Йорка до Чикаго, кроме реклам и тверской земли, путь заставлен был громадами корпусов фабрик,

вышками каменноугольных шахт, пожарищами домен да мелкорослыми вокруг них домишками в палисадах, острокрышными и в черепице. Чикаго утвердил, что Чикаго и Нью-Йорк — одно и то же, одного ж лица прекрасные детали: Нью-Йорк — финансово-капиталистический центр, Чикаго — центр капиталистическо-финансово-промышленный. И Чикаго сломан пополам: на нищету, гораздо большую, чем нищета Баури, с лохмотьями в навозе человеческих отбросов и антисанитарией вшей на улицах, на дорогах, на каналах, в голой грязи полуголых, как в Шанхае, людей, — и на роскошь набережных Мичигана, похожего на море, забитого яхтами и гидропланами, университетских и музейных площадей, мест столь же колоссально-поразительных своею роскошью, как нищета. Немеханизированное на чикагских бойнях — борова-предатели — служит для раздумий о капиталистической культуре, — раздумий о чумных бульонах. В серии американских банкротных крахов тридцать первого года Чикаго решающей своей роли не оставил, — чикагский муниципалитет обанкротился, — слово об этом будет дано Алу-Капону, чикагскому бандиту.

За Чикаго поезд пошел в прерии, застрявшие в памяти от юношеских романов и географий. По эс-эс-эсеровским пейзажам прерии — это Украина. Переезжали Миссури. Ехали штатом Канзас. Пиджаки днем надо было снять и по-американски расстегнуть жилет — от удушья. Лет пятьдесят назад в штате Канзас жили еще индейцы и шла национальная вой-

на, как ее называют американцы, но которую следовало бы назвать истреблением индейцев. За эти пятьдесят лет воды утекло много. В феврале 1931 года человек пятьсот фермеров, белые и негры вместе, вооруженные винтовками, приходили в штатный город и требовали дать им пищи, потому что они голодали. Это тем паче замечательно, что этот штат является пшеничной житницей и иные фермеры в этом штате и в этом году отапливались пшеницей.

За прериями возник Далекый (он же Дикий) Запад, штаты Нью-Мексико и Аризона. Прерии с ветряными водокачками и с башнями силосохранилищ около белых домишек сброшены были назад стадвадцатикилометровой стремительностью «двадцатого века». Поезд залез в горы, которые называются нето Скалистыми, нето Сиерра-Невада, — во всяком случае прошел и те, и другие. И пейзаж за окном вагона стал точь-в-точь таков же, как в Средней Азии, — особенно в пустыне штата Аризона. Пески, лишай, безлюдье, зной. Изредка оазы. И около оазов — домишки из глины, плосккрышие, с окнами внутрь двора. Что такое? Турция? Средняя Азия?! Эти домишки суть домишки мексиканской архитектуры, — не случайно в утро того дня был штат Нью-Мексико. Мексиканцы — испанцы — мавры — арабы — турки — Средняя Азия. Все понятно! Иль, быть может, и индейцы? Ведь найдено же в Сибири племя, антропологически совершенно похожее на американских индейцев, при чем корни языка этого сибирского племени оказались кор-

нями языков нескольких индейских племен. Так или иначе, но целый день мчали азиатскими пейзажами. Перед вечером тогда возник на горизонте отвесный перевал в снегах. Поезд притих и закричал. Столбики за окнами у рельсов показывали высоту. Похолодало. Все кругом заросло пихтами и соснами, которые в СССР называются американскими. Места опервобытились. Даже на шоссе вдоль железнодорожного полотна прервался автомобильный конвейер. Автомобили поползли в одиночку. Раза два видели индейцев, — они живут, еще живут в этих штатах. На перевале к вечеру стало совсем холодно и зазвенело в ушах. И на перевале видели ковбоев. Оказывается, это очень прозаично: «ков-бой» — коровий бой, коровий мальчик — пастух. Пастух, который охраняет коров верхом на лошади, в старину ловивший одичавшую скотину со своих мустангов при помощи лассо и постреливавший соседей-индейцев, а теперь оставивший себе от старины широчайшие панталоны, зонтикообразную шляпу да двустволку для зайцев. Видел под одной из скал в пихтовом лесу деревянный дом: точь-в-точь как у нас в архангельских землях. Ночью мерзли.

А утром — на рассвете свалились с гор к океану в Калифорнию. Ехали рощами апельсинов и аллеями пальм, лиловыми перечными деревьями, кактусами и эвкалиптами. Кактусы — в три человеческих роста — неприятны, как крокодилы. Эвкалиптосы ободраны и вызывают жалость, как верблюды. Под пальмами

разместились пречистенькие домишки и автомобилишки, ночевавшие против подъездов этих домишек. Все цвело. Впрочем, говорят, что здесь все цветет круглый год, и цветы, и деревья мне известные и такие, которых я никогда не видел. На Нью-Йорк это никак не походило. Надо было решить, что, мол, хорошо местный народ, сукины дети, устроился, — хорошие места подыскали и отняли — сначала испанцы у индейцев, затем американцы у мексиканцев. Приехали в Лос-Анжелес — в Архангельск, если перевести по-русски. В толпе на улицах много мексиканцев. Люди ходят в белом и в сомбреро. Пахло на улицах цветами, океаном и ленью южного безделья. Кроме нескольких небоскребов вокруг Билтмор-отеля, это — большая деревня под пальмами и эвкалиптами. Затем я узнал, что Лос-Анжелес не город, а — двадцать городов. От Лос-Анжелеса до Эптона Синклера — до Пасадэна — сорок километров. До Голливуда — тридцать километров. До прыгунов — двадцать. До Лонг-битча (лос-анжелесского Конэй-айлэнда) — сорок пять. До Санта-Моника — пятьдесят.

Я поселился в Санта-Моника. И за окном моего Мирамар-отеля были — последовательно — пальмы, обрыв, океан. Пальмы вычерчивались на сини океана. Птицы в саду пели так, что можно было предвосхитить страдания Джо по поводу петуха — мистера куриных леди. На океане у набережных плавали мои однофамильцы, гуся в три размера, с чемоданами для пищи под клювами, — пеликаны. Однофамильцы

потому, что однажды в Берлине, когда я в смущении спрашивал: «Мне бы книгу Пильняка» — продавщица переспросила: — Кого, Пеликана?! — Пахло у меня в комнате эвкалиптами и розами.

Направо и налево от меня, вдоль океана, защищенные от севера горами, расположились города Калифорнии. Калифорния ж — это нефть, фруктовые сады, обыватель да Голливуд. Задолларовый, обыватель съехался сюда со всех американских концов, построил под пальмами коттеджи и гаражи, украсил себя памятниками формы апельсина, формы чайника, формы босой ножки кинозвезды, и живет под вечным солнышком, пиццедаря и посещая различные божественные моления, вроде прыгунских, методистских и Эмми Мак-Фёрсон. Солнышко здесь светит триста шестьдесят дней в году, и в море можно купаться круглый год. Апельсиновые рощи пахнут апельсинами. Эвкалиптовые рощи пахнут эвкалиптом. Кроме памятника апельсину и чайнику, на одном памятнике изображена была доимая корова. Нефть, — она жила в тех традициях, о которых рассказано историей бутца в любовь индианской девушки, — подобных историй очень много рассказывает Эптон Синклер. Значит Калифорния — Дикий Запад, — как известно, — золотом.

23

Голливуд — он совершенно отличен от всей остальной Калифорнии, — двухэтажный так же, как Паса-

дэна и Санта-Моника, но архитектуры такой, какую может выдумать только Голливуд, — один сплошной национальный флаг!

В Нью-Йорке однажды, в бронкском парке, в проливной дождь и все же в дыму и копоти, мы встретили женщину. Я ехал с журналистом П., говорящим по-русски. Мы ехали на автомобиле. Около автобусной остановки, под дождем, без зонтика, безразличная к миру, стояла женщина. Лицо ее было мокро. Мы предложили женщине сесть в машину, чтобы укрыть ее от дождя. Она села. Тогда мы увидели, что лицо этой женщины мокро не только потому, что замочил дождь. Женщина плакала. Было видно, что слезы ее застарелы. Эта женщина забыла о слезах. Этой женщине было лет тридцать, не больше, этой чистокровной янки. Мы заговорили в соучастии, как говорят люди, которые встретились в первый и последний раз. Она заговорила истерически. Она рассказала все, что могла рассказать. От нее ушел муж, такой же чистокровный пуританин, как она. У них был свой бизнес. Они не были очень богаты, но на курицу к обеду, слава богу, у них всегда были доллары, и марки их автомобилей никогда не спускались ниже Бьюика. У них был дом. Деньги для дела дали ее родители в качестве приданого. Муж честный человек, — он ушел от нее, не взяв ни копейки денег и не взяв из дома ни единой вещи. Восемь лет они жили отлично. Он возвращался домой в пять. В семь они обедали. Вечером они были в кино. В воскресенье они

отдыхали. В воскресенье они были в церкви. В воскресенье, в час между завтраком и чаем, они были в постели, иногда раз, иногда два, — так сказала эта женщина. Восемь лет дней их жизни были счастливы, как один. И все дни были одинаковы, равно как и все воскресенья. Они не пропустили ни одной знаменитой кинокартины. Ни муж, ни она ни разу не хворали. Она готовила семейный уют и очаг. Она вязала мужу джемперы.

— И он ушел. Он ушел, отказавшись от всего. И он ушел к женщине, которая курит табак и пьет вино. Почему он ушел? — почему он ушел! — Он ушел неделю тому назад, и с тех пор остановилась жизнь. Я не могу ездить на автомобиле, потому что слезы застыт мои глаза. За эту неделю я ни разу не была в кино. Я конечно не пью и не курю, ибо я истинная христианка. Я была абсолютно верной моему мужу женой. Почему он ушел?

Эта женщина указала тогда нам место, где мы должны были ее высадить. Дождь еще не перестал. Женщина пошла в противоположную сторону той, которую она указала. И — все. И — больше ничего. Кингман, Бостон — американские традиции пуританства — моя заволжская бабушка!..

Я получил, как сказано, телеграмму:

— «работать в Голливуде у фирмы М. С. М. стап договор десять недель стап столько-то долларов в неделю» — —

Приятель мне разъяснил:

— А вдруг вы написали бы что-нибудь для Факса или Парамонта?! — лучше вам заплатить даже в том случае, если вы ничего не напишете, чем если вы напишете Факсу.

И я приехал в Голливуд.

В Голливуде, за очень малым исключением, живут люди только двух порядков. Или отменные красавцы, мужчины и женщины. Или уроды всех видов, типажи. Будущие, настоящие, бывшие актеры. Это я видел.

Голливуд подобен золотым приискам. Это я тоже видел. Например. Ехал режиссер из Нью-Йорка в Лос-Анжелес, обдумывал новую кинокартину. Поезд проходил мимо полустанка. Рельсы перешла девушка с кулечком из магазина. Режиссер слез на следующей станции и вернулся на этот полустанок. Имени девушки режиссер не знал, он не знал, где она живет. Кинодей есть кинодей. Он поднял полустанок на ноги. Он нашел девушку, она служила горничной у адвоката. Кинодей предложил девушке сниматься в кинокартине, тысяча долларов в неделю, договор десять недель. Девушка снималась, ей делали публицити, она была счастлива. Но больше не было картин, где подходил бы ее тип. И она никогда не снималась больше. Второй — и сотый — пример. Девушка, насмотревшись кинокартин, убежала в Голливуд из дома, чтобы стать актрисой. Она убежала от отчаяннейшей обывательщины, обыденщины, размеренности — в счастье.

На фабрике, где я работал, я наблюдал однажды за режиссером. Он сидел в своем офисе, курил сига-

ру и сосредоточенно рассматривал кипу от пола до потолка альбомов с фотографиями так называемых «экстра», то-есть актеров, имеющих в запасе, зарегистрированных в Голливуде, но постоянно не работающих, — тех самых, которые отсняли свое счастье или приехали за счастьем. Режиссер рассматривал фотографии, отмеченные номерами, выписывал номера с тем, что канцелярия вызовет завтра эти номера на просмотр и окончательный отбор для нужной режиссеру картины. Тогда канцелярия наймет их на неделю, на две. Эти номера будут зарабатывать по пять долларов в день. Все это я видел.

Я видел знаменитостей, звезд, которые зарабатывают в неделю по пять тысяч долларов.

Я не видел следующего, что показывается в Нью-Йорке в одном из театров, в пьесе, посвященной Голливуду. На сцене там показывается прераспутнейший, пререпянейший, публично-домообразный бал, и над сценой написано: «Голливуд, как он представляется американцам». Занавес опускается. Надпись над сценой меняется, сообщает: «Голливуд, как он есть на самом деле». Занавес поднимается, и на сцене то ж, что на первой картине, только лишь в гораздо больших размерах. Этого я не видел.

В Москву в редакцию «Moscow News» прислала письмо одна американская голливудская кинознаменитость. Она писала, что в американской кинопромышленности кризис, что она сочувствует пятилетке и же-

лала бы работать в СССР. А поэтому сообщает, что рост ее такой-то, вес — такой-то, цвет глаз и волос --- такие-то, ширина в груди — такая-то, в бедрах, — такая-то. И прочее о размерах. И больше ничего. Около тех фотографий, альбомы которых складывались от потолка до пола, всегда были написаны эти ж данные о цветах и ширинах. Номера этих фотографий были расположены по рубрикам: шатены, блондины, брюнеты, — великаны, карлики, уроды, — по типам национальностей, — акробаты, ковбои, трубочисты, — слепые, боьные волчанкой, татуированные, — специалисты по футболу, — специалисты по еврейским, католическим, квакерским, методистским, православным богослужениям, — специалисты по военно-морским делам Англии, СССР, Японии, — дублеры, похожие на знаменитых артистов и на великих людей, — русский царь Николай, он же Георг английский — этой двойцы несколько человек актеров.

В актерских договорах с фирмами пишутся данные о расцветках и размерах, и, если какая-нибудь актриса или актер располнели на четверть килограмма, эта четверть килограмма есть повод для расторжения договора. Знаменитости поэтому, казалось бы, должны жить в посте и молитве. Так оно и есть!.. Я знал актрису, звезду, при которой постоянно был врач, которая ела по расписанию, которую по регламенту мыли, растирали и протирали, — она была любовницей миллиардера.

Голливудские люди начинают быть людьми, когда

они зарабатывают от пятисот долларов в неделю и больше.

В Голливуде собрано до десятка крупнейших американских кинофабрик — «студио», как там говорят. Наикрупнейшие из них: М. С. М. (Метро-Голдвин-Майэр), Факс и Парамоунт. И за заборами этих студий под субтропическим небом можно ходить по зимам канадских и арктических деревень, по деревням французским, английским, немецким и даже русским, — по океанам и кораблям, — по свежим метелям зим и по самумам пустынь, — по громадным площадям декораций, где снимают эпохи крестовых походов и заветы Христа, чикагских бандитов, мировую войну, автомобильные скачки, мексиканские идиллии, американский пуританизм — все, что хочешь. По этим местам ходят средневековые рыцари, чикагские бандиты, пуритане-американцы, римские папы, пираты, индейцы, французы, американские пионеры, лопари, — кто угодно.

Исторические эпохи, климатические и географические особенности — все собрано за заборами киночудес и под открытым небом и вываливается заборы, делаая Голливуд фантастическим, ибо артистический анархизм дает возможность славным разъезжать на своих ройсах в купальных костюмах, а экстра донашивает костюмы средневековых кинокартин.

Говорят, что Париж первенство в законодательстве мод передал Голливуду. Едва ли. Во всяком случае законодателем мод в Голливуде, портным на все ки-

нофирмы работает портновско-художественная фирма Бернса. Этот Бернс имеет судьбу поистине голливудскую. В Сэнт-Луи на всемирной выставке 1905 года он, Бернс, выставлял десять индейцев в костюмах, сшитых им самим, которые не соответствовали тем костюмам, в коих ходят индейцы в Америке, но кои казались Бернсу наиндейскими. Эти десять наиндейско-дикарских костюмов Бернс повез в Голливуд, чтобы сдавать напрокат, подобно тому, как сдаются напрокат в Голливуде актеры. С этих десяти костюмов и пошли миллионы Бернса. Если Бернс и до сих пор придерживается этих наиндейских принципов, — он голливудец и американец чистокровный. Но говорят, что теперь у него можно достать мундир Вильгельма II — не то что точную копию, но снятый прямо с плеча Вильгельма, — если так, то он и парижанин, и сверхамериканец.

Я хаживал по этим заборным чудесам. В иных павильонах и складах вдруг менялись пропорции. На полках лежали игрушечные корабли и поезда. На столах располагались чаны с океанами и горные хребты в дремучих лесах, ледниках и снегах. На других столах располагался Верден, и из окопов выглядывали пушки с дымом. Стоял на полу в углу Собор парижской богородицы рядом с Вестминстерским аббатством. На проволоках у потолка висели эскадрильи аэропланов. Это все были декорации, за которыми снимаются живые артисты, пользуясь законами перспективы и путая ими зрителя. Горные хребты будут

пугать зрителя своими снегами и просторами пропастей. В чане воды будут происходить бури и будут гибнуть на трепет зрителю дредноуты.

Летом тридцатого года на Памире я видел, как снималась одна русская киноактриса в роли таджички-комсомолки. Она должна была научиться ездить по-таджикски верхом на лошади, на таджикском седле. Она училась недели три, сбив себе все ноги. Она должна была по сценарию проскакать меж скалами и над обрывами с ребенком в руках. Она научилась. Она падала несколько раз с лошади. И в Америке, на скачках родэо, я видел, как скачут ковбойские женщины. И видел я, как скакала за забором студии некая знаменитая звезда. Конь ее не был конем, а электрической игрушкой в лошадиный рост. Он не двигался с места. Актриса размахивала плетью и всем телом неслась на месте вперед. Делается это, оказывается, гораздо упрощеннее, чем скакание русской актрисы по Памиру. Объектив открыт только для одной, предположим, пятой части пленки, которая и фотографирует скачущую актрису. В следующий раз на пленке, которая сняла эту скачущую на месте актрису, эта одна пятая будет закрыта для объектива, и объектив на остальные четыре пятых пленки нанесет те самые страшные горы и пропасти, которые стоят в вышеописанных павильонах на столах и полках. Стоит кинографический аппарат, а в метре перед ним стоит Собор парижской богородицы, а в метре за собором целуются-милуются двое актеров: на пленке полу-

чится, что эти двое чудаков целуются-милуются вовсе не в метре за картонной богородицей, а на одном из портиков ее, за страшными химерами и в ясном небе прозрачных облаков, — ни в Париж, ни на Памир ездить не надо. А актриса на Памире, должно быть, потеряла в весе. Ее рассчитали б в Голливуде из-за потери веса и широт.

В иных павильонах за заборами здравствует ледяная тишина, ибо там снимаются тонфильмы, когда записывается звук тиканья карманных часов. Химические лаборатории за заборами и монтажные — истине алхимичны.

Водили меня по этим местам, знакомили со всяческими знаменитостями, от которых мои спутники приходили в ласковое состояние, на которых я смотрел, как баран на новые ворота. Познакомили меня с десятком звезд. Одна из них, страшно знаменитая, сказала мне, что я первый, который, знакомясь с ней, не говорит комплиментов, — с чем ее и следует поздравить.

Впрочем, все, что за заборами, окутано страшной тайной — тайнами конкуренции и патентных секретов. И не следует спутывать с актерами, одетыми во все эпохи и этнографии, полицию, охраняющую заборы: в Америке человек и предприятие могут нанять себе свою собственную полицию, чтобы она охраняла. В канцеляриях же, когда надо машинисткам переписать сценарий, каждый отдельный листок сценария дают отдельной машинистке, чтобы машинистки не

знали содержания сценария и не выдали бы тайны. На съемках актеры также не знают содержания сценария—по тем же причинам, и актеры узнают о своих ролях вместе с прочими зрителями. По этим же причинам, когда актер не знает своей роли и за него играет режиссер, от актера и требуются лишь четверти фунтов его веса. Когда М. С. М. заключал со мною договор, в договоре был пункт, по которому я обязывался держать в строжайшей тайне мою работу до тех пор, пока фирма не найдет нужным тайну раскрыть в публицити.

Продукция американской кинопромышленности — известна. Пятьдесят примерно процентов посвящены бандитам и ковбоям. Остальное посвящается всему остальному американскому и мировому благополучию, где торжество добродетели обязательно и выражается предпочтительно в законном браке, где конец должен быть успокоителен и нравственен, где обязательно должен быть герой не старше двадцати пяти лет, где героиня должна быть не старше восемнадцати лет, где обязателен низкий злодей и благородный преступник, предпочтительно комик. Пороки в американском кино называются категорически, оценкой пороков взят пуританский стандарт, но социальные перспективы обязательно заимствованы у Лидии Чарской. Кинокартины сняты, проявлены, смонтированы отлично. Кинематографическая техника—на превысоте. Индейцы! ковбой! Голливуд помещается как раз на Диком Западе, и Голливуд не забывает своих праотцов, на

чавших судьбу с первого фермера Калифорнии Иоганна-Августа Сэттера. А поэтому—до двухсот фильмов в год из жизни Дикого Запада и ковбоев. Все они одинаковы. Благородный ковбой любит дочь такого же благородного старика ковбоя,—но имеется злодей, иногда также ковбой, иногда промышленник, иногда городской купец, который иль запугивает старика иль заласкивает его обманными ласками, — всегда дело кончается похищением девушки, отчаянными конскими скачками, в коих всех обгоняет молодой и благородный ковбой, в силу чего он и женится, распутав злодейства соперника и обогнав всех лошадей. Америка—страна с наибольшим количеством университетов. Студентов в университетах не должны спрашивать, какого они факультета, но—какой команды?—И студенческие фильмы стандартны, подобно ковбойским. Студент влюблен в ветреную девушку, она презирает, он страдает,—происходят спортивные состязания,—он победитель, хотя этого никто не ожидал,—рука девушки в его руке,—все—о-кэй!—Владимир Иванович Немирович-Данченко был в Голливуде, подобно Эйзенштейну и мне. Он предложил поставить в кино «Пугачевщину», картины из истории восстания русских завожан против империи, возглавленного Емельяном Пугачевым. Владимир Иванович представил на утверждение сценарий,—«синопсис», как там говорят. Синопсис был одобрен дирекцией и было предложено одно лишь исправление. Дирекция находила слишком страшным конец Пугачева и настаива-

ла на том, что Пугачев, вместо плахи, встретился б с Екатериной, они б влюбились друг в друга и—окэй! — женились.—Не знаю, соответствует ли этот эпизод истине, мне его рассказывали в Голливуде,—но он, этот эпизод, как нельзя лучше характеризует голливудские традиции, — тому я свидетель.

Это очень хорошо, что я был в Голливуде,—и не потому, что это замечательный материал миллионеров и нищеты, невероятных карьер и невероятных падений, доллара и страстей, которого не придумаешь, ибо только Голливуд придумал такую социальную комбинацию пиротехники и искусства,—и не потому, что этот город более горячечен, чем Монте-Карло в Монако,—город больших и не менее шальных денег, чем Монако,—город страстей тщеславия, страсти не менее жестокой, чем страсть скупости,—ведь босая нога той самой звезды, которой я не удосужился сказать комплимента, отпечатана на память векам на цементе одного из подъездов кинотеатров в Лос-Анжелесе!

Я—писатель, и дела мои—писательские.

Кинопромышленность—все эти чудеса бандитов и свадьбы Емельяна Пугачева за заборами, где рядом расположены тропики и арктика, эросы древних и пуританизм современных, где сотни львов ходят с русскими белогвардейскими генералами,—все это по-американски называется кратко: «муви».

Голливуд—муви—третья, как известно, индустрия Соединенных Штатов. Предметом этой индустрии, само собою понятно, является искусство. Искус-

ство создается мозгом. Предметом индустрии является мозг. Искусство создается талантами. Предметом индустрии является мозг талантов. Американская промышленность идет стандартами, иначе она не может конкурировать. Текстильная промышленность производит метры ситцев. Форд с конвейера бросает серии машин. Кинопромышленность—третья индустрия.

Писатели существуют в частности к тому, чтобы создавать сюжеты. Когда я приехал, меня спросили, нужен ли мне оффис. Я не понял, в чем дело, и отказался. В договоре моем было сказано, что мои предложения войдут в силу, когда супервайзер—вице-директор—скажет:—о-кэй. О-кэй, повторив в эхо, все же я заинтересовался, что такое писательские оффисы?

За заборами муви я увидел некие длинные сараеобразные одноэтажные дома, соединенные внутри длиннейшими коридорами, направо и налево от которых идут малюсенькие комнатушки, похожие на конские стойла,—стул, стол, стул и больше ничего, кроме телефона. Эти денники называются оффисами. В этих денниках сидят от девяти утра до пяти вечера—люди, которые предпочтительно ничего не делают, задирая ноги на столы, на подоконники, на спинки второго стула. Иногда они собираются по несколько человек и беседуют. Иногда пьют виски. Эти люди с задранными в тоске ногами—писатели. Писатели, зарабатывающие до двухсот пятидесяти долларов в не-

делю, должны сидеть в офисах обязательно. Писатели, зарабатывающие до тысячи долларов, должны быть здесь наездами. Писатели, зарабатывающие больше тысячи долларов, могут совсем не приезжать в Голливуд,—и даже лучше фирмам, если они приезжать не будут. В каждом таком баракообразном доме писателей человек по полтора ста. У каждой крупной фирмы есть такие свои писательские бараки.

Писатели сюда собраны со всех концов—не только Америки. Где-то, в каком-то городишке писатель написал книгу, книга обратила на себя внимание. И писатель получает краткую из Голливуда телеграмму:

«работать жить в Голливуде стап столько-то долларов в неделю стап пять лет отдавать все написанное для постановки в муви фирме такой-то».

И—все.

Пути господни неисповедимы, рассуждает фирма, человек талантливый, может быть, напишет еще что-нибудь такое, к нашему беспокойству, что выйдет из ряда вон,—лучше закупить его сейчас, чем платить ему впоследствии втридорога, и лучше, если он будет у нас, чем у нашего доброго соседа—конкурента Факса или Парамонта, или М. С. М. Да к тому ж, если он будет у нас получать жалованье, кривая его таланта очень нас беспокоить не будет,—а то есть некоторые такие, такое антибандитское завернут, что нос вянет, а публика—довольна. Таланты и имена из-

меряются долларами. И именно поэтому высокодолларным лучше и не быть в Голливуде. Например Теодор Драйзер. Он куплен подобно всем. Фирма поставила в лето 1931-ое его рассказ за его именем с некоторыми переделками вроде конца «Пугачевщины». Сделано, по понятиям фирмы, как лучше, а Драйзер начал судиться, требовал снятия его имени, если не уничтожения картины или переделки. Конечно лучше было бы, если бы Драйзер ни в Голливуд, ни в кино не заглядывал,—тем паче, что вообще-то одно беспокойство, ибо на суде Драйзер проиграл, ибо—разве можно судиться с третьей индустрией?

Писатели, оказывается, приглашаются не только для того, чтобы писать и выдумывать. Писать или не писать—они вольны. Если ж напишут, киноинсценировать будет их фирма такая-то по усмотрению и вкусам фирмы, подобно тому, как с Драйзером. Разве до двухсот-пятидесяти-долларовые иногда пишут за особую приплату и без подписи.

Уже не разделенные на стойла, а собранные в залах, за рядами столов, разделенные по национальным культурам — англо-саксонские, германские, нормандские, романские, славянские, — сидят специальные читатели, и читают все новые книги, вышедшие на земле. Сначала они читают рецензии, затем книги. Читатели устанавливают, какие книги подходящи для фильма, и они делают краткие конспекты книг (они ж, прочитав нового автора, решают, купить или не покупать его впрок). Конспекты (и предложения о по-

купке) идут к—скажем так—столоначальникам. Национальные столоначальники делают свои выборы и передают отобранные конспекты (и предложения) заведующему. Заведующие отдают свои заключения супервайзерам. Супервайзеры говорят или не говорят: о-кэй.

Если супервайзер сказал о-кэй, тогда рождается фильм, и машина муви приступает к тому, чтобы сделать картину, оставив рожки да ножки от того, что было написано писателем в его романе, повести или драме, подобно историям Владимира Ивановича и Драйзера.

Это — один путь возникновения фильма.

Есть второй путь.

У каждой фирмы есть свои выдумщики и свои писатели, помимо тех из бараков, находящихся в запа-се.

Сидят этакие специальные выдумщики, комбинируют так и сяк всяческие сюжеты и—выдумывают, чтобы такое сыграть в кино, из какой жизни, из какой страны, из какого бытия, при чем злодеем будет тот-то, а герой и героиня—о них сказано, им в среднем не больше двадцати двух лет. Выдумщики—народ апробированный и доверенный. Свои идеи они сообщают прямо супервайзерам без бюрократических пирамид читателей.

Когда по поводу сюжета сказан супервайзером о-кэй, этот сюжет одевают в кровь кинокартинного мяса, составляют «стори», как говорят американцы, и

«синописсы»,—разрабатывают сюжет и расписывают его по явлениям. Это еще не сценарий, это:

«... молодой очаровательный блондин вошел в комнату. Навстречу ему вышла Таня. Николай здоровается с Таней и говорит ей о той опасности, которая предстоит Моргану».

Здесь не разработаны звуки и шумы, в которых идет картина. Здесь не обусловлены декорации. Здесь не даны персонажам слова.

Когда «синописс» уже готов, приглашаются иной раз и писатели из стойл. Предположим, что такой-то писатель знаком с морской жизнью. Его приглашают. Ему таинственно поручают просмотреть синописс и опустить его в морские детали корабля, матросских привычек и обычаев, капитанских повадок, штормов и штилей. Писатель в своем стойле пишет. Имя этого писателя не появится на картине. То, что писатель напишет, будет исправляться супервайзером, художником, музыкантом, опять супервайзером и—другим писателем, кинописательской какою-нибудь знаменитостью, одобренной кинозрителем. Этот писатель переработает совместно с режиссером все собранные до него материалы, этот писатель переведет их на язык кино и этот писатель подпишет картину.

«...молодой очаровательный блондин входит в кабинет директора Николая. (Шум завода и отдаленные сирены. Близким планом лицо Морган. Вид завода за венецианским окном.)

Навстречу Моргану вышла Таня.

(Морган улыбается. Глаза Тани строги, озабочены и в то же время любящи. Шум завода стихает. Слышна музыка Бетховена. На первом плане лица Тани и Моргана на фоне венецианского стекла и завода.) Морган счастлив.

Николай» — и т. д.

Но этот сценарий будет дорабатываться другими, безыменными. Диалоги, в частности, всегда пишутся отдельно, специальным безыменным писателем. В тридцатом году все киноэкраны мира прошла фильма М. С. М. «Биг Хауз» — «Большой дом», — посвященная американскому тюремному быту: написал этот фильм писатель, бывший в тюрьме и имени своего не подписавший, исправлял его мой супервайзер Ал Люэн, подписала его моя соавторша — американская Лидия Чарская — Фрэнсис Марион.

Итак: если в кинофильме у американцев есть писательская работа, то — или писатель пишет и имени своего не имеет, или подписывает сделанное не им.

Писатели, хоть и проживают в кельях оффисов, суть писатели, в судьбах своих имеющие нечто роковое, и в прощальную мою голливудскую ночь чудесный писатель Р., бывший моряк, матрос, говорил мне:

— Ты, Пильняк, — тты шутишь, — американская индивидуальность!. Я от девяти утра до пяти вечера сижу в оффисе и делаю как раз то, что по ночам, ког-

да пишу для себя, а не для фирмы, я ниспровергаю в своих романах... Тты, Пильняк!.. но у меня дома всего-навсего лист бумаги да перо, да усталая за день голова, а у муви—аппарат, машина, миллионы денег и зрителей, которых муви стрижет своими картинками... Эх, тты, Пильняк! ты не хочешь с нами работать? ты уезжаешь? Голливуд мне платит деньги!—я приеду к тебе в Союз Советов, когда кончится договор!..

Второй разговор, бывший в ту ночь, я приведу дальше. Сейчас засвидетельствую,—я не встречал в Голливуде людей, которые не кляли б муви, — а я встречался с писателями. И слово здесь будет отдано понятию того, что американцы понимают в понятии—договор. Выше рассказывалась судьба рабочего Х., русского по национальности, работавшего принципами свободных посылок к миссис чортовой мамаше, — так бывает, когда нет договора. Когда же бывает договор, восстают—из гробов, казалось бы, в перспективе современности, но в Америке не из гробов, а именно из современности—восстают понятия рабства.

Договор! — актер или писатель — безразлично—заключает договор на пять лет. В договоре всегда оговорено, что фирма может порвать договор в любой час и может его пролонгировать,—но этого права нет у писателя (иль актера). В договоре всегда сказано, что фирма может перепродать свои права,—этого права, совершенно американски естественно, у актера нет. В договоре оговорено, что актер приглашается на такие-то роли и не может отказаться вы-

полнять их или им подобные. Отказ от договора со стороны актера—это не только потеря куска хлеба и карьеры (ибо фирмохозяева, хоть в Америке и существует закон против трестов, тресты запрещающий,—картелированы), но этот отказ от договора — и долгой хомут неустойки, и — возможно — долговая тюрьма. Это касается и кинозвезд, и писательских знаменитостей, и безыменных.

И в Голливуде можно услышать десятки историй о чудесных договорных комбинациях.

Писатель заговорен за фирмой такой-то. Он написал повесть. Его фирма не пользуется этой повестью для сценария. Соседняя фирма намерена повесть эту поставить. Супервайзер этого соседа не говорит с писателями, он телеграфирует супервайзеру, заговорившему писателя:

— Хэлло!

— Хэлло!

— Мы хотели бы поставить такого-то!

— Но мы тоже об этом думаем!

— Уступите!

— Разве только из дружбы!

— Сколько берете?!

— Сорок пять тысяч!

— Уступите!

— Разве тысячу, только из дружбы!

На тридцати пяти тысячах друзья сходятся. Писатель попрежнему получает от своей фирмы свои двести пятьдесят долларов.

Писатель—туда-сюда—рукопись, а не человек. И вот с человеком:

— Хэлло!

— Хэлло!

— Нельзя ли нам недельки на две вашу звезду такую-то!

— Но мы сами намерены!..

— Уступите!

— Разве только из дружбы...

— Сколько берете?!

Писатели и актеры по договорам, так скажем, отдаются на подержание.

Молодой писатель (иль молодая актриса, иль актер) заключил три года тому назад договор на семьдесят пять долларов в неделю. Он пошел в гору. У него имя. Он получает прежние свои семьдесят пять долларов. Договор с ним, чего доброго, через два года будет пролонгирован.

Актеру иной раз хотелось бы проработать свою роль, хотелось бы роль себе выбрать, но у него есть договор, и роль выбирает не он, а супервайзер.

Режиссеров фирмы также дают на подержание.

Но актер не может проработать и выбрать себе роль, не только потому, что за него думают другие. Актер не должен даже знать сценария во имя промышленной тайны. Раньше с родэо, с ковбойских скачек, выбирались лучшие для кино,—раньше кино собирало гимнастов вроде Дугласа Фербенкса,—теперь

этого не надо, все заменено техникой, и никакой Фербенкс не прыгнет так, как скошенная перспектива.

В тех альбомах, которые лежали у моего приятеля-режиссера от пола до потолка, были альбомы дублеров,—экстра, похожих на знаменитых артистов. Некая бедная фирма берет на неделю на подержание знаменитость, фотографирует знаменитость в ответственных местах,—остальное ж за нее доигрывает дублер. Знаменитость получает три тысячи в неделю, экстра получает шестьдесят долларов. Некая богатая фирма ставит картину, где героине (конечно— звезда) надо прыгать со скалы в воду, вылезать из горящего здания,—там, где это дорого сделать фокусами, там звезду заменяет дублер, дабы звезда не мокла, не волновалась, не обжигалась и не ломала ребер.

Мужчины-актеры—не в счет, ибо они мужчины. Они сами должны сделать свои карьеры. Да их звездами и не называют. Что же касается звезд в подлинном смысле этого кинодейного слова, то-есть женщин, то надо засвидетельствовать, что подавляющее большинство их, за исключением трех-четырех (например, Греты Гарбо), создали свои судьбы не талантами и даже не красотою, но тем, что они—или жены кино-директоров и супервайзеров, или любовницы миллиардеров, акционеров кинофирм и вообще. Мужчины-актеры подлинно талантливые (есть, конечно, и такие—Чарли Чаплин, тот же Фербенкс) не укладываются в режим муви, — тогда они организуют свои студии и работают за свои страх и риск. Талантливая

молодежь, экстра, которая иной раз много играет, дублируя знаменитостей, сейчас объединяется около журнала «Experimental Sinema», протестующего против традиций муви. Но перспектив не надо путать: Чаплин — исключение, а работа журнала — донкихотство.

И понятно, почему в Нью-Йорке показывается пьеса, где Голливуд показан таким, как он представляется американцам, — даже американцам! — и таким, как он есть на самом деле. Экстра никогда не будут звездами, это не выгодно, экстра могут дублировать звезд. Звезды нужны для популярности фильмов. Создать публицити и заставить зрителя полюбить звезду — выгодней таким образом, чтобы это было всячески выгодно, и какому ж директору не приятно к своему жалованью прибавить жалованье жены, а мышкой у себя иметь звезду, — миру во поучение?! Звезды стареют, вместо них под их именами играют экстра. Экстра получают шестьдесят долларов в неделю, пока — пока не выпадет счастье. И Алекс Гомберг, старый американский волк и мой друг, был совершенно прав, когда он меня напутствовал в Голливуд следующими словами:

— Вы, Борис, пожалуйста, как можно осторожнее с экстра. Экстра еще могут подумать, что вы богатый или сильный человек в муви. Скандалов не оберетесь.

В Голливуде я понял, что значило это предостережение. У нас, в СССР, была волна алиментных дел, — так это волна на Москва-реке по сравнению с великоокеанскими волнами алиментных дел Голливу-

да! — Эти алиментные дела суть пути в звездочетство, ибо для экстра только один нормальный путь в славу — стать любовницей иль женой киносилуимущих, — иных же путей два — голод иль проституция, ибо из ста процентов экстра работали только пять, по кризисным временам. Все это — в американском понятии вещей. Договор есть мечта и:

— ...Ты, Пильняк, — американская индивидуальность!..

Что касается меня, то мои дела в Голливуде — лишняя иллюстрация к вышесказанному. Я имел отличие от остальных там работающих: я был советским гражданином, и в договоре у меня было оговорено право порвать сей договор в любые двадцать четыре часа. Выше же сказанное я расцениваю как любование капитализмом в собственные его глаза и иллюстрирую им американскую организацию — и труда, и промышленности. Муви — третья американская индустрия, — кто подлинный хозяин муви — супервайзеры? — дирекция? — акциодержатели? — Нет, конечно. Муви — замечательнейшая финансовая организация, не снисвавшая ни одной податной фининспекции, ибо все обыватели Америки (и мира) платят ежевечерне, ежедневно, еженедельно добровольный подоходный налог муви. Хозяин муви — зритель, всеамериканский обыватель. Муви — индустрия. Форд конвейером автомобилей угождает покупателям. Текстильная промышленность вырабатывает метры ситца. Муви вырабатывает футы пленки. Таланты писателей должны уложиться в эти

пленки футов. Когда супервайзеры ставят свое о-кэй, они ставят это о-кэй на вкусы и в угоду вкусов обывателя. Мой паровой спутник, король от свиных и телячьих кишек, мистер Котофсон, — безграмотен. Он в совершенстве знает кишечную технику, он любит все приличное, и он желает иметь совершенную технику кино, ибо намерен мирно спать, подобно героям Синклера Люиса с Майн-стрита.

Итак: мне говорили в Нью-Йорке, что Америка — не в Нью-Йорке. Что же, Америка — в Голливуде!? Я установил в Голливуде, что и Голливуд, и Нью-Йорк — всё одни и те же прекрасные черты прекрасного лица!

Если ж сбросить со счетов муви, как таковое, и оставить писателей, к сословию коих я принадлежу, как таковых, и если говорить об искусстве американского индивидуализма, — старые истины! — искусство активно только тогда, когда оно создает новые формы, новые идеи, новые эмоции, когда оно будит, но не усыпляет, — ибо искусство будет искусством только тогда, когда оно революционно, и искусство будет искусством только тогда, когда оно убежденно. Искусство создается в частности писателями. Для того, чтобы писатель мог работать, он должен верить в свою работу, в ее необходимость, в ее значимость. Это, разумеется, гораздо важнее денег: сколько гениальных произведений было создано на всяческих (и фактических, и психических) чердаках и в голоде? — И писатель подобен птице: птице легче лететь, когда

ветер дует ей в грудь. И — подлинный хозяин футов американских талантов муви — господин капитализм, ницшеанец доллар.

Я приехал в Голливуд и пошел к моим супервайзерам, смотрел Наполеонов от обывательщины и обывателей от Наполеонов. Мне сказали, что меня пригласили «в качестве большевика», как мне дословно было сказано, чтобы советизировать фильм. Меня спросили, нужен ли мне оффис. Мне сказали, что в моем распоряжении переводчица-секретарша. Мне дали право телеграфировать и радиографировать в любые концы земли за справками. Я мог отовсюду выписывать книги, мне нужные. Я должен был понять, что раз я получаю столько-то, я уже в компании эксплуататоров. Мне сказали, что некий выдумщик надумал поставить про-советский сценарий. Я и Фрэнсис Марион должны быть авторами картины, режиссером будет Джордж Хилл, помощником режиссера (и моим помощником) будет Борис Инкстер, русский человек, советский гражданин, отставший от группы Эйзенштейна. Супервайзером будет Ал Люэн. Директорствует Ирвинг Толберг, директор М. С. М., муж Нормы Ширэр, человек, получающий миллион долларов жалованья в год, голливудский Наполеон со скрещенными руками. Все перечисленные должны были составлять «конференс» — совет при картине. Я, кроме авторства, должен был быть и советником при фильме, дабы не было клюкв.

Понятие про-советский — следующее понятие. Америка, как известно, в 1931 году дипломатических от-

ношений с СССР не имела. Те американцы, что были против признания Советского Союза, назывались антисоветскими. Те же, что хотели восстановить международную дипломатию, назывались про-советскими. Так же разделялась и русская в Америке колония. Большинство эмигрантов, приехавших до революции, были про-советскими. Антисоветскими были те, кто предал родину, бежав от революции. Что касается меня, я был просто советским.

И что касается меня еще раз,—мне не пришлось побывать ни соавтором всезнаменитой в кинодействе Фрэнсис Марион, ни советником при фильме.

Но по поводу фильма я советовался несколько дней. О политике, избави боже, до последней моей отъездной ночи мы не говорили ни слова.

К моему приезду основные черты сюжета были уже—так скажем—продуманы, и Фрэнсис Марион написала уже первоначальный синопсис, кой я должен был преработать в совете с соразработниками и переработать в свете истины.

«... в кабинет директора вошел молодой очаровательный блондин...»

Содержание сработано было мадам Фрэнсис Чарской по всем американо-голливудским правилам. Герой—американский инженер Морган. Героиня—очаровательная Таня. Злодей—ГПУ. Добродетельный комик—директор строительства Николай, рабочий, герой пятилетки, коммунист. Дело происходит в СССР. Морган едет в СССР работать, дабы «изучить вели-

кие принципы планового хозяйства, чтобы впоследствии применить свои познания у себя на родине» (выписано дословно). Таня («очаровательная шатенка!») высылается из Америки,—депортируется, как там говорят,—потому что она коммунистка и руководила забастовкой в Америке. Между Таней и буржуазным Морганом — классовая вражда, но — «взгляды их встретились, и они любят друг друга, сами не подозревая об этом» (выписано дословно). Они едут на одном пароходе, в разных, конечно, классах. Они проплывают мимо статуи Свободы. Таня с нижней палубы шлет проклятья американской свободе. Морган на верхней палубе насвистывает американский гимн. Глаза их опять встретились. И так далее. Сейчас же за советской границей начинаются чудеса. К Моргану сразу приставлен шпион (который впоследствии оказывается мужем сестры Тани, умирающей от чахотки и измен мужа). Этот шпион и неверный муж сразу влюбляется в Таню. Он, конечно, тайный чекист. Но кроме этого тайного чекиста, ходят по СССР чекисты и «явные» — они чернобороды, увешаны бомбами, они в валенках, и у них глаза горят, «как угли». Явные чекисты на глазах у всех арестовывают профессоров, отрывая их от жен, которые тут же умирают. В Москве делаются чудеса не меньше. Там строятся небоскребы «более высокие, чем в Нью-Йорке» (выписано дословно). Морган работает на строительстве завода Сталь, «который будет самым большим в мире». На заводе работает директор Николай (будет играть ко-

мик такой-то), коммунист, герой пятилетки, бывший американский рабочий, некогда работавший с Морганом (хотя Моргану не больше двадцати двух лет). Таня, для-ради свежего воздуха, с умирающей от туберкулеза сестрою едет на родину в деревню, как раз около строительства Стали. В деревне свежий воздух, большие, свежие, разукрашенные украинскими (хотя и на Урале) полотенцами избы, горами масло и яйца, кои поедают благоденствующие пейзажи. По деревне в одно революционное утро проезжают танки, сравнивая деревню с землей, дабы на голом месте строить колхоз. Деревенскому батюшке обрезают бороду. Коммунистка Таня возмущена. Но в Таню влюблен шпион, муж сестры, тайный чекист и злодей. Он доказывает, что двоеженство не есть порок, но что при настоящем коммунизме можно будет иметь хоть двадцать жен, и Таня, как коммунистка, немедленно должна ему отдаться. Но тут он догадывается, что Таня любит Моргана. Тогда он мстит Моргану, подводя его под уголовщину. Таня в это время возглавляет восставших крестьян совместно с бритым батюшкой. И над Таней, и над Морганом нависает гроза расправы ГПУ. Ни Таня, ни Морган об этом не подозревают, но об этом узнает Николай, красный директор и коммунист. Он зовет к себе Таню и Моргана и—он советует им бежать из СССР!—Они бегут. Их преследует ГПУ.—Зрители должны захлебываться от волнения, — догонят? — не догонят?! — точь-в-точь, как в индейских картинах. Они, конечно, спасаются. Когда пароход

проходит мимо статуи Свободы, очаровательная Таня протягивает к ней счастливые руки, а Морган поет американский гимн (около той самой Свободы, под юбкой которой много лет помещалась тюрьма). В этом месте Таня, совершенно американски естественно, отдает Моргану руку с сердцем и со всем прочим, — недостает только национального флага!

Когда меня спросили на конференции, — после того, как синопсис был оглашен, — что я об этом думаю? — я совершенно чистосердечно сказал, что синопсис этот кажется мне совершенной ерундой. Моему утверждению, к удивлению моему, никто не удивился. И никого мое утверждение не обидело. Политики мы не касались, избави боже, — при чистом-то искусстве! — но уроки политграмоты я давал несколько часов под ряд. Со мной соглашались охотно. Я говорил, что если злодей необходим, то следовало бы за злодея взять русскую контрреволюцию. Рассказывал о саботажниках и о процессе Рамзина. Толберг попросил меня пересказать ему еще раз, что такое саботаж. Выслушал и сказал:

— О-кэй, пусть вместо ГПУ злодеем будет саботаж!

Я рассказал, что такое колхозное движение, Толберг выслушал и сказал:

— Уэлл, не надо крестьянского восстания, — придумайте какую-нибудь волнующую, вроде бунта, картину! Цюр!

Я говорил, что американец не может бежать из

СССР, ибо, если он бежит, значит он дурак, а дурак не может быть героем, а если он герой и не дурак, то он не побежит, ибо ни один американский инженер еще не бегал из СССР. «Уэлл» — это значит: итак, стало быть, «Шюр» — кончено. С этих слов американцы начинают фразы, когда хотят быть глубокомысленными.

— Уэлл, — сказал Толберг. — Но побег нам необходим как трюк. Придумайте, каким образом может быть побег правдоподобен для героя, потому что побег очень нравятся американскому зрителю.

Я говорил, что можно, мол, придумать и такую комбинацию, когда на Гренландии будут созревать лимоны, но Гренландия тогда будет не Гренландией, а Голливудом, — а меня приглашали быть автором и советником в фильме про-советском.

— Уэлл, — сказал Толберг, — мы ставим фильм именно про-советский, и мы пригласили вас как большевика. Но придумать побег необходимо! Шюр!

Следует сказать, что в картине работать я хотел, ибо понимал, какое громадное значение имеет кино в той же Америке, — и сделать картину, в которой было бы правдоподобия хоть на семьдесят пять процентов, это мне казалось — по моим размерам — делом большим. Приехав в Голливуд, я изложил дирекции мою программу. Она была проста. Я говорил, что для меня приемлемы условия работы только в том случае, если мне дадут возможность сохранить исторические перспективы, — СССР строит социализм, СССР ведется

коммунистической партией, — это есть исторические факты и их, фактов, перспективы. Мне сказали: о-кэй, уэлл! Я имел тогда уже представление о Голливуде вообще и, прослушав синопсис, склонен был считать его глупостью больше, чем политикой, тем паче, что спасти ГПУ от злодейства, а колхозы от восстаний не стоило никаких трудов.

Ночи две голливудских мы с Джо не спали, так и сяк придумывали побег!—С Морганом ничего не вышло. Тогда мы решили, что бежит Таня, а Морган бежит за ней из-за любви. Таню мы исключили из партии. То мы комбинировали так, что Таня никогда и не была в Америке, а так, русская буржуичка, переводчица и прочее. То мы оставляли ее первоначальное пребывание в Америке. — Ничего не выходило! — Ничего не выходило и с Николаем, ибо невозможно придумать комбинацию, когда коммунист помогает побегу, оставаясь коммунистом!— Действительно, надо было, сидя в Голливуде, придумать произрастание апельсин на Гренландии.

Придумали мы лишь одно: речь, которую я сказал на следующем конференсе.

Декарт однажды утвердил заповедь: «Я мыслю— стало быть я существую». И европейская философия века полтора билась с этой формулой, путая философию, ибо по этой формуле чрезвычайно трудно примирить человека с космосом и очень легко утвердить мир не как реальность, но как представление. Билась философия до тех пор, пока не пришел человек и не ска-

зал, что корень зла находится не в примирении этой формулы с действительностью, а в самой формуле, ибо формулу надо переделать.—«Я существую—стало быть я—часть природы».—«Я мыслю — стало быть я существую» — в это самое у нас превратился побег. Гренландскими изысканиями заниматься не стоит. Лучше не в Голливуде придумывать сценарий и затем подгонять под него советскую действительность, но, наоборот, сценарий подогнать под действительность, опустив гренландские лимоны побегов. Так говорил я.

— Уэлл, — сказали мне, — но мы хотим поставить про-советский фильм.

— Именно поэтому я и не спал полторы ночи,— ответил я.

— Но про-советский фильм, — сказали мне,—это значит: пусть большевики делают у себя, что хотят, хотя бы и социализм. Мы признаем пятилетку и ваше строительство. Мы за признание Советов и восстановление дипломатических отношений, потому что нам выгодно с большевиками торговать. Но то, что происходит у большевиков, это никак не годится для американцев. В фильме надо показать, что у большевиков не могут жить даже американские коммунисты. Все это надо показать в фильме, который мы намерены крутить.

Я выслушал, понял, что это уже не глупость, но политика, хоть и очень глупая, вытащил мой договор, по которому я мог в каждые двадцать четыре часа

порвать этот самый договор, и сказал: гуд-бай, до свидания! — выморочив имя свое из голливудских дел.

Мне сказали, что я могу откуда хочу выписывать и вытелеграфировывать книги и выдумывать, что я только вздумаю, лишь бы это было кинично и было чистым искусством. Напомнили мне, что я—привилегированный. И спросили удивленно: ужели действительно я не хочу работать?—ужели я на полпроцента не хочу отступить от истории, от той самой, перспективы которой я ставил условием своей работы?

— Нет, — сказал я, — я не предатель.

— Ну, а у нас, американцев, обмануть историю, а еще больше того государство, считается хорошим бизнесом!—это мне сказал Ал Люэн, надо полагать, всерьез.

С Алом Люэном я проводил последнюю голливудскую ночь. Я дружил с ним — главным образом не по службе. В мои голливудские дни у Ала Люэна гостил его друг, молодой американский поэт Чарлз Резников, очень талантливый человек. Резников не оказался на золотом крючке муви и служил приказчиком в Нью-Йорке, в шляпном магазине. У Резникова хорошие книги стихов, которые плохо идут, потому что они хорошие. Ал Люэн дал возможность Резникову приехать в Калифорнию для отдыха. Я был свидетелем, как Ал покупал книгу Резникова экземпляров по двадцать пять и, потихоньку от Резникова, раздаивал эти книги знакомым. Это он делал для того, чтобы поддержать тираж. Ал в совершенстве оценивал Марсея Пруста,

Джемса Джойса, русского Гоголя и расспрашивал меня о Пастернаке (о поэте, к слову, которого сейчас чтут лучшим из живых на земле). Ал, почти единственный в Голливуде, хотел внимательно знать об СССР. В свое время Ал был профессором литератур. Мне он предлагал в распоряжение его дом и его паккард, и мои книги, должно быть, он также покупает по несколько сразу. Он—очень маленького роста, очень слаб физически и у него внимательные, умные, чуть-чуть усталые глаза. Он—умный и культурный человек.

В последнюю мою голливудскую ночь собрались друзья, чтобы мы распрощались. И в то время когда Р. говорил: «Эх, тты, Пильняк!—американская индивидуальность!» — Ал Люэн сказал мне:

— Ты не хочешь муви уступить полпроцента? но как же муви уступит тебе полпроцента? Дело не в людях, Бор, но дело в системе!

Ал Люэн совершенно прав, — дело в системе, но не в людях. Ал Люэн—хороший человек. Выше рассказано было о хорошем американском бутце в любовь индианки,—это было в Калифорнии. Ниже рассказано будет о том, что Калифорния сыграла однажды роль ломового извозчика, который вывез Соединенные Штаты из лужи кризиса — калифорнийским золотом. Калифорния и Голливуд помнят историю заселения Калифорнии, Дикого Запада. Иоганн Август Сэттер имел большую американскую судьбу, этот первый калифорнийский фермер. Он родился в Германии, жил в

Швейцарии, служил в Париже в гвардии, пока из гвардии его не выгнала Июльская революция. Он поехал в Африку купцом. Он приехал в Нью-Йорк трактирщиком. Сначала он искал счастья. Затем он стал искать покоя. Он поехал с семьей на Дикий Запад, чтобы уйти от людей. Из Сан-Франциско с двумя другими белыми, с семьей и с несколькими индейцами, — пионер, — на лодке он поплыл вверх по течению реки Сакраменто, где до него не было еще белых. Он хотел там жить Робинзоном. По законам пустынь он сделал заявки на земли, и земли стали принадлежать ему. Он построил ферму, которую назвал Новой Гельвецией, которую окружающие называли Фортом Сэттера. Сэттер фермерствовал и сплавлял вниз по Сакраменто леса. Он прожил десять лет в этих диких местах один с двумя своими товарищами и с семьей. Он обрел покой. Но его ж товарищ Джеймс Маршал 28 января 1848 года на его же, Сэттера, землях нашел золото. Золото! — то, ради чего и вообще-то европейцы поехали в Америку! — Через две недели тогда земли Сэттера превратились в лагеря золотоискателей и брошены были в быт, описанный Джеком Лондоном. Через полгода тогда на земли Сэттера собралась вся американская гольтепа, создав поселки, которые теперь называются городами и носят старые названия—Виски, Копи Дикого Янки, Портвейн. Новая Гельвеция оказалась в центре города Сакраменто, ныне столицы Калифорнии. Но Сэттер был фермером и хотел ферме-

ром остаться. Сэттер обратился к суду с требованием, чтобы власти прогнали с его земель непрошенных им людей. Суд подтвердил его права, но суд был бессилен. Сэттер поехал в Вашингтон за помощью,—и только поэтому Сэттер остался жив. Золотоискатели поступили с приказом суда законами пустынь и «дикого» Запада. Все владения Сэттера были сожжены, один его сын застрелился, другого убили, третий бежал и пропал без вести, его дочь изнасиловали и она сошла с ума. Сергей Эйзенштейн, приглашенный, подобно мне, Голливудом, фирмой ПарамOUNT, предложил поставить в кино судьбу этого первого фермера Калифорнии. Ему отказали. Тогда он предложил поставить «Американскую трагедию» Драйзера, которую проработал вместе с Драйзером. С Эйзенштейном был порван договор, и порван был так, что Эйзенштейн должен был в двадцать четыре часа покинуть Американские Штаты.

В Америке много киносюжетов!

24

Итак, утверждение иных американцев, что Америку надо искать не там и не сям,—отбыло. Предаваться изучению стран из окна вагона—даже и особенно «двадцатым веком»—дело по многим причинам неудовлетворительное. Я купил себе автомобиль, чтобы на нем переправиться от океана к океану и вплотную посмотреть Америку. Обучался управлять машиной я в Санта-Моника под пальмами. Совершенно ясно, в пер-

вые дни обучения, неожиданно наткнувшись на неожиданность, растерявшись, не сообразив выключить конуса левой ногою, правой ногой, вместо тормоза, стал отчаяннейше я давить на газ. Автомобиль, совершенно естественно, превратившись из автомобиля в танк, стремительно въехал в ту самую неожиданность, которая испугала меня и которая оказалась садовым заборчиком. Танк проехал этот заборчик и через второй, исковеркав обывательские клумбы и чудом повиснув над обрывом к океану, застряв в песке. Так я обучался американскому хладнокровию и юмору.

Все же, прежде чем покинуть Калифорнию, я ездил по ее достопримечательностям.

Я видел памяти соотечественников.

Я ездил по развалинам индейских поселков и по испанским миссиям («мишэн» — по-английски). Этими мишэнами испанцы завоевывали индейцев. Каждая такая мишэн — толстостенная, монастыреобразная — есть крепость, обязательно с громадным винным подвалом и с меньшей братской столовой. В нескольких мишэн сохранились испанские картины памяти индейских здешних времен. Эти картины в наивной безграмотности и безвкусице мастерства очень реалистичны. На них изображено превращение индейцев в католическую веру: в воде стоят голые индейцы, над ними на берегу стоит со крестом толстый ксендз, сзади ксендза вальяжно постаивают испанские солдаты с фузелями, еще дальше пэд кустами командирствуют лошади и пушка. Так оно и было. Индейцев в веру загоняли

порохом. Ну, так вот, в одной из «мишэн», в алтаре, в заалтарной каморке увидел я русский самовар, совершенно православный, ручной работы, красной меди, по всему—века семнадцатого. Самовар в католическом алтаре привел меня в недоуменье, я отправился в розыски и расспросы. Оказалось, что в семнадцатом веке здесь были русские, атаман русского корабля Резнов собирался даже жениться на некоей туземной принцессе, но не осмелился сделать этого без разрешения царской милости, поехал восвояси за этой милостью и обратно не вернулся. Испанское правительство, оказывается, имело из-за этого Резнова переписку с российскими приказными—в страхе, что русские рыбаки и казаки заберут себе Калифорнию. Самовар остался от тех пор, и испанские монахи, не зная толкового самоварного применения, пользуются им как умывальником в богослужебное время. И крепости-мишэны строились, оказывается, главным образом не против индейцев, а против русских. Чудеса в решете, хоть и не к славе мне этакий патриотизм!—русские в Калифорнии, русские прыгуны!..

Видел я родэо, ковбоев.

В старину, то-есть лет десять тому назад, с этих родэо выбирали лучших ковбоев для кино.

Ехали в горы, за горы, к границе штата Аризона. С гор таборами семейств, от стара до велика, мужчины и женщины, приехали ковбои. Их кони—мустанги!—стояли у коновязей, красавцы, пришедшие на состязание. Ковбои рассматривали коней. В загонах мы-

чали быки и коровы. Женщины, многие в ковбойских штанах, с пестрыми шальями на плечах, гуляли вокруг ипподрома, наслаждаясь праздничностью. Девушки перепроверяли подруги седел у своих коней. Все от времени до времени ели горячие сосиски и пили кола-кола. Председатель ковбойского общества спортсменов, знаменитый ковбой и не менее знаменитый—ныне уже бывший—киноактер, распорядительствовал. Его костюм блистательствовал. От времени до времени он распускал свое собственное лассо, шпорил лошадь, и лошадь пропрыгивала через петлю лассо хозяина, — лицо киноковбоя не меняло ни единого мускула.

Начались состязания. Первым номером была езда верхом на диких быках. Быки неистовствовали в обалдении, прыгали, копали землю рогами, лягались, иные ложились. Уздечек, естественно, никаких не было. Всадники, если так можно выразиться о едущих на быках, держались исключительно при помощи ног, эквилибрируя руками в воздухе для равновесия. Победителем был тот, кто свалился с быка последним. Затем то же самое было повторено с необъезженными лошадьми. Затем были гонки со всяческими джигитскими ловкостями. Гонялись и девушки. Их ловкость заключалась в том, что они, так скажем, везли эстафету. Проскакав круг, каждая девушка перескакивала на полном ходу с одной лошади на другую и мчала дальше. Одну девушку с поля свезла карета скорой помощи. Прыгали девушки с одной лошади на другую на карьере замечательно: девушка-помощница разгоняла

лошадь, и наездница с ходу прыгала с одной лошади на другую в тот момент, когда лошади равнялись. Гонящаяся девушка хваталась за гриву второй лошади, на момент расплывалась в воздухе и во второй момент мчала уже дальше, нащипывая коня. Девушки не были стриженолосы, и волосы их развевались по ветру. Затем были состязания с лассо. Из-за загона выпускалась корова, испуганная и бегущая. Ковбой должен был, стоя на коне, бросить на нее лассо, уронить на землю, соскочить с коня и связать ноги корове. Победил тот, кто сделал все это в наименьшее количество секунд. Надо сказать, что ковбоев и их коней, и их стад полудиких коров и быков было все же меньше, чем, скажем так, цивилизованных зрителей и автомобилей. Ипподром и скамейки для зрителей сколочены были наскоро из нетесаного теса, но в уборной была проведена вода и оборудована канализация, а над ипподромом для вечерних удовольствий висели электрические лампы. Часть ковбоев также приехала на автомобилях.

Со среднеазиатской байгой ковбойские развлечения сравнить нельзя, хоть, быть может, они и не индейского, но азиатского (испанцы—мавры) происхождения. Костюмы ковбоев продаются в городах, в магазинах, фабричного производства, равно как и испанские их седла. Состязанья ковбоев наполовину уже театр. Не случайно председательствует у них ковбеокиноактер.

И видел я золотоискателя, потомка тех, которыми

зачалась Калифорния, которые нарушили некогда— и не так давно—покой Иоганна Авгу́ста Сэттера. Именно к таким старателям я и ездил. По существу говоря, я ничего не видел. Пасмурный и подозрительный человек вышел из пещеры, сухо сообщил, что делать нам здесь нечего. На нем была синяя рабочая блуза. В поры его лица и рук вьелась земля. Он ушел в пещеру и, уходя, глянул на нас подозрительно. Не знаю, какими законами преломления лучей, его глаза блеснули синей искрой, как иной раз у лошадей от света автомобильного фонаря,—зловещим, испепеляющим светом страсти и скупости, и—голода, запуганного, отчаявшегося, подозрительного,—так мне показалось. Около пещеры стоял форт, окончательно изодранный, цена которому не больше двадцати пяти долларов. И непонятно было, то ли этот форт служит средством передвижения, то ли ночлежкой. На сиденье внутри форта шипел примус.

Лос-Анжелес, да и вся Калифорния, по воле Голливуда, украшена памятниками. Ножки звезд в цементе кинотеатров имеют прямую проекцию к громадным апельсинам, которые оказываются не апельсинами, но лавочками, в коих продается апельсиновый сок, к громадным чайникам, которые оказываются не чайниками, но ресторанами. Это — и искусство, и памятники, и рекламы, и бизнес, вместе взятые и размещенные под пальмами, эвкалиптосами и перечными деревьями.

В тот же час, как меня освободил Голливуд, не дожидаясь утра, в вечер, засучив рукава и нахлобучив на лбы белые кепи, включились мы в конвейер автомобильных дорог, чтобы искать ту самую Америку, которая есть ни Нью-Йорк, ни Лос-Анжелес. О дорогах рассказывалось. Дороги приняли нас в свой конвейер, когда надо было ощущать, что мы едем не по пространству, но по стандарту, ибо от океана до океана, повсюду, кроме природы, ничто не менялось. Всюду был один и тот же бензин, одни и те же завтраки и обеды, одни и те же отели. Менялись лишь пейзажи да климатические особенности. Но они не видны были из-за дорог, зазащенные конвейером движения. Был у нас рекордный день, когда в день мы прошли на автомобиле расстояние, равное расстоянию от Москвы до Одессы.

Ехало нас трое: Джо, я и Исидор К., голливудский киноактер, перекаати-поле, человек, отчаявшийся найти работу в Голливуде и помогавший нам вести машину за ночлег и хлеб, ехавший в Нью-Йорк, но готовый ехать куда угодно, американский гражданин. Всю дорогу Исидор пел американские гимны.

Так мы проехали всю Америку от океана к океану, с заездом в южные штаты, к Мексиканскому заливу, в штат Миссисипи, в город Нью-Орлиенс. И на автомобиле ж я был у Великих озер, в Детройте у Форда, в Боффало на Ниагарском водопаде.

Два природных явления придавили меня, такие,

которых доселе я не видел, которые замкнули мои пути по Америке началом и концом путей: кактусовая пустыня и Ниагарский водопад.

Кактусовая пустыня под горами Сиерра-Невада, в отчаяннейшем зное солнца, в желтом песке, никак не походила на реальную природу, но рисовала в фантазии мертвое морское дно, где кактусы, громадные и страшные, да юкки, дикие пальмы, казались морскими растениями и рифами морских животных. Юкка имеет не одну листовенную шапку, но несколько, — вдруг из голого и ободранного ствола торчит такая ж шапка, как на венце. Кактусы были различны: колючие, желтые, как дикобразы, гладкие, зеленые, как огурцы, небольшие, в рост прерийной собаки, и громадные, в рост трех рослых индейцев. И пальмы, и кактусы торчат из песка, который ползет под ними, точно они случайно и временно воткнуты в этот песок. В пустыне там мой автомобиль раздавил дикобраза. Видели мы однажды аз кактусами стаю диких прерийных собак. И дикобраз, и эти собаки похожи на кактусы. Конвейер дороги пересекал пустыню, отсекая километры автомобильными станциями, плакатами реклам, зоопарком животных пустыни да зоомузеями индейцев, — в этой пустыне, которая кажется морским дном и оживает только у оазов.

Ниагарский водопад был завершением моих путей. Он, Ниагарский водопад, — поистине величественен, неповторим, мужественен, эта громадища воды, падающая с гранитных высот. Он неопишем, как вся-

кие величественные своею простотою вещи и события. Падают с гранитных высот громадная река, падает от-весом, заглушает своим ревом все шумы фабрик и за-водов, вокруг него поместившихся, создавая тишину грохота природы, когда человек, в частности, молчит около него, потому что человеческого голоса все равно не слышно, — и это почти все, чем можно описать водопад. Около него надо молчать, около этого механического (в отличие от вулканических, например), механического проявления мощи природы, — колоссальной мощи завода геологии. Фабрики и заводы, построенные вокруг него, шумные городишки на берегах USA и канадском — ценки около этого завода воды и гранита. Они немеют в тишине его рева, — именно немеют и именно в тишине, потому что человеческий слух — мерило — отказывается воспринимать звуки около этой падающей громады серой воды. Иного поражают в Америке небоскребы, самые высокие строения в мире. Иного поражают подземелья Нью-Йорка, в механической их вежливости и в размерах, в несколько раз больших, чем римские катакомбы, когда в этих подземельях можно прожить жизнь, не видя естественного света. Ниагарский водопад величественнее. И он проще, он очень прост: с гранитных высот падает громадная река, падает так величественно, что около падающей воды даже американцы не ухитрились поставить ни ресторанов, ни плакатов реклам. Он очень прост.

Читал я книжицу некоего моего соотечественника

Павла Свиньина, изданную с дозволения цензуры в Санктпитебурге в 1815 году «Опыт живописного путешествия в Республику Северных Американских областей». Сей Павел Свиньин описывает прелести Ниагарского водопада и пишет:

«...Между дикими, населяющими окружности озер Онтарио и Эри, сохраняются многие странные и чудесные истории о водопаде Ниагарском. Я упомяну здесь об одном истинном приключении. За несколько верст выше от водопада проходил Английский Матроз одного военного корабля, и увидя на берегу спящую прекрасную Индианку, вздумал ее похитить. Индианка проснувшись хотела сокрыться в лодку, стоявшую у берега, в которой спал ее муж, но Матроз успел, прежде нежели она исполнила свое намерение, отрезать веревку, которою лодка была привязана к дереву; она понеслась мгновенно по течению и скоро попала в быстрину...»

Есть у американцев некоторое место, которое рекламируется во всех журналах и на станционных плакатах — Грэнд-Кеньон, — по-русски перевести—Большой овраг. Делали мы четыреста километров крюку, чтобы побывать около этого оврага, размытого в свое время рекою Колорадо. Я б не стал помнить об этом овраге, если б он не был преддверием к индейскому племени Зуни. Овраг, действительно, очень большой, в два километра глубиною, по дну

которого течет река Колорадо. Средних лет около него деревья. Средних лет под деревьями в отеле американцы, — или спускавшиеся на ослах ко дну оврага, или собирающиеся туда спускаться. Примечателен этот овраг своею необоротностью: стояла бы среди ровного места гора в два километра высотой, это было бы как у всех, — тут же овраг в два километра глубиной, и для того, чтобы ощутить его глубину или высоту, надо спуститься на его дно при помощи ослов. Места вокруг Грэнд-Кеньона — дикие места — населяют еще индейцы. Рядом с барственным отелем на краю Грэнд-Кеньона располагался индейский вигвам. В афишке сообщалось, что в такой-то день и час индейцы будут танцевать свои воинственные танцы.

Я не ездил на осле ко дну оврага. Индейские танцы можно повидать в Москве, полюбовавшись на цыган. Мы поехали в зоопарк племени Зуни.

Христофор Колумб (еврей по национальности, как утверждают некоторые исследователи) добрался до первого американского острова 12 октября старого стиля в 1492 году. Некий парижский гражданин, издавший в Париже на русском языке в 1928 году книгу под названием «Америка», Р. М. Бланк (с твердым знаком на конце фамилии), в этой своей «Америке» пишет, с твердыми знаками:

«Высадился Колумб на этот остров тотчас же после своего прибытия к его берегам, утром 12 октября. Туземцы ждали его на берегу в край-

нем возбуждении. Они были уверены, что то прибыли к ним из-за горизонта, — оттуда, где «небо сходится с землей», — небожители... Они распластались у ног Колумба и его свиты с выражением глубочайшего благоговения и полной покорности».

Этот же Бланк выписывает:

«следующий случай, отмеченный испанским историком XVI века, Геррера, в его «Historia des las Indias», изданной в Мадриде в 1601 году»:

«На острове Кубе стоял во главе одного индейского племени мудрый касик по имени Гэтуэй. Когда до него дошла весть о предстоящем прибытии в его княжество испанцев, он, имея уже вполне определенное представление об испанцах на основании рассказов своих сородичей, созвал всех старшин своего племени и, положив посреди площади огромный слиток золота, обратился к собравшимся с таким воззванием:

«Вот это (з о л о т о!) бог белых, преклонимся перед ним, выразим ему наше благоговение и попросим его, чтобы он внушил белым доброе отношение к нам».

Горячо и страстно стали индейцы молиться «богу белых», выражая ему свое почитание всеми доступными им способами: подарками, танцами, песнями и проч.

Но этот бог был неумолим, и как только испанцы прибыли, они первым делом схватили

самого касика и подвергли, во славу божию, ауто-да-фе.

Правда, когда этот злосчастный корчился на костре в предсмертных судорогах, к костру подошел католический патер и, поднося умирающему крест, предложил ему принять христианство, чтобы обеспечить себе царство небесное. Но индеец ответил, что если там господствуют христиане, он предпочитает быть подальше...»

Поучительный ответ! Поучительный приговор!

Мы поехали к племени Зуни. От тракта надо было свернуть в сторону. Свернули и сразу попали в первобытность бездорожья, в суглинки и колеи, как, по-ди-небось, где-нибудь в Кара-Кумах. Полила нас гроза, и автомобиль наш пополз, как корова по льду, норовя в канавы и не желая держаться в колеях. Так мы и ехали — от канавы к канаве. Исидор даже бросил петь свои гимны. Прежде чем пускаться в окончательное бездорожье оаза, в долину меж гор, где живут зуни, заезжали мы — уж не знаю, как выразиться, — в европейски или американски оборудованные белые, сытые, с теннисными площадками дома чиновников индейского департамента. Там у чиновника, разумеется не индейца, но американца, мы получили разрешение проехать к зуни. Чиновник посоветовал нам у зуни не ночевать.

Я видел в этот день в Америке нищету не менее страшную, чем нищета турецких деревень двадцатого

года. Пейзаж был один и тот же, что в Турции, — около оаза ханаобразные дома, всадники на низкорослых конях, грязь, антисанитария. Мы познакомились и нас сопровождал индеец, человек лет сорока с длинною косою, в мокассинах. Он фотографировался вместе с нами, затребовав с нас за это семьдесят пять центов. Улиц в поселке зун не было. Дома стояли как придется. И в дом можно было войти, забравшись на стену дома по переносной, из жердей, лестнице. Иных входов не было в эти дома из глины, когда каждый дом — маленькая крепостица. Но печи для печения хлеба находились на улицах, за стенами домов. Эти печи, если их сфотографировать в упор, воспользовавшись голливудскими хитростями смещения перспективы, могут показаться магометанскими мечетями или киргизскими юртами. Они куполообразны, в них пекут маисовые лепешки (маис — гаолян — кукуруза, — это все одно и то же). Лазили по лестницам в дома. Хоть печи для лепешек только что описаны, я узрел в одном доме чугунную плиту, переносную, которая топится каменным углем. Видел швейную машину, никелированную кровать (без простыней, конечно). Вещи от индустрии были случайны, как в турецких деревнях. В каждом доме на полу женщины ткали ковры, протекал в углу арык и пребывала ручная мельница, где, растирая один камень о другой, изготавливают маисовую муку. Меня угощали хлебом, лепешками, тонкими, как писчий лист бумаги. Я купил за двенадцать долларов ковер. Женщина, которая

продавала его мне, сказала, что она работала над ним три месяца. Кроме конных, все же я видел нескольких индейцев на автомобилях старых марок. Наш спутник, который снимался с нами за семьдесят пять центов, а дочери разрешил сняться за полтинник, этот потомок страшных людоедов и Ястребиных Когтей, был тихим, добрым и забитым человеком. Он предлагал нам его дом для ночлега, и конечно там с нами ничего б не случилось. Вокруг деревни зуни произрастала кукуруза. Национального флага над деревней я не видел, — он был над домом чиновников индейского департамента.

Итак, чтобы понять величие Грэнд-Кеньона американцев, надо спуститься на американское дно индейцев из кишлака зуни. Совершенно верно говорят американцы, что не только Нью-Йорк есть Америка, или — иначе — Америка не есть в Нью-Йорке. В Америке — просвещенность, свобода, все равны перед законом. А поэтому: индейцы не считаются американцами, индейцы не есть граждане USA, эти краснокожие, бывшие в Америке до американцев, должно быть за тысячелетия. Индеец лишь может стать гражданином USA, если он захочет зарегистрироваться таковым, подобно поляку, приехавшему из Лодзи. Там, где колонизовали Америку европейцы-северяне, саксы в первую очередь, индейцев нет. Говорят, что они вымерли. Правильнее сказать, что они вырезаны. Там, где колонизовали Америку испанцы, индейцы остались чистокровными иль образовали индее-европейскую смесь,

коею например являются мексиканцы. Испанцы ехали в Америку (Р. М. Бланк рассказал), говоря попросту, грабить,—и ехали без женщин, в расчете, понаграбив, вернуться домой. Они и грабили по мере сил. По мере надобности они приводили индейцев в христианское состояние. По мере темперамента они насильовали индианок. Они спешили, до индейцев им многих дел не было, — ни им, ни испанским королям, подкрепленным папами из Рима. И индейцы кое-как уцелели, через изнасилованных женщин обретая испанскую кровь. Англичане ехали иначе, англичане ехали с семьями, ехали в пуританском благочестии на вечное житие. Англичане ехали по бессловесному уговору всячески хорошо жить. И там, где есть англичане, индейцев — нет. Хорошая жизнь англичан оказалась более смертоносной для индейцев, чем насилия испанцев. Войны с индейцами были еще в прошлом веке и, если индейцы кое-где еще остались, то живут они в карантине, как в зоологическом саду, во имя всяческого американского равенства. Индейцы живут вроде музейных экспонатов, на доньях грэнд-кенъоновских наоборотов. Во всяком случае в USA имеется индейский департамент, который охраняет индейцев.

Ниагарский водопад американских воль — величественен.

Еще раз вспомним Павла Свиньина.

«...Между дикими, населяющими окрестности озер Онтарио и Эри, сохраняются многие странные и чудесные истории о водопаде Ниагарском.

Я упомяну здесь об одном истинном приключении. За несколько верст выше от водопада проходил Английский Матроз одного военного корабля и, увидя на берегу спящую прекрасную Индианку, вздумал ее похитить. Индианка проснувшись хотела скрыться в лодку, стоящую у берега, в которой спал ее муж, но Матроз успел, прежде нежели она исполнила свое намерение, отрезать веревку, которою лодка была привязана к дереву; она понеслась мгновенно по течению и скоро попала в быстрину...»

Индеец, совершенно естественно, погиб, разбитый водопадом. Экскарамзински пишет Павел Свиньин! — оказывается, глагол похитить можно употреблять в смысле изнасиловать — а все вместе это есть «странная и чудесная история», равно как и «истинное приключение». Эткими «приключениями» индейцы загнаны сейчас в зверинцы и танцуют, на подобие цыган, во утверждение своей экзотичности.

Я продолжу выписку из Павла Свиньина.

«...Индеец разбужен был колебанием лодки, схватил весло и с удивительною силою и искусством сделал оборот; но сила и искусство его были тщетны противу ярости волн. Увидя неизбежную смерть, он с удивительным хладнокровием положил весло, завернулся в кожу и опять лег в лодку, которая низверглась в пропасть и навек исчезла!» — —

Действительно, если в христианском рае проживают христиане, как заметил на костре мудрый касик Гэтуэй, то лучше в этот рай — не надо!

Об индейцах в Америке я слышал легенду от нескольких радикалов, которая, казалось бы, подтверждается фактами. Читатель знает, что десятая часть американского населения — негры — была привезена в Америку из Африки. Казалось бы, зачем колесить за рабами через океан, когда можно было б превратить в рабов индейцев!? — Радикалы утверждали мне, что индейцы не стали рабами, не подчинились белому человеку, не отдали ему своей свободы, эти Ястребиные Когти, умиравшие на Ниагарском водопаде, заворачиваясь в кожу с «удивительным хладнокровием». Легенда, что говорить, в порядке Майн-Рида. Но каким же образом при таких обстоятельствах теперь индейцы находятся в зверином состоянии зверинцев, и они — даже не американские граждане!? — Войны с индейцами закончились лет пятьдесят тому назад. Об индейцах много писалось, что они вымирают естественной смертью, подобно зырянам и самоедам при российских императорах. Имеются три цифры, которые любопытны; мне не очень ясно, каким образом возникла первая цифра, но, по логике вещей, она преуменьшена: в 1492 году индейцев было на нынешних землях Соединенных Штатов 846 тысяч человек, в 1789 году их осталось 76 тысяч человек, к 1930 году (когда за прошлый век их не так уж усердно резали) их стало 340.541 человек.

На дно Грэнд-Кеньона следовало опуститься для того, чтобы оттуда глазами индейцев глянуть на американцев. Ниагарский водопад действительно величественен! — индейцы ж похожи на кактусы с морского дна пустыни Аризона, если они — все же — живут, так же нереально, как нереальна кактусовая пустыня под горами Сиерра-Невада.

Америка — «страна великой демократии»! Исторический факт все же остается фактом: индейцы не были конституционными рабами, — рабами стали негры.

26

Кто знает в СССР о городе Дэллас в Южном Тэхасе (иль Тэхсэсе)? — Лет пятьдесят назад в этом степном городишке было тысяч десять жителей. Лет десять назад жителей было тысяч сто пятьдесят. Ныне — без малого триста. Этот город, о котором даже в Америке плохо знают, автомобилей имеет семьдесят с лишком тысяч, телефонов — шестьдесят пять с лишком тысяч, электрических счетчиков — шестьдесят с лишком тысяч. Новое строительство этого города за последние десять лет стоило триста двадцать с лишком миллионов. Банки в этом городе располагают четырьмястами миллионов долларов резервов. Последний просперитный год имел выпуск продукции в год на триста тридцать миллионов долларов и оптовый оборот — в миллиард шестьсот восемьдесят миллионов тех же долларов. На юг, юго-восток и на восток от этого города, упираясь в Мексиканский залив и в Атланти-

ческий океан, идут так называемые Южные, негрятянские Штаты. Прямо к северу от Дэлласа лежит штат Оклахома со штатным городом Оклахома-сити. Оклахома—это уже известный город, полезший в небо небоскребами и миллиардами. По геоэкономике этот город вроде нашего Днепропетровска: степь, хлеба и рядом с ними нефть, каменный уголь, индустрия, город заводов, шахт, нефтяных вышек, рабочих. И от Оклахома-сити на север и на северо-восток, до Чикаго, до Нью-Йорка—индустрия, индустрия, промышленность. Лет семьдесят тому назад, в дни гражданской войны, эти места были водоразделом Северных и Южных Штатов.

Штат Миссисипи— он весь в субтропических зарослях и заводах, во множестве рек и речушек, заросших лесом, где почти не видно человека и где величеству в ложе своей река Миссисипи. Леса, — чорт их знает, какие это деревья, — лианообразные ветви, поросшие седыми бородами мхов, спускаются до земли и путаются, и запутывают все, что под ними.

Штат Тэннеси поднялся от Миссисипи на пригорки. Это тот самый замечательный штат, где несколько лет назад суд постановил, что человек не происходит от обезьяны, присовокупив, что утверждение сего есть беззаконие, караемое тюрьмою.

Нью-Орлиенс — порт, торгующий хлопком, тростниковым сахаром и бананами. Этими торговлями он на первом месте в мире. Хлопок в Америке съедается сейчас не червем, но кризисом. Город в свое время

принадлежал французам, сюда бежали гугеноты, бежали враги, а потом друзья Наполеона. Из-под французской старины ползут американские небоскребы, заглушая узкие французские переулочки в решетках и жалюзи. Порт лег на Миссисипи, дымит, как все порты. Жилые переулочки тонут в цветах и проституции. Лавки завалились и развалились бананами, абрикосами, вишнями в грецкий орех величиной и прочими мне неизвестными фруктами, при чем бананы, оказывается, растут, выражаясь точно, на бревнах. Улица Лафайета заросла небоскребами и залита огнями не хуже нью-йоркских, и там падают огненные ниагары и танцуют огневые ню.

Итак, мы — в Южных Штатах, в землях негров. И в Дэлласе, и в Батон-Руже, и в Нью-Орленсе, в трамваях два отделения — для «колерных» и для «белых». На мелкокусочных полях среди лесов работают над хлопком негры. Белых, работавших на полях, я не видел. Белых, надсматривающих за работой негров, я видел многожды. Эти белые во всем белом — в белых шлемах, в белых крагах, и в руках у каждого из них — стэк. Во всех штатах, в штате Тэннеси особенно, до сих пор «работают» Ку-Клукс-Клан и суд Линча.

Ку-Клукс-Клан. В семидесятых годах прошлого века, после войны Северных и Южных Штатов, — по существу говоря, войны южного, беглого из Европы дворянско-земледельческого класса, напуганного европейскими революциями, с северной индустрией, тогда

уже народившейся, — войны, к слову сказать, начатой южанами, но не северянами, а стало быть возникшей никак не под лозунгом освобождения негров от рабства, разбитые Южные Штаты организовали тайное общество борьбы с неграми, названное Ку-Клукс-Клан. Членами этого общества были рабовладельцы. С позволения сказать, общество, считавшееся, как подобает, полумистическим и тайным, занималось «глупостями», как уверяют кое-какие историки, вроде пугания по полуночам негров белыми балахонами, при чем «глупостями» оказывались убийства негритянских общественных деятелей. «Общество» ставило своей целью доказательство замечательной истины о том, что белые превыше черных. Ку-Клукс-Клан изжил себя и помер было в середине девяностых годов прошлого века. В 1920 году, с началом сельскохозяйственного кризиса, Ку-Клукс-Клан возродился — в громчайших публицити, когда во всех одежных магазинах выставлены были ку-клукс-клановские балахоны, а по городам ездили комиссионеры с распродажей ку-клукс-клановских членских билетов. Ныне Ку-Клукс-Клан — организация уже не полумистическая, но просто фашистская, существующая для утверждения не только «белого» преимущества над неграми, но вообще белогвардейского преимущества, заботясь о бесправии всех «не-белых».

Суд Линча. Этот суд без суда, самосуд, который до суда никогда не доходит, ибо в этих самосудах принимает участие и полиция, ибо убитого (или убитых)

находят, но убийца не оказывается. Суд Линча «судит» только негров. Стандартным поводом для суда является утверждение белого, доказательств не требующее, что негр такой-то, кажется, покушался на честь троюродной бабушки или племянницы этого белого. Негра тогда избивают толпою. Это суд Линча. Негра тогда сажают на электрический стул. Это суд города Скоттсборо. Судить можно, как явствует по газетам, не только того, который «кажется», но и его соседа вместо него. Что касается покушения на «честь», к слову сказать, то каждый белый мужчина в Америке, склонный к распутству, негритянкою женскою «честью» обладал за два доллара. Негры ж мужчины американскими белыми «честями» обладают только в Париже. Со дней после войны повелся такой промысел, когда некие белые мерзавцы нанимают негров для мужской проституции. Эти негры обслуживают в Париже прирительных американских леди. Нанимают же негров американских потому, что они говорят по-английски.

Американские университеты и школы для белых — в садах, в свете, в солнце. Начальная школа — обязательно лучшее здание в поселке. Университет — не университет, а монастырское уединение для науки. Какое оборудование! — какие научные пособия! — Это, конечно, не мешает традиции, той, когда студента надо спрашивать не о том, на каком он факультете и прочее. Так вот, был я в сельскохозяйственном колледже одного из Южных Штатов. Колледж был для белых.

Какие аудитории! — какая библиотека! — лаборатории — столовая — гимнастический зал, — какие опытные поля!

Нас сопровождали два профессора. Эти ж профессора поехали с нами на соседнюю ферму, обрабатываемую «кропперами» — неграми-арендаторами.

Дорогой в деревьях подъехали мы к барскому дому в зарослях сада, этакому французского стиля «шато». Хозяин качался на террасе в качалке под зонтиком, в американском изобретении, курил сигару. Он надел белый шлем и пошел с нами, добродушный толстяк.

Он объяснил, что у него тысяча акров земли, а в природе кризис, хлопок не дает никакого профиту, он намерен изменить принципы своего хозяйства, собирается вместо хлопка образовать куро- и кролиководческую ферму. Но пока-что кризис есть кризис, он сеет попрежнему хлопок, и у него работает двадцать семей кропперов-негров, которые живут на его земле и в его домах, получают от него мула, семена хлопка, плуг и акры земли, — пашут, сеют, убирают, — и — отдают хозяину две трети урожая. Папаша-хозяин не утруждал негров продажей их трети — он ее продает за них. Он делает это заботливо и чистосердечно.

Папаша-хозяин сообщил, что иногда он прогуливается по полям, вроде случая с нами, да для того, чтобы посмотреть, хорошо ли работают негры. Я вспомнил мои ощущения в те минуты, когда я видел в полях надсмотрщиков.

И негры — работают! — Дети от пяти лет соби-

рают на полях хлопок. Женщины, из дружеских побуждений, стирают у папаши на кухне и подрезают цветочки в его саду. Папаша был человеком явно пикнического склада. Я попросил повести нас по негритянской деревушке. Папаша охотно согласился. Профессора засмутились, заверяли, что смотреть там нечего: негры, дескать, очень грязноплотны.

Сели на машины, поехали хлопковыми полями, приехали. Остановились около некоего деревянного ящика, оказавшегося негритянским домом, поистине «хижиной». Сделана была «хижина» из фанеры. Вместо окон воткнуты были картонки разных цветов. Против дома — глиняный чан с водой. К стене дома прилеплась дымовая труба. Над домом свисли ветви чудесного, мне неизвестного дерева.

Навстречу нам вышла древняя и глухая старуха. Папаша заприказывал ей тоном бога.

Профессора отошли в сторону. Старуха пребывала в беспрекословии. Хозяин желал зайти в свой собственный «дом». Вошли.

«Хижина» разделялась на два ящика. Оба ящика являлись спальнями с постелями без всякого постельного белья. В одном из ящиков, на земляном полу, было углубление очага, труба которого уходила в стену.

Я спросил, сколько человек здесь живет. — Папаша сообщил, что живет здесь пятеро взрослых, две семьи.

Я попросил показать другие дома. Папаша отсове-

товал, сказав чистосердечно, что жарко и все дома однотипны. Трещины в стенах дома замазаны были глиной. Глина была в грязи и копоты. Старуха была поистине в лохмотьях. Папаша предложил нам вернуться к нему, выпить сода-виски, — кризис, мол, кризисом, но виски для дорогих гостей у него всегда готово.

Мы поехали дальше, распрощавшись с пикническим папашей.

Я вызывал в профессорах инстинкты истинной учености. Они рассказали, что так именно живут 60—70 процентов черных кропперов, что прошлую зиму много кропперов померло в голоде. Молодой профессор впал в философическое настроение. Дескать, виноваты сами негры в своем свинском житии. Дескать, это почти не люди. Негры, дескать, все это находят нормальным, и все происходит от их нетрудолюбия, это их расовая особенность, — то, что они — полулюди.

Были мы в тот же самый день с теми же профессорами в негритянской школе. Опять фанерный ящик в одну единственную комнату, заставленную допотопными партами, сохранившими на себе многие поколения школьнических перочинных ножей. Кроме парт, в — нето в классе, нето в ящике — помещался стол для учительницы, пустой книжный шкаф и российская лет военного коммунизма буржуйка для зимнего отопления. На столе учительницы пылал яркий букет цветов. Детишки встали перед нами безмолвием.

В этом классе-ящике обучалось пятьдесят девять детишек, все возрасты вместе. Обучала их и все классы

сразу одна учительница, негритянка, конечно. На ногах учительницы были рваные чулки. Глаза учительницы были испуганы. Эта учительница имела высшее образование.

Мы отблагодарили профессоров, которые показывали нам замечательно оборудованный сельскохозяйственный институт.

Я был в другой американско-негритянской школе, около Нью-Орлеанс. Нас встретил учитель-негр. Я протянул ему руку. Учитель растерялся, он отдернул было свою руку, затем крепко и чуть-чуть истерически мою руку сжал обеими своими руками. Ему, учителю, в первый раз в жизни белый человек подал руку!

В Южных Штатах на меня напала малярия. Был однажды вечер, когда меня знобила лихорадка в удушьи субтропиков. Сумерки в субтропиках отсутствуют, день переходит там в ночь сразу. В тех при-миссисипских лесах по ночам путались понятия космоса, потому что звезд на земле оказывалось больше, чем в небе, даже субтропическом. Звезды на земле, на полях, между деревьями начинали иной раз походить на космический буран, на космические катастрофы, звезды летели миллиардами. Это летали светящиеся, как звезды, ночные насекомые. Мы ехали глухим проселком. Машину вел Исидор. Исидор сказал, что кончается бензин, мы завернули в негритянскую деревушку, убравшуюся под деревья. Негритянские хижины пребывали во мраке. К звездам неба, к звездам под

деревьями примешались красные огоньки очагов. Лихорадка ломала мне руки и ноги. Запахи субтропиков разламывали мой череп. Звезды на земле путали понятия космоса. Целую ночь, целую ночь напролет просидели мы тогда на бревнышке в этой негритянской деревушке. Целую ночь слушали мы, как пели негры хором. Мне думается, я никогда не слышал лучшего. Это пели те самые, которым белые не подают руки, которых белые оберегают Ку-Клукс-Кланом, но музыку которых, испохабив трактирами, виски и проституцией, выдают за свою национальную. Есть в России поэт, судьба которого предопределяет судьбу всей русской литературы. Имя этого поэта Александр Сергеевич Пушкин. Этого русского гения, Пушкина, почти не знают не-русские литературы, он не вошел, подобно Толстому и Достоевскому, в мировое искусство. В той негритянской школе, куда меня возили профессора из сельскохозяйственного колледжа, на стене я видел портрет Александра Сергеевича. Два народа в мире чтут Пушкина своим гением — русские и негры. И негры чтут Пушкина по праву: песни той ночи тому мне свидетель. Но Пушкину, если б он жил до сих пор и если б он сейчас приехал в Америку, — ему не подали б руки, потому что человек, имевший дедом негра, по американским понятиям, — не человек!

Радикалы из Нью-Йорка, которые чтут легенду о свободолюбии индейцев, верные заветам Авраама Линкольна, посылают в Южные Штаты желающих посмотреть безобразные отношения к неграм. Делают это

они зря, ибо в Нью-Йорке безобразий не меньше. В Нью-Йорке, в частности в гостинице Сент-Моритц, пришли ко мне коммунистические журналисты; среди них был негр-журналист. Администрация отказалась пустить его ко мне. Я заскандалил, намереваясь сейчас же выехать из гостиницы. Администрация объясняла, что не она, дескать, против, что, дескать, никто не будет жить в гостинице. Этот негр-журналист пробрался ко мне по черному лифту. Когда я жил в частном доме и у меня возникли друзья-негры, они — в Нью-Йорке — не приходили ко мне — писатели, артисты — потому, что они рисковали не получить лифта в «белом» доме, — а я был бессилен.

Какой талантливый, эмоциональный народ — негры! — Негры конечно отличаются от американцев именно своей эмоциональностью. И совершенно верно, что американский главный бог и ницшеанец — доллар — в понятиях негров не стоит ломаного гроша. Негры многожды клали свои судьбы на весы американской истории. Впервые негры были привезены американцами в 1619 году. Картина, изображающая этот эпизод, хранится в Филадельфии, в музее при «Доме Плотника». «Дом Плотника» — это тот дом, в котором 4 июля 1776 года Джорджем Вашингтоном была провозглашена независимость Соединенных Штатов. Негров привозили в обмен на ром. В 1713 году английская королева Анна торговлю рабами объявила своей монополией. Штат Вирджиния к тому времени сам уже занимался рабоводством. Декрет о королевской моно-

полии был одной из (не решающих, но тем не менее) каплей дегтя в медах английского королевства, побудившего американцев отложиться от Англии. Американский историк и государствовед, президент Вудро Вильсон утверждал, что Америка не знала феодальной и дворянской культуры, сразу начав свои судьбы буржуазной демократией. Наглядным тому доказательством является рабоводство, которое поставлено было научно, капиталистически, теоретизовано, как сейчас например теоретизованы свиноводческие фермы и убой свиней в Чикаго. Наука рабоводства была разработана научно. Она применялась в действительности на латифундиях английских дворян, бежавших из Англии от революции Кромвеля, и французских гугенотов, которые в свою очередь также наглядно доказывали отсутствие в Америке феодализма. Государственный историк и президент Вудро Вильсон рассказывал, что война Северных и Южных Штатов, формально начатая из-за принципов единства Штатов, по существу была войною за освобождение негров. Поэтому — исторические справки фактического порядка: войну начали не Северные Штаты, но Южные, расстреляв форт Сэмтер; форт Сэмтер был обстрелян 12 апреля 1861 года, — и только через два года гражданской войны, с 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном было отменено негровладельчество; война была закончена в 1864 году победой северян, — в дни, когда впервые был разбит главнокомандующий южных армий генерал Ли и когда сдался северянам

укрепленный город Висбург, одна из цитаделей южан, — в эти дни в тылу у северян широчайшей волной, начатой в Нью-Йорке, прошла волна мятежей, протестов против северян, демонстраций сочувствия южанам, — в Нью-Йорке, в частности, громили воинские комиссии и охотились за неграми, как за дикими собаками, сжигая целые кварталы. Это — факты. В этой войне капитализм и индустрия северян дралась с дворянским феодализмом юга.

Вудро Вильсон, историк, писал:

«...Замечательно, как мало мирный труд негров нарушен был критическими событиями того времени и отсутствием их господ. Как будто до сельских местностей не дошло и слуха об эмансипации. На поверхности народной жизни не было заметно ни малейшего отражения происходящей революции. С непоколебимым авторитетом царили в уединенных плантациях жены плантаторов в отсутствие своих супругов, сыновей и братьев, ушедших, стар и млад, на войну. Мирно и дружно продолжали толпы негров работать на полях, — пахать, сеять, жать, исполняя все приказы своих одиноких хозяек без усталости, с тихим усердием, даже с преданностью и привязанностью. Никаких волнений, никаких бунтов, никаких насилий. Как будто они не видели ничего несправедливого в своем положении и не ждали никаких перемен».

Странное дело, как это американский историк и президент не знает, а я, иностранец, знаю, что негры Северных Штатов обращались к Аврааму Линкольну с ходатайством принять их в армию, но президент отверг их ходатайство «с нравственным ужасом», как сообщалось в тогдашних газетах; как это историк забывал, что командный состав Северных армий относился к неграм не лучше, чем южане, и в цитадели северян, в дни побед северян, в Нью-Йорке, как только что было сказано, был негритянский погром? — историку неизвестны факты, известные мне, когда все же негры прикладывали свою руку, как это было в городах южан Бьюфор и Нэшвилль, уничтоженных неграми, при чем негры в свою очередь так же были уничтожены, как эти города? — Историк Вудро Вильсон был бы прав, если бы утвердил, что неграм не давали права принимать участие в войне, когда даже свободолюбивый президент Авраам Линкольн «с нравственным ужасом» пресекал эти права. И историк был бы прав, если бы сказал, с другой стороны, что негры не принимали участия в войне и потому, что они были забиты до собачьего состояния, поистине до состояния дворовых собак.

От дней гражданской войны до 31-го года прошло без малого семьдесят лет, охраненных Ку-Клукс-Кланом, — и я встретил учителя-негра, которому я — первый не-негр — подал руку. Американцы из Ку-Клукс-Клана будут утверждать, что негры — вообще не люди. Американцы даже в Нью-Йорке ставят

негров в полусобачьё положение. Негры — семьдесят пять лет назад — были освобождены от рабства так же, как если бы хозяин прогнал со двора собаку. Как живет масса негров — рассказано. Негры были освобождены со стопроцентностью безграмотности.

За семьдесят пять лет негры, даже кропперы Южных Штатов, сумели создать свою интеллигенцию, литературу, театр, адвокатов, врачей, инженеров. Белые ничего не делали для негров! Пушкину, если б он был жив и сейчас приехал в Нью-Йорк, ему б не подавали руки. Та ночь, которую я прослушал в негритянских песнях, когда на земле был звездный буран и земля пахла субтропиками, — такие ночи перенесены в Нью-Йорк, в Гарлэм, в этот чудесный и фантастический город негров в Нью-Йорке, который живет ночами и непонятно, когда спит, в музыке, веселии, смехе, песнях, танцах. Не знаю, расового порядка иль исторического, в порядке социальных законов иль биологических, но негры действительно имеют отличия от американских белых: — я сказал бы — своею гуманитарной одаренностью. Каждый негр — музыкален, в первую очередь. Главный американский бог и нищеванец — доллар — никак не дороже часа хорошей музыки, замусоленных страничек негритянского журнала, хорошего танца, хорошего разговора с приятелем, — так есть для негра, и это непонятно для американца. И Гарлэм, не такой уж многоэтажный, как остальной Нью-Йорк, и не столь уж залитый по переулочкам светом, — поет, хохочет, веселится, дымит сигаретами.

Я бывал у молодого драматурга Регины Анжул, ее пьеса шла в одном из гарлэмских театров, ее муж был адвокатом. Она все же, несмотря на то, что пьесы ее шли, потому что пьесы ее шли в молодом, новаторствующем театре, — служила — в даун-тауне, сиречь в городе белых, в нью-йоркском сити—библиотекаршей. Когда я приехал к ней впервые, она, ее муж и их приятели играли около дома в мяч, стоя четырехугольником и бросая мяч друг другу. Когда я приезжал к ним, всегда повторялись традиции русского студенчества годов до тысяча девятьсот пятого. Люди оказывались на столах, на корточках у дверей, — за теснотою и за отсутствием чопорности. И разговоры были студенческими поистине. И какой это веселый, приветливый, товарищеский народ — негры! И безалаберный народ, потому что — тот-то забыл, этот опоздал, тот двое суток просидел у товарища, увлекшись книгой и отложив ради нее все прочее на свете. Это был уже круг дружбы, в котором нас, «белых», было трое. Ко мне, к стыду моему, мой друзья-негры не приходили, — мы встречались или в Гарлэме или в Гринвич-виллидж у Элен Винэр, журналистки. У Винэр можно было не застать хозяйку дома, но найти Волтэра и Томаса, двух неразлучных друзей, актера и поэта, негров, с книгами и журналами (они — новаторы, они — Маяковский и Мейерхольд в молодости!). И дела у них: — надо переварить Джемса Джойса, ассимилировав его в негритянской литературе, — надо уничтожить врага такого-то, написав в своем журнале искусств и лите-

ратуры памфлет и манифест одновременно, — надо выяснить точку зрения по поводу своего молодого поэта такого-то, который в поэзию переносит принципы «первоначальных ощущений» Марселя Пруста и хочет одновременно быть революционером. Быть же революционером, это — быть коммунистом. Быть коммунистом, это — в частности, выработать мораль, это — выработать принципы и правила поведения и правила отношения к людям. Это: часами решать, останутся иль не останутся при коммунизме, когда коммунизм пройдет по всему миру, останутся иль не останутся тогда негодяи?! — Дел очень много! — Но, если вы оказались в Гарлэме, где-нибудь в подвале иль во дворе под открытым небом ресторанчика, — тогда почему не натанцоваться вдосталь и не попеть!? — и почему не развезжаться потом по домам десятью человеками на четырехместной машине?

Деды Регины Анжул, Волтэра и Томаса — были рабами. Белые и теперь не подают им руки. Негры многожды клали свои судьбы на весы американской истории. Негритянская интеллигенция мне кажется интеллигенцией порядка не американского, но европейского. Ну, а если эта интеллигенция окажется в Америке — не негритянской, но — в городе Дэлласе столько-то электрических счетчиков, столько-то телефонов и автомобилей; на заводах в городе Дэлласе работают негры и на плантациях вокруг города Дэлласа живут кропперы — — десять процентов всех американских рабочих — негры — совершенно естественно, что

«белую работу делает белый, черную работу — черный» (Маяковский).

Однажды, в 1928 году, негритянская рабочая лига в городе Милвоки пригласила на свою конференцию для создания единого фронта милвокскую организацию социалистической партии. «Социалисты» ответили отказом, сообщив негритянской рабочей лиге, что движение негров не есть рабочее движение, но — расовое.

В Нью-Йорке ж, если вы захотите найти американский антиквариат, предметы искусства, то в сему соответствующих лавочках, в Гринвич-виллидже, вам покажут индейские ковры и индейские вазы. Если ж вы заинтересуетесь национальным американским танцем, национальной американской музыкой, вам покажут фокс и джаз, сексафоны, укулели и банджо.

Итак: Америка — «великая» «демократия», страна равенства национальностей. просвещенность и закон! — —

27

От золотомойных заводов в Скалистых горах (которые сейчас молчат), — от города Кингмана в тех же горах, через степные штаты (где хлеба, хлеба, хлеба, элеваторы на горизонте, силосные башни, ветряные водокачки, невероятных конструкций и сооружений сельскохозяйственные машины, длинноухие мулы да степь, как скатерть), через города Албукерк, Дэллас, Ритлидж, от города Батон-Ружа через Вашингтон до Бостона, до самой северо-восточной точки USA — я

видел одно и то же. Я видел это во всей Америке. Это в Калифорнии и штате Юта. Это в штате Мичиган, около Великих озер. Это в штате Флорида. Это в штате Коннектикут. Это — больше национального флага, того, который, как известно, состоит из звезд и матрасной материи. Но это — под национальным флагом. Это, должно быть, сильнее всех вместе взятых американских автомобильных и прочих двигательных сил. Это: —

о-б-ы-в-а-т-е-л-ь!

Я понял это в городе Кингмане, который находится на Диком Западе в Черных горах, в тех самых золото-серебряномойных местах, которые окутаны романтикой романов о золотых приисках, о диких мустангах и ковбоях. Мы ночевали в том городе в отеле Коммершэл, где я писал на моей машинке, сдвинув кровати, сидя на одной из них и машинку положив на другую. В этом городе было всего две улицы, пересекавшие друг друга крестообразно. Жизнь происходила на перекрестке. Ресторацию содержал китаец, который в Америке повторил анекдот Алексея Толстого о том, что: «что, мол, у вас имеется? — все у нас имеется! — а такое-то у вас имеется? — этого у нас не имеется. — А что у вас имеется? — все у нас имеется! — а такое-то у вас имеется? — этого у нас не имеется!» — и так далее до бесконечности и до бифштекса. Самое большое здание на перекрестке — кино. Против кино — аптека, в окне которой выставлены открытки, швейные машины и рефрижератор. На улице — ни одной лоша-

ди, но против палисадов стоят автомобили, на скамеечках у калиток сидят вечерние собеседники. Около кино толпится десятка полтора людей всех возрастов, предпочтительно парами. Они слушают излияния киноактеров, слышных на улице, ибо кино — говорящее. А за сим — все мертво, и город, и моя гостиница, и горы вокруг. До десяти часов слышны были разговоры около палисадов. После десяти все умерло до гла, вместе с кино. Я ходил по улочке от гостиницы до кино и делал открытия. В аптечном окне, кроме рефрижераторов и открыток, выставлены были брелоки для часов. Я купил себе брелок и открытку. На раскрашенной фотографии за столом сидел молодой человек с усиками и с поднятыми вверх глазами, в раскрашенном костюме, сшитом у среднечастотного портного. Этот раскрашенный молодой человек с открытки курил, и из раскрашенного дыма его папиросы возникали женские качества и женская головка. Молодой человек смотрел в объектив фотоаппарата. Называлась эта открытка — «амор мио» — моя любовь. Я долго любовался этой открыткой и внимательнейше рассматривал брелок, подкову семейного счастья. Батюшки мои! — ведь я же знал, глядя на эти брелоки, какой суп был сегодня вот в том доме за палисадом и в этом без палисада! — Батюшки мои! — ведь я все это знаю очень давно! — ведь это ж не город Кингман в Америке, а город Катриненштадт за Волгой, город немецко-колонистов Поволжья дней дореволюции и моего детства! — ведь это ж Баронск (он же

Катриненштадт), родина моего отца, где в 1931 году умерла моя бабушка фрау Анна Вогау, чистокровная немка, русская в такой же мере, как она была б американкой! Мои предки—немцы—пришли в Россию, в За-волжье, при Екатерине Второй, после Семилетней вой-ны в Германии, тогда же, когда, так же после этой Семилетней войны, волны европейцев уходили в Аме-рику. Я смотрел на брелоки в окне аптеки города Кингмана, такие же брелоки я видел в детстве, в ма-газине Карлэ в Катриненштадте, — и я знал: завтра в половине седьмого утра пробьет тощеголосый колокол на церкви, и вся колония сядет за свои столы пи-таться, — к рождеству папа-Джон подарит сыну-Джеку брелок к часам, — а на той неделе у своячени-цы судьбы был понос, потому что она после компота из бананов выпила стакан холодного молока!.. В двенад-цать соборный колокол пробьет полдни, и вся коло-ния четверть первого сядет за обед. И жена колесника сообщит мужу, что жена мэра купила себе сегодня две курицы. А жена мэра передаст по секрету мужу, что заводчик Теодор Бэккер опять был в кино с женой управляющего банковской конторой, — не быть доб-ру!.. В половине седьмого вечера соборный колокол тощим своим звоном возвестит вечер, вся колония будет ужинать. И после ужина колесник пойдет к ка-литке бондаря выкурить трубку отдыха и поговорить о том, что дела плохи. Жена мэра остановит на минут-ку свою машину против окон дома управляющего бан-кирской конторой и обсудит с женой управляющего

вчерашнюю кинокартину, присовокупив невзначай, что дела заводчика Бэккера, кажется, в связи с кризисом, не очень хороши, впрочем сам мистер Бэккер очень приятен, и не зайдет ли миссис жена управляющего конторой послезавтра к пятичасовому чаю, когда будет и заводчик Бэккер.

Мещанин, обыватель, мелкий буржуа! — Это он уселся за стандартами американского благополучия и за национальным флагом, состоящим из звезд и матрасного типа материи. Он всюду — в Калифорнии, в Юта, в Оклахома, в Ричмонде, в Бронксе и Бруклине, в Бостоне. Это он написал при въездах в города остроты для едущих на автомобилях, вроде следующей, написанной при въезде в один из городов Тэксеса:

«Добро пожаловать! Если вы хотите узнать прелести нашего города, вы будете ехать по всем правилам автомобильной езды! Если вы хотите ознакомиться с недостатками нашей тюрьмы, вы будете нарушать наши правила автомобильной езды!

Мэри я».

Это он свел нас с женщиной в Бронкском парке, которая недоумевала, почему от нее ушел муж, когда она никогда не пила и не курила и была верной христианкой. Это он — обыватель, мещанин, мелкий буржуа, потребитель американской кинопромышленности, третьей американской индустрии, по поводу кото-

рой острят, что, если бы у американского рабочего не было б лишних десяти центов на кино, в Америке давно был бы уже социализм и не было б бандитизма.

Обыватель! — мещанин! — да, это самая большая Америка, которую я нашел в моих поисках Америки по предложению тех, которые говорили, что Нью-Йорк — не Америка. Это та самая Америка всяческих «мидл'ей» и «мэйнстритов» — средин — обывателя, знающего, что на обед у соседа, читающего или утверждающего, что он каждый день читает библию. Не случайно по всей Америке, во всей Америке нет ни одного гостиничного номера, где не лежала бы у ночного столика библия! — Это Америка мелкогрешащего, мелкожульничающего читателя библии и заповедей американского пионерства, отца семейства в джемпере, вязания его старшей дочери, сына с брелочными часами. Обыватель! — мещанин! — его гениально описал Синклер Льюис, этого американского обывателя. Он интернационален, этот обыватель. Читатель СССР знает о нем по громадной европейской литературе, которая проливали свои чернила на эту обывательскую воблу. Этот обыватель страшен, оболваненный под колодку воблы парикмахерскими бога, стандартов, полузнайства, мелкой сытости, мелких инстинктов, мелкого довольства, — и этому обывателю самому страшно, ибо за вобельными парикмахерскими стандартов он один, одинок в этой громадной стране одиночества, «индивидуальной» анархии конвейеров, которые называются Америкой.

Этот обыватель охранен стандартами американской «демократии», легендами об индивидуальной свободе, мечтами оказаться в миллионерах, страхом и храбростью одиночества, сытым здоровьем.

Еженедельник «Либерти», крупнейший в Америке, издающийся в Нью-Йорке, проделал однажды трюк, которым он хотел узнать американскую честность. Ста американцам — пяти конгрессмэнам, пяти епископам, пяти фабрикантам, пяти лавочникам, фермерам, рабочим и так далее — редакция разослала конверты с пятью долларами в каждом. Я сейчас сознательно на ряду с редакцией рабочих ставлю на последнее место. Делалось все это конспиративно. Письма были разосланы по точным адресам. Конгрессмэны получили эти письма прямо в руки, помимо секретарей. Каждое письмо было составлено так, что получивший его и получивший стало быть доллары видел, что письмо и доллары присланы ему по ошибке. В каждом письме был обратный адрес, по коему можно было бы вернуть эти доллары. Конгрессмэнам в частности писалось: «Многоуважаемый такой-то — полное имя — на прошлой неделе вы мне, бедному человеку, помогли в дороге расплатиться за ремонт автомобиля, а поэтому возвращаю», и прочее. Конгрессмэн в это самое число управлял государством. Редакция возвращением этих неправильно засланных пяти долларов намеревалась обследовать американскую честность, расписав ее на страницах своего журнала. На страницах «Либерти» никогда ни слова до сих пор не появилось об этих яко-

бы ошибочно посланных долларах. Из ста человек только трое вернули свои пятерки. Это были — двое рабочих и один провинциальный мелкий лавочник. В порядке американской честности рабочие оказались... на последнем месте!

В походе своем через Америку, естественное дело, я перебивал в нескольких десятках почтовых и телеграфных контор. Телеграф в Америке — предприятие частное, конкурируют две компании. Но дело не в телеграфе, при помощи которого — телеграфом — можно пересылать из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк почтаемым дамам и родителям к празднику цветы и галстуки, — пересылаются в таких случаях телеграфом не галстуки конечно и не цветы, но их фотографии. Дело в том, что в каждой почтовой конторе есть витрина, где в фас и в профиль помещены фотографии людей, которых излавливает полиция, федеральная в равной мере как и штатная, и под фотографиями, — надписи, что пойманному — премии во столько-то долларов, от сотен до тысяч, в зависимости от преступлений тех, кого ловит полиция.

В походе своем через Америку, естественное дело, я видел множество провинциальных городов. Все они построены по стандарту. В центре — деловая часть — два или три небоскреба, автомобильные магазины, кино, банки, бензинное удушьё, шум и теснота. Это называется — бизнес-секция. Вокруг же этой секции — двухэтажные коттеджики в цветниках и под деревья-

ми, с террасами на улицы, с качалками на тротуаре, в мешанской, так скажем, уютности трафарета.

28

Так мы приехали в некоторую скалистую местность, называемую Нью-Йорком, где скалами в небо торчат небоскребы. В иных местах в природе у нас такие места есть в Сибири, земля выпирает наружу залежами, хранящими в себе гелиевы, ураниевы, радиевые соли. Там ничего не живет, — ни травинка, ни зверь, ни птица, убитые альфа-бэта-гамма-лучами радия. Там зимой тает снег, там смерть. На самом деле, представить бы себе на минуту, что человек покинул Нью-Йорк, но Нью-Йорк живет так, как живет при человеке, — ни единый зверь, ни единый волк не пойдет в эту скалистую местность, скалистую и изрытую пещерами, такими большими, что эти пещеры идут под Гудзоном, — в эту местность, задохшуюся бензином, без единой травинки на бетоне и железе. Волку страшно на этих камнях. Волку душно будет от бензинового и каменноугольного удушья. Нервы волка расстроются от грохота города и от миллионов тех радиоволн, длинных и коротких, которые опутывают город, проникая через все, опутывают рекламой, музыкой, речами президента Гувера ю проспекти. У волка, чего доброго, случится медвежья болезнь от всех событий этой скалистой противоестественной местности, расположенной на индейском острове Манхэттене!

Волк, надо полагать, подерет от этих местностей, что есть духу, из конца в конец Америки, просигнет единым махом через Канаду, окажется, с языком за ухом, в Аляске. Но в Аляске волк встретит быт и обычаи, описанные Джеком Лондоном и исправленные О'Генри.

В Нью-Йорке однажды вечером мы с Джо ехали по Шестой авеню, намереваясь проехать в Гринвич-виллидж, в нью-йоркский квартал антиквариата, искусства и богемы, на свидание с Майклом Голдом. Я вел машину по всем американским правилам, шел с нормальной скоростью, против зеленого света. Шестая авеню — эта ужаснейшая улица бензинного удушья — улица, как известно, двухэтажная. По второму этажу мчит воздушная дорога. Второй этаж опирается на первый шеренгой колонн. Улицы людям следует переходить в Нью-Йорке только на углах и только по зеленому свету. Из-за колонны, никак не на углу, вышла женщина, в двух шагах от фар моего автомобиля. Она шла против красного света. Я загудел. Женщина не слыхала. Все это произошло моментально. Я бросил машину и бросился помогать женщине. Я ж отвез ее в больницу. У нее были сломаны правая рука и ключица, лицом она ударилась о фонарь, и стекла фонаря изорвали её лицо в клочья. Женщине было шестьдесят восемь лет, и она была глуха. Она не слышала моего гудка. Надо ж было быть такому! — я прожил империалистическую войну, революцию, гражданскую войну, исколесил все северное полушарие земного шара,

не причинив никому ни одного синяка, — а тут, на Шестой аллее — —

Доктор, который делал перевязки женщине и исследовал ранения, приходил каждые две минуты и общал:

— Сломана ключица.

— Сломана правая рука.

— Сейчас рентгенизировали череп, череп цел.

— Сейчас исследуем ноги.

Доктор сообщил, что он любил такие-то сигары — я послал за сигарами. Когда я, вместе с полицейскими, уезжал в полицию, доктор подставил свою руку, измазанную в крови, к моим глазам и стал большим пальцем быстро тереть по пальцам безымянному, среднему и указательному, — я дал ему денег. Полицейские были возмущены.

В полиции разбирали мой «эксидэнт», как там говорят по поводу автомобильных аварий. вернули мне мои автомобильные документы и сказали, как сообщалось уже, истинно по-американски:

— Мистер Пильняк раздавил леди по всем правилам, виновата в эксидэнте леди, а поэтому мистер Пильняк может требовать с леди стоимость разбитого об ее голову фонаря.

Меня отпустили с миром и веселыми шутками. Один из полицейских попросил довести его до поста и стал на подножку машины. Когда мы прощались, он проделал перед моим носом тот же самый жест, что и доктор.

Управлять автомобилем я научился главным образом в походе через Америку, и «лайсенс» — документ на право управления машиной — получал в Нью-Йорке. Собравшись обзавестись этим документом, я спросил, как это делается. Знатоки спросили меня в свою очередь, — хочу ли я сдавать экзамен на самом деле или хочу получить документ без экзамена? — Здание самоуправления города Нью-Йорка — сити-холл — здание величественное, со многими входами, и входы эти подперты колоннами эллинских традиций, равно как традициями не республиканской партии Гувера, но партии демократической. Так вот как раз против того входа, коим надо входить в отдел, где получают лайсенсы, — с угла на угол, — помещается веселая лавочка, она и автомобильная школа, она и фотоателье, где в пять минут можно заполучить фотографию для лайсенса. Она и контора для поручений по всяким автомобильно-лайсенсным делам. Можно притти в эту лавочку, выпить там кока-кола, взвеситься, отмерить рост, проверить зрение, заполнить бланки, сфотографироваться, уплатить двадцать пять долларов, поехать к себе домой и — получить по почте, без всякого экзамена и без хождений в мэрию, автомобильные документы, удостоверяющие, что ты есть драйвер, сиречь шофер, хотя ты можешь автомобилем и не управлять. В лавочку эту я ходил в любопытстве и всему вышеписанному — свидетель. Но платить четвертого я не находил нужным и поэтому держал экзамен, уплатив взяткою только лишь пятерку, — ту самую

пятерку, которую платит каждый американец: эта взятко-пятерка превратилась в силу своей массовости из взятки в чаевые экзаменатору.

В тот вечер, когда я раздавил женщину, до Гринвич-виллидж мы не доехали. А там американские писатели пьют водку. В Америке — прохибишен — сухой закон, — не какой-нибудь пустяковый закон, а такой, который внесен в заповеди американской конституции. Поэтому раза два приходилось мне, иностранцу, в незнакомых местах обращаться к полисмену и больше жестами, чем словами, объяснять, что мне с моими друзьями следует выпить. Полисмены во всех этих случаях отвечали одинаково:

— О-кэй, бой! — о-кэй, парень! — это, бессомненно, очень просто. За углом, второе крыльцо. Скажи, что тебя прислал полицейский Чарли! Цюр!

Брат одного моего приятеля-журналиста, выходец из западных российско-царских губерний, открыл было в Нью-Йорке канонно-еврейский ресторан с различными фаршированными щуками, с обескровленными курицами, и — без алкоголя. Через месяц этот ресторано-владелец вынужден был взять бандитско-бутлегерский патент на алкогольную торговлю: различные инспекции и полиция его доняли штрафами, — за безалкогольность, должно быть. Не-американскому слушателю эта моя последняя фраза должна, должно быть, показаться бредом. Действительно, бред — и тем не менее — факт! — человек поступал по законам,

и полиция, охраняющая законы, заставила его эти законы нарушить. Факт — американский.

Дела ж такого порядка — дела размаха американского. Выше говорилось о разнообразии американских ресторанов, и, кроме причин сытости, указывались две причины — национальная и алкогольная. Об алкогольной причине говорится сейчас. Действительно, разнообразие невероятное, никак не стандартное, — мексиканские трактиры с токилло, итальянские с кьянти, французские с бордо, японские с сакэ, шведские с ромом, китайские с ханшином, английские с джином и виски, русские с водкой, немецкие с пивом, — от миллиардерских роскошей до нищеты портовых притонов. В иных местах питухи сидят в старых ореховых стойлицах немецких традиций. В других — по-итальянско-испански — пьют из бочек и на бочках. Такие учреждения называются «спик изи» — «говори тихо», но шуметь в них можно по мере выпитого алкоголя. Это на континенте, но вокруг Америки на морях выросло целое государство вне государств — в двенадцати милях от американских берегов. Воды морей и океанов являются, как известно, нейтральными. За пределами двадцатимильной полосы на морях действуют международные — или никакие не действуют — законы. И в двенадцати милях от берегов Америки разноцветной гирляндой стали на якоря корабли, превращенные в пловучие распойные дома, где пьют, играют в карты и наслаждаются денежным соитием полов. Канада за реками и озерами против Ниагарского водопада, про-

тив Детройта, Чикаго — также в гирляндах ресторанов. Из Лос-Анжелеса ежевечерне автомобили мчат в Мексику, на мексиканскую границу. Мексиканская деревушка Тиауна была просто нищей деревушкой. Она ею и осталась. Но рядом с нею и под ее именем возникли горбы ресторанов — горбы и гробы.

Бизнес размахов грандиозных, американских!

Несколькими ж фразами выше сказано — «бандитско-бутлегерский патент», — сказано совершенно точно, без всяких образований. Сложнейшая система, государство в государстве, армии людей, свои флотилии, свои короли, свои солдаты, свои пулеметы и пушки.

Рассказано выше, что банкир Z хотел познакомить меня с Алом Капоном. Ал Капон не мог принять меня в тот день, когда я был в Чикаго, ибо он был занят на выборах.

Ал Капон — бандитский король. Он дает интервью журналистам, в коих указывает, как надлежит произносить его фамилию — Капон, а не Капонэ и не Капони, ибо е на конце его фамилии — е мертвое. В одном из последних своих интервью он высказывался против коммунизма в СССР, призывая за собою своих последователей. Он ездил по Чикаго в блиндированном автомобиле, с мотоциклистами охраны. Если ему нужно было убраться от нежелательных ему людей, — его молодцы убивали их не при помощи устарелых револьверов, но пулеметами. Однажды так Ал Капон расстрелял (человеческая жизнь у молод-

цов Ала Капона расценивается от двадцати пяти долларов и выше), — однажды Ал Капон расстрелял — днем, в гараже на люднейшей улице шестерых ему непокорных сразу, при чем расстрельщики были одеты в полицейскую форму, и до сих пор неизвестно, то ли расстрельщики были переодеты, то ли носили форму по праву. Жизнь человека расценивается от двадцати пяти долларов и выше, но, если Ал Капон случайно подстреливает — шальнойю пулеметной пулей — посторонних, он шлет наследникам от тысячи до десяти тысяч долларов и венки на гроб. Ал Капон живет и работает точь-в-точь так, как это показывается в голливудских бандитских фильмах. Под озером Мичиган у Ала Капона была проложена труба, своего рода канализация, коя конвейером перекачивала из Канады в Северные Штаты виски. Ал Капон выбирал губернаторов штата Иллинойс и мэров города Чикаго. Ал Капон не бывал на приемах президента, но его друг и ставленник, мэр города Чикаго мистер Вильям Томпсон, по прозвищу «Большой Билль», у президентов в гостях бывал.

Ал Капон сделал ошибку, не приняв меня: на этих выборах ставленник Ала Капона мистер Вильям Томпсон, по прозвищу «Большой Билль», провалился. Победил другой бандит. Ал Капон наказал Чикаго строжайше: он обанкротил самоуправление города Чикаго. Тогда чикагские власти привлекли Ала Капона к суду. Но привлечь Ала Капона к суду в качестве бандита чикагский суд не осмелился. Капон был привлечен

как рантье, который не уплатил подоходного налога. Откуда у Ала Капона доходы, — это не интересовало суд. Ему предъявили миллионы. Ал Капон пришел на суд в качестве пострадавшей овцы. Журналисты гнали телеграммы и радио, и газеты сообщали, что мистер Ал Капон в неуплате подоходного налога виновным себя — признал. Но дел своих не покинул. В Нью-Йорке проживал бывший друг Ала Капона бандит Дэймонд, по прозвищу «Длинноногий». Дэймонд командовал пивным трестом Восточных Штатов. Дэймонда двадцать восемь раз судили за убийства — и двадцать восемь раз оправдывали. Несколько лет назад Ал Капон оповестил мир, что Дэймонд, по прозвищу «Длинноногий», не отдал Алу Капону семидесяти пяти тысяч долларов, данных Дэймонду для поездки в Монте-Карло. Летом 1931 г. в Дэймонда стреляли неизвестные люди. Это было в фешенебельнейшей нью-йоркской гостинице. Дэймонд был изранен, остался жив и стрелявших в него опознать отказался, — совсем как в кино. Стрелявшие найдены не были. В декабре 1931 года Дэймонда в бесчетный раз судили. Суд происходил в Облани, в штатном городе штата Нью-Йорк. Штатный республиканский суд в бесчетный раз оправдал Дэймонда, по прозвищу «Длинноногий». Друзья Дэймонда «построили» в его честь — в ночь после суда — банкет. В пять часов утра в номер гостиницы, где банкетировали бандиты, ворвались шестеро. Четверо из них стреляли в Дэймонда. Дэймонд, по прозвищу «Длинноногий», убит.

Убит Дэймонд, по сведениям знатоков, молодцами Ала Капона. Ал Капон пока подтвердительного «стейтмэнта» не дал.

Проживает в городе Гопуэл Чарлз Линдберг, знаменитый пилот, американский герой, перелетевший Атлантический океан. Женат он на дочери сенатора Морроу, недавнего покорителя Мексики. У Линдбергов родился сын, первый их ребенок. В марте 1932 года этого полторалетнего ребенка украли. Укравшие прислали письмо, где требовали пятьдесят тысяч долларов выкупа. Линдберг — национальный герой. Он сообщил полиции о краже ребенка. Газеты загремели сенсацией. Было по этому поводу заседание кабинета министров. А ребенок — исчез. Линдберг, который отказался дать пятьдесят тысяч долларов, напечатал в газетах, что он даст полтора ста тысяч долларов, если ему ребенка вернут. Кабинет министров заседал. Газеты неистовствовали. Полиция валилась с ног. А ребенка — не было. Ал Капон напечатал в газетах, что, во-первых, он даст нашедшему двести тысяч долларов, а во-вторых, если ему поручат, берется найти ребенка.

Ал Капон — большой человек! — у него в руках была алкогольная монополия на Средний Запад, у него в рабстве были десятки притонов-трактиров и притонов-публичных домов. Все это не только было, но и есть, судя по делам Дэймонда и Линдберга, несмотря на суды самого Ала Капона. Ал Капон — не один, он любит лишь популярность, но пока памятника ему

не поставили. В Детройте же имеется памятник мистери Скотту, не менее поучительный, чем заводы Форда, Паккарда и «Дженерэл-Моторс-компани». Памятник этот стоит по соседству с памятником Шиллеру. Над памятником развевается американский флаг. Мистер Скотт был бутлегером и притоносодержателем. За часы его проституток, растасканных по коленам его гостей, и за стаканы виски мистер Скотт скопил миллионы. Умирая, он завещал городу Детроиту миллион долларов с тем, что часть этих денег потрачена будет на монумент, увековечивающий память мистера Скотта. Памятник мистеру Скотту поставлен. Над памятником реет американский флаг. У Ала Капона памятника еще не имеется.

Исследователь американско-бандитских дел К. пишет, что вопрос об отмене «сухого» закона поднимается в Америке на каждом новых выборах, на каждом открытии сессий штатных и федерального конгрессов. Сухой закон сверху донизу, вдоль и поперек пронизал Америку бандитизмом. Исследователь К. пишет, лирически конечно:

«Сухой закон существует 11 лет. За это время народились сильнейшие организации, имеющие в своих руках пружины, регулирующие движение отдельных влиятельных групп среди демократов, так и республиканцев. Неограниченные денежные средства, возможность выдвигать своих людей на крупные муниципальные и федераль-

ные посты, система безнаказанных убийств — вот, чем располагают эти организации. Мы говорим о бутлегерах».

Так пишет исследователь К. Он дает также объяснение, почему сухой закон не отменен, — он констатирует:

«В контрабандскую торговлю спиртными напитками с момента введения сухого закона перешли убийцы, взломщики и «политики». Сотни тысяч людей занимаются этой профессией. Америка платит им налоги, Америка содержит их в истинно королевской роскоши. Если упразднить сухой закон, то через 24 часа эта безработная армия, то-есть сами бандиты и часть кадров полиции, займется основным своим ремеслом, от которого она частично отказалась за время бутлегерства. Сейфы будут вскрыты. Радикальная отмена сухого закона несет с собой призрак убийств и грабежей».

Совсем как в голливудском кино, где добродетель обязательно торжествует!

Примеров и историй можно рассказать множество. Бандиты и муниципалитеты живут в содружестве. Ал Люэн был прав, когда сказал мне, что обмануть историю и власть есть бизнес и вещь, по американским понятиям, моральная. Впрочем история здесь не обманывается. В Нью-Йорке, в частности, бандиты бан-

дитствуют, начиная только с 14-ой стрит. На первых улицах, включая четырнадцатую, можно жить спокойно: там находятся банки. Или там тоже грабительствуют?

В Нью-Йорке в частности, когда я приехал, в день моего приезда в Сентрэл-парке нашли убитую женщину с веревкой на шее. Эта женщина за сутки до смерти пришла в следственную комиссию, приехавшую из Вашингтона, и указала на людей, на организацию, состоявшую из судей, полиции и бандитов, которые имели бизнес, учиняя его пуританскими американскими законами о браке и нравственности. Делалось это несколькими способами. Иной раз соблюдалась проформа, — то-есть некоторый мерзавец, по аналогии с чикагскими военными боровыми, начинал ухаживать за женщиной, назначал свидания, зазывал к себе, приходил к ней. В минуты, когда женщина, должно быть, любила, появлялась полиция нравов, — и: — или суд, скандал, опороченное имя, или — плати доллары! — Не в американском кино, но в действительности имеются — частная полиция и частные сыскные, шпионские конторы, работающие не только на Америку, — крупнейшие из них Бернса и Пинкертон. Иной раз любовники выслеживались этой полицией, — опять полиция нравов, — опять — или суд, или деньги. А иной раз просто требовались деньги. Иной раз денег у женщин не было. Иной раз женщины не были повинны даже в любви. Иной раз их судили, об этом печаталось в газетах, женщин обвиняли в проститу-

ции и — повинных только в любви или неповинных даже в этом — ссылали в тюрьмы на исправление. Та женщина, которую нашли в день моего приезда с веревкой на шее, пришла — к суду же! — чтобы рассказать, как она, ни в чем неповинная, три года просидела в тюрьме. Суд отложил ее допрос на завтра. Ночью она была убита. Это было в Нью-Йорке.

Банкир Z, по мощи равный английскому королю, имеет телефонную связь с Капоном. Капон «выбирал» в мэры Чикаго своего друга мистера Вильяма Томпсона, «Большого Билля» по прозвищу. Чикагские фабриканты и купцы приглашали Ала Капона в компаньоны. Некий мистер Бэккер, владелец красильных предприятий Чикаго, пригласивший Капона в компаньоны, сострил журналистам, что он «нанял чорта, чтобы избавиться от чертей». — Чем Ал Капон, председатель треста бандитов, отличается от прочих председателей трестов!? — Мистер Бэккер, красильник, заключив договор с Алом Капоном, сообщил журналистам в интервью:

«Теперь мне не нужны ни прокурор, ни полиция, ни ассоциация предпринимателей. Я имею лучшую защиту в мире!»

У Ала Капона биг бизнес — большое дело! Ему надо собирать дань с покорных и расстреливать непокорных. Ему надо управлять своею промышленностью, — такую громадной промышленностью, как производство алкоголя, в коем заняты фабрики, заводы, конвейеры, рационализация и стандартизация.

Ему надо заботиться о правильном распределении товара. Рационализация проституции — это уже подсобный бизнес.

Дел, действительно, много! — не надо думать, что Чикаго чем-нибудь отличается от Нью-Йорка или Лос-Анжелеса. И не надо думать, что все дела сгранициваются только водкой и проституцией. В Чикаго, равно как в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе, кроме бутлегеров, водкоторговцев, работают — так скажем — ракетеры, ракетчики, занимающиеся промыслом, который называется ракетирование.

Свободный американский бизнесмен, живущий в Нью-Йорке ниже 14-ой улицы, собрался открыть на углу 27-ой, предположим, улицы и 2-ой аллен молочную лавочку, чтобы продавать покупателю как раз то самое молоко, которое препровождается в рот покупателю из коровьего вымени без прикосновения человеческой руки. 27-ая стрит и Вторая авеню имеются и в Чикаго, и в Санта-Фэ, и в Питтсбурге. Бизнесмен собрался открыть молочную лавочку или хлебную, или вообще любую. Надо было бы полагать, по традиции вещей, что бизнесмен обратится прежде всего в самоуправление за разрешением. Это неверно. Раньше всего он должен обратиться к районному бандиту, к ракетнику. Он, бизнесмен, должен получить разрешение у районного бандита. Районный бандит, ракетчик, должен решить, целесообразно или нецелесообразно открывать здесь молочную лавочку. У районного бандита на учете все районные лавочки, и, когда он да-

вал разрешение на открытую уже в его районе молочную лавочку, он брал на себя заботы об устранении в его районе молочной конкуренции. Районному бандиту надлежит осведомиться, сколько намерен ему платить новый молочный торговец, — и надлежит взвесить, стоит ли закрыть старого торговца, предоставив права новому, или же не стоит новому торговцу давать разрешение.

Я был полусвидетелем дел районных ракетиров. С разрешения ракетира был построен в наших местах в Нью-Йорке гараж. У американцев есть обычай оставлять по летам машины на улицах у подъездов. Дело было летом, вновь отстроенный гараж пустовал. Гаражевладелец разослал по своему району сообщение об открытии гаража. Гараж пустовал. Тогда приступил к делу районный ракетир, который санкционировал построение гаража. Все камеры на автомобильных колесах каждую ночь были прокалываемы. Гаражевладелец разослал вторую серию открыток. Гараж оказался переполненным.

С молокоторговцами поступается аналогично. Когда старому молокоторговцу предлагается закрыть его торговлю в виду того, что патент на этот район передан новому молокоторговцу, этот старый должен проворно убираться с места, ибо вместо шин у него проколот будет его собственный бок.

Штатные власти издают указы по поводу ракетирования и создают особые суды. На первом месте, совершенно естественно, Чикаго. Чикаго создал ра-

кетный суд. В особом акте указаны функции этого суда. Они поучительны: суд судит за:

- «1) уничтожение взрывами имущества граждан,
- 2) причинение увечья лицам в результате взрывов,
- 3) преднамеренное вредительство домов,
- 4) сбор денег в виде штрафов,
- 5) бросание бомб,
- 6) конспиративные действия с целью производства незаконных актов — бойкота или шантажа.
- 7) производство или продажу взрывчатых веществ,
- 8) увоз с целью получения выкупа,
- 9) запугивание служащих и рабочих».

Совсем как в голливудском кино! — Исследователь американских бандитских дел К., скрывшийся за псевдоним единой буквы, пишет:

«При муниципальных, штатных или федеральных выборах эти (ракетные) банды несут «политически-государственные» функции. Эти банды берут на себя заботы о массовом избирателе. Мелкие торговцы, шоферы, служащие содовых и аптечных магазинов, мелкота большого города платит дань банде: откажут ли они этой банде в маленькой любезности голосовать за такого-то республиканца или демократа!?» —

Все происходит совершенно так же, как в голливудских кино. Камеры ж на автомобильных колесах,

по поручению ракетира и по центу за прокол, прокалывали районные мальчишки, насмотревшиеся кинокартин из бандитской и индейской жизни и наслушавшиеся историй о частной деятельности частных сыщицких контор Бернса и Пинкертонa. И — уже не полусвидетелем, а своими собственными ушами — я знаю рассказ молодого коммунистического журналиста Т. Он вырос на этих самых нью-йоркско-детройтско-оклахомско-американских улицах. Мальчики их кварталов — «блоков», как по-американски называются кварталы, — мальчики были строго организованы в индейско-ковбое-бандитские шайки. У них было свое поле ракетирования. Они организованно воровали апельсины с лотков. За рубашками, у сердец, они — особенно итальянские и испанские мальчики — носили ножи, оттачивая их для будущего. Они выполняли поручения старших, вроде прокалывания автомобильных камер. Каждый блок вел войну с соседними блоками, и объединения блоков происходили, подобно объединению индейских племен, когда иной раз уже несколько блоков объединялись для разных крупных дел, вроде воровства на демонстрациях в день Независимости и сшибания соломенных шляп с зевак 16 августа. В школу дети всегда ходили отрядами, дабы не быть избитыми в одиночку. И ножи из-за пазух появились на свет, когда мальчикам исполнялось лет по четырнадцать. Мой молодой друг Т. один из его класса окончил колледж и стал коммунистом. Остальные его одноклассники не добрались до колледжей. Один

из его одноклассников кончил жизнь, убитый на электрическом стуле. Половина его товарищей стала бандитами-профессионалами, бутлегерами, ракетирами. Они не выпали из американских законов кино и Ала Капона. Мой друг Т. пошутил, рассказывая свою историю: он сказал, что если бы у друзей его детства не было лишних гривенников на кино, в коммунистической партии оказался б не он один.

Исследователь К. пишет о любезности голосовать за такого-то республиканца. Имею дополнить, что некоторые банки и предприятия пользуются бандитскими шайками вместо полиции для охраны своих имуществ. Имею сообщить, что бандитские шайки принимают участие в политической жизни, не только приказывая так, а не иначе, голосовать, но и иными способами. Например, известны случаи, когда не только партии демократическая и республиканская, но и Американская Федерация Труда нанимала бандитов для избивания коммунистических демонстраций. Друг друга ж партии республиканская и демократическая — кулаками бандитов — избивают регулярно в порядке традиций. Следует вспомнить написанное многими страницами выше, где говорилось о «технологических» концертах и безработице: там строился мост, гораздо более грандиозный, чем Бруклинский, — мост от «технологического» индивидуализма в бандитизм.

Я не видел ни одной гостиницы в Америке, ни одного гостиничного номера — во-первых, тринадцатого, а во-вторых, такого, в коем не лежала бы библия.

Если даже ванная не всегда имеется, то библия — всегда абсолютно рядом с телефонной книгой. И совершенно американски естественно, что съезды республиканской в Америке партии, поставившей ныне в президенты Герберта Гувера, начинаются с молебствий господу богу. Открываются съезды предпочтительно методистскими епископами, затем выступают с молитвами патеры епископальной и римско-католической церкви, а завершает молебен еврейский раввин.

Ал Капон! — ракетеры! — дела президента Гардинга не следовало б и поминать! Но нынешний президент Герберт Гувер был при Гардинге — в стране торговцев — министром торговли, правейше-правая рука, так же, как при Але Капоне правою рукою Ала Капона работал Гарри Гузик. Неизвестно, то ли Гардинг умер от простуды, то ли его отравили, то ли он отравился сам. Да и дела Гардинга полуизвестны. Но из полуизвестного известно, судами установлено и судами же запутано — следующее.

Морской министр Дэнби и министр внутренних дел Фолл (президент Гардинг и — тогдашний министр торговли — нынешний президент Гувер — они ни при чем!) — минвнудел и морской министр сдали нефтяникам Синклеру и Догени в аренду и в эксплуатацию нефтяные земли Типов-Дома в штате Вайоминге и Элькс-Хильс в штате Калифорния, забронированные за государством для нужд военного флота. Министрам Фоллу и Дэнби помогал генеральный проку-

роп Догерти, маститый и активный антикоммунист. Синклеру и Догени помогал Стандарт-Ойл-компани. Под эти нефти и сбоку этих нефтей возникло фиктивное, сиречь в реальности не существующее, акционерное нефтяное общество Континенталь-Трейддинг-компани. Три миллиона долларов этой «компани» были распределены между членами правительства. Двести тридцать три тысячи долларов в акциях найдены были у Фолла, они были заплочены ему за проданную им дачу. Министр почт—министр Гардинга—Вильямс Хэйс получил лишь семьдесят пять тысяч, — и то не для себя, но для передачи партии. Этот же Хэйс (почта!) передал некий пакет с акциями министру финансов Гардинга, миллиардеру и вождю республиканской партии, Мэллону — также для внесения этого пакета, от имени Мэллона, в кассу республиканской партии. (О Вильямсе Хэйсе надо сказать, что, ушед в отставку, он пошел работать в кино, так скажем, в качестве «морального» диктатора, где и работает до сих пор.) Миллион шестьсот тысяч долларов были внесены в кассу партии помимо министерско-партийных пакетов. Имя Гардинга — имя президента — свято, президент, как бог, ошибаться не может! Гардинг от всех этих неприятностей нето умер в простуде, нето отравился, нето его отравили. Герберт Гувер — нынешний президент — был при Гардинге министром торговли. Он ни-при-чем, как Гардинг — —

Был назначен суд, которому надлежало разобраться во всем этом деле «в общем и целом». Суд не за-

кончен до сих пор. Верховный суд споряча расторг сделку на нефти, как «мошенническую и подкупную». Это была предварительная мера. Суд до сих пор еще не разобрался «в общем и целом». Но в частности — такой-то американский законный суд — оправдал Фолла и Догени. Это оправдание было отменено, ибо установлено было, что через контору вышеупомянутого сыщика Вильямса Бернса были подкуплены присяжные заседатели. Но Синклер не был министром, Синклер был капиталистом, — и Синклер — таким же законным республиканским судом, как все прочие суды — оправдан! — —

Герберт Гувер — он ни-при-чем! — он не только не примешан к этим делам, но он даже ничего не знает об этом: ни разу, ни в одной речи, ни в одном выступлении он не обмолвился об этих делах! — он так же, должно быть, не знает, что разбор этого дела не кончен до сих пор, несмотря на многолетнюю давность, на быстрый и справедливый американский суд и несмотря на то, что дело это должно было бы разбираться под его руководством!

29

«Белый Дом» — это такое же промышленно-капиталистическое предприятие, как и все прочие в Америке. Хозяин Америки — и главный ее ницшеанец — доллар. Бюджет «Белого Дома» — семь миллиардов долларов, бандитско-ракетирско-бутлегерский бюджет — девять миллиардов долларов. — Кто хозяин? —

Казалось бы, бандиты, раз они богаче. Но это неверно. Хозяин — доллар, который, как известно, особенно в Америке, запаха не имеет. «Белый Дом» в Америке есть такая же промышленность, как и все прочие в Америке, да в придачу еще никак не свежая политика. Из десяти американцев, которых я расспрашивал, девять отвечали:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — я им не интересуюсь. Цюр, боссы, которые занимаются политикой, занимаются ей не ради чьих-либо прекрасных глаз, не говорите мне о их честности! Цюр!

Американские газеты отличны от европейских. Европейские газеты, предпочтительно, являются газетами различных партий и содержатся этими партиями. Американские газеты есть газеты промышленных предприятий и содержатся этими предприятиями. Газете, которая выходит на средства резиновой промышленности, важнее всего, чтобы продавались шины для автомобилей и галоши. Прессе, поддерживаемой «Дженерэл-Моторс-компани», существенно загнать в бараний рог Форда. Моргановской прессе надо укрепить моргановские дела против рокфеллеровских, рокфеллеровской — против моргановской. Что касается политики и партий, то партии и политика гораздо менее бизнесны, чем резина, автомобили, сталь, банки и прочее. И Морган, и Рокфеллер дают деньги на содержание и республиканской партии, и демократической, обеим сразу, этим двум партиям, заведующим политикой Соединенных Штатов. «Форд-Моторс-Ком-

пани» так враждует с «Дженерэл-Моторс-компани», что Форд дает только республиканской, а Дженерэл — демократической.

Политика — плохой бизнес.

Некогда республиканская и демократическая партии имели различие. В годы гражданской войны Севера с Югом партия республиканцев работала с северянами, партия демократов — с южанами. Утверждалось, что республиканская партия есть партия северных промышленников, что демократическая партия есть партия финансового капитала, что так было и есть, мол, и до сих пор в Нью-Йорке, в финансовом центре, командует партия демократическая. Хрен редьки не слаще. По существу говоря, даже в годы гражданской войны, эти партии различались не по социальному своему существу, но тактически и территориально, что не мешало тем же республиканцам, в дни окончательных побед Севера над Югом, поднимать в Нью-Йорке, как сказано, восстания против северян, в защиту «демократического» Юга. Ныне же эти две партии — два конкурирующие треста — тресты, заведующие американской политикой, не отличающиеся даже тактикой, тресты, строящие свои программы на отрицании программы конкурентов, на промахах конкурентов, на политиканстве, на территориальных традициях, на капиталистической конкуренции. И тресты не особенно бизнесные, рокфеллеро-морганы имеют обе эти партии у себя на содержании. Глубокоуважаемый мистер Котофсон, тот,

у дочери которого в прошлом бородавка на глазу, а в будущем писательство, равно как и остальные во-семь вместе с ним из десятка, скажет:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — я им не интересуюсь! — Шюр!

Американские газеты заботятся о «резине» (случайно ли!), и в каждом номере газет читатель установит, что спорту там посвящено вчетверо больше места, чем политике, внутренней вместе с международной, не говоря уже о резине!

В Вашингтоне имеются посреднические конторы (без вывесок, конечно!), покупающие и продающие, в розницу и пачками, сенаторов, членов конгресса, республиканцев и демократов, правительственных чиновников и судей. Аппараты демократической и республиканской партий в дни, свободные от выборных кампаний, заняты единственным — распределением постов и должностей между членами своих партий. Делается это для защиты трех китов американской демократии — библии, конституции и национального флага. От члена партии никак не требуются политические убеждения, — требуется аккуратно регистрироваться и — по формулировке сенатора мистера Пенроза — «стоять за своего собственного мерзавца». По американским понятиям в партии следует видеть не принципы или программу, но — источник существования. Для членов партии партия всегда облечена в реальные формы пищи, одежды, текущего счета в банке.

Все президенты большую часть своего времени и

сил отдают не государственным делам, но — организации своей партии во всех 48 соединенных штатах. Четыре пятых времени президента заняты обсуждением вопросов о должностях, начиная с должностей четвертого класса в почтовом ведомстве и кончая членами своего кабинета.

Есть книга, написанная американским журналистом Ф. Кэнтон, человеком никак не революционным. Книга называется «Political Behavior» — «Политическое поведение». Книгу следует расценивать как учебное пособие и как справочник для буржуазных, ныне командующих, политических деятелей Америки.

Кэнт пишет, разбив, как полагается, книгу на главы, заглавия которых американски лаконичны: «Повинуйся закону, и ты будешь побит». «Необходимо быть верным своей шайке». «Задевать интересы деловых кругов невыгодно». «Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами». «Благосостояние уничтожает всякую критику». «Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах». «Действительная сила в руках пловцов». «Дайте избирателям хокум». И прочее.

Хозяевами партий Кэнт считает людей, состоящих

«из участковых и районных исполнителей, из комитетчиков, или «капитанов», и из бесчисленного множества мелких чиновников, служащих государственного аппарата — муниципального, штатного и федерального».

В главе, которая называется «Жирные коты», Кэнт сообщает, что нормальным, естественным путем на выборные должности является принадлежность к партии,

«единственный ключ к которым является в руках аппарата. Другими словами, первый шаг состоит в том, чтобы заставить организацию, — под которой подразумеваются лидер или лидеры аппарата, — выставить вашу кандидатуру».

Кэнт иллюстрирует это обстоятельство партийными судьбами президентов Куллиджа и Гувера. О Куллидже он говорит, что этот

«никогда, ни при каких случаях не сделал ничего, что было бы противно его организации».

Кэнт иллюстрирует это обстоятельство другого порядка делами, тем, что

«один из членов конгресса, богач одного из восточных штатов, ныне отбывающий уже седьмой или восьмой срок в палате представителей, регулярно и притом конечно секретно, помимо своего жалованья, предоставляет 10 тысяч долларов аппаратному боссу того города, в котором он живет. Это все, что он когда-либо делал. Ему никогда не приходится заботиться о своей кандидатуре».

Судьба этого конгрессмена приводит Кэнта к информации о «жирных котях». «Политика», как сказано, в Америке не считается большою честью,

«это грязная игра, с которой благородные американцы не желают иметь ничего общего».

Быть торговцем эмалированной посуды или производить на фабрике колбасу — не менее почетно, чем быть избранным — смотря по чину и рангу — на муниципальные, штатные и федеральные должности. Но возникают иной раз чудачки-богатеи, которых зудят по чести мэра или губернатора.

«Такие люди известны в политических кругах под названием «жирные коты». «Эти капиталисты имеют то, в чем нуждаются организации, — деньги». «Их появление приветствуется организацией, как цветы в мае».

Кэнт информирует:

«До сих пор ни один «жирный кот» еще не добился президентского поста, хотя в 1920 году, а затем снова в 1928-ом один или двое из них были очень близки к назначению в кандидаты. Но их достаточно много в конгрессе».

В главе «Что случается с кандидатом, который захочет быть смелым и искренним» доказывается, что смелым и искренним кандидатам в американском парламентаризме места нет, они всюду проваливаются.

Кэнт аргументирует свое утверждение, в частности, президентом Кулиджем (выше говорилось о президенте Гувере).

«От начала до конца своей кампании Кулидж не произнес ни одного звука, который мог бы задеть католиков или ку-клукс-кландцев, мокрых или сухих, мошенников-нефтяников или пламенных патриотов». «Он строго придерживался принципа — защищать лишь то, что не подлежит (американскому) сомнению: режим экономии, снижение налогов, уменьшение задолженности, процветание страны, мир, библию, национальную конституцию, закон о правах гражданина».

В главе «Партия не ответственна за взяточничество в ее рядах» сообщается:

«...масса рассматривает обвинения в мошенничестве, выдвинутые против господствующей партии элементами, не находящимися у власти, как на вполне естественное явление, как на составную часть игры. В массах существует убеждение, что лица, находящиеся у власти, берут конечно понемногу взятки, но то же самое будут делать и другие, когда они доберутся до тех же постов. И в действительности обвинения во взяточничестве часто вызывают со стороны публики сочувствие к обвиняемому. Средний избиратель думает при этом, что у других дело сходит более гладко,

но он не верит, чтобы они были честнее обвиняемого во взяточничестве. Поэтому обвинение не приносит особого вреда попавшемуся «бедному парню». Наоборот, обратившись за поддержкой к своим избирателям, он требует от них реабилитации. В своих речах он кричит о «заговоре с целью отнять от него его доброе имя», и в конце концов обвиняемый избирается большим количеством голосов, чем раньше. Если избиратели не могут переизбрать самого «бедного парня», например в случае, если его посадили в тюрьму, они, с целью продемонстрировать свое сочувствие ему, избирают его жену. В качестве примера может послужить дело бывшего члена палаты представителей от Кентукки—Лангли. В то время как мэр Лангли находился в тюрьме, избиратели его округа выбрали на его место в палате представителей его жену».

«Великолепное, всех поразившее молчание всей республиканской партии по вопросу о мошенничествах в нефтяной промышленности, то обстоятельство, что ни один из признанных лидеров республиканской партии — ни Кулидж, ни Дауэс, ни Юз, ни Гувер, ни кто-либо из остальных — не проронили ни одного слова в осуждение этих скандальных событий... все это несомненно очень сильно способствовало устранению всяких неприятных политических последствий этих преступлений».

В главе «Когда вода достигает верхней палубы, следуй за крысами» сообщается:

«В применении к политической жизни это (эта поговорка) означает, что для человека, занимающегося политикой, глупо продолжать придерживаться своих убеждений после того, как они стали непопулярны». «Ни один желающий преуспевать политик, а также ни одна политическая партия не может позволить себе твердо придерживаться своих убеждений, и они действительно этого не делают».

Глава «Задевать интересы деловых кругов невыгодно» своим собственным названием иллюстрирует свое содержание. Экспонаты, разбираемые Кэнтон, разумеется, есть экспонаты американского обывателя, и Кэнт краток в формулировках:

«Во-первых, никакие нападения на «плутократию», на «больших богачей», на «хищных капиталистов», на «Уолл-стрит», на «тресты», на «гигантские комбинаты»... не могут иметь успеха... Если кто-либо — в особенности женщина — владеет хотя бы одной акцией, она сейчас же начинает отождествлять свои интересы с интересами капиталистического класса и тайно противодействует всяким нападениям на последний». «Мы превратились в нацию мелких держателей акций и облигаций». «В стране имеется свыше 5 мил-

лионов держателей акций одних только предприятий общественного пользования». «Мелкий держатель неизбежно переходит психологически в ряды капиталистического класса. В нем исчезает всякий социалистический и большевистский дух».

Только-что цитированное — это одна сторона дела, касающаяся всеамериканской воблы обывателя, того, который расселен по всем Соединенным Штатам именно воблой, но который помнит об американском равенстве, о «хижинах», из которых происходят президенты и миллионеры, о демократии и о пионерских делах. Другой стороной дела — той, что «деловые круги» есть хозяева страны, стало быть, их «не трожь» — об этом Кэнт не пишет, хоть это и явствует из его книги, особенно из дальнейших глав.

В главе «Текущие расходы» Кэнт мягко сообщает:

«Ни один президент не был выбран в нашей стране без того, чтобы его избирательная кампания не финансировалась хотя бы в такой степени, чтобы имелась возможность покрыть «текущие расходы».

«...относительно продажных голосов. Я при этом имею в виду главным образом не тех избирателей, голоса которых можно купить за двухдолларовую и пятидолларовую ассигнацию. Необходимо объяснить, что термин «текущие расходы» не касается так называемых законных расходов

во время избирательной кампании — они не охватывают расходов на собрания, на музыку, рекламу, помещение, пропаганду, жалованье, почтовые и канцелярские расходы. Этот термин не охватывает даже и тайных сделок... например, сделок, гарантирующих кандидату поддержку со стороны различных газет». «Текущие расходы» — это расходы в день выборов».

«Действительная сила находится в руках пловцов» — сообщает Кэнт в главе под таким названием.

«Он (кандидат) может провести великолепную кампанию. Он может преподносить избирателям самые тонкие виды хокума и давать для них самые лучшие зрелища, — и все же, если в день выборов у него дело с избирательным фондом («текущими расходами») обстоит слабо, то с уверенностью можно сказать, что он провалится».

«... о «текущих расходах». В каждом из ста пятидесяти тысяч участков, с четырьмястами приблизительно избирателей в каждом, всегда можно найти десять-двадцать мужчин, иногда также одну или двух женщин, рассматривающих день выборов главным образом, как случай легко подработать. В прежние времена эти люди были известны под названием «пловцов». Впоследствии они превратились, согласно областной терминологии, в «работников», или «сторожей», или «вестников». Некоторые из них принадлежат к опре-

деленной партии, другим же — этих огромное большинство — совершенно безразлично, для какой партии работать, лишь бы им платили за это деньги. Демократические пловцы естественно обращаются в день выборов к демократическому участковому капитану; республиканские ж — к республиканскому». «Участковый капитан, заключая сделку, говорит: «Хорошо, уэлл, десять долларов за этот день, Джон, но ты должен в шесть часов быть в участке и привести туда всех твоих Джонсонов!» — Все, что пловец должен сделать, это — доставить свое собственное семейство».

Двадцатая глава книги Кэнта называется «Повинуйся закону, и ты будешь побит». Ее не следует комментировать в виду ясности ее заглавия и потому, что истинность этого положения наглядно вытекает из вышесказанного. В главе «Отряды отравителей» Кэнт рассказывает о принципах и практике клеветы, применяемой американскими — республиканскою и демократическою — партиями. Кэнт оговаривается фразой, которой может быть исчерпан его труд:

«Честность в политике — неосуществимая мечта. Политика представляет собою игру... с бесчисленным множеством призов, начиная с самого важного в мире поста — президента Соединенных Штатов, — кончая двухдолларовой ассигнацией, которую жадно ищет продажный избиратель в день выборов».

Для того, чтобы оживить рассказ об американской политике, следует привести наглядные картинки.

Первая. Иллюстрирует «хокум», то-есть, всяческую чепуху, которая развлекает избирателей и устанавливает между кандидатом и избирателями теплые отношения.

«Войдя гордой поступью в переполненный зал, Хилл шел к находившемуся на трибуне столу, на котором, по его распоряжению, стоял графин с водою и стакан. Подняв графин, он начинал наливать воду в стакан, как будто для того, чтобы выпить немного воды. И вдруг он с драматическим жестом выливал воду в окно или бросал стакан об пол.—«Что такое?! — восклицал он. — Вода? — Мы не хотим воды в этом районе. Мы хотим пива, и если вы, ребята, пошлете в конгресс Джона Филиппа Хилла, то он достанет для вас пива!» — Тут он схватывал американский флаг (также заготовленный заранее), музыка начинала играть национальный гимн, и толпа сходила с ума от удовольствия».

Вторая. Рассказ участкового «капитана» о своих боях.

«Когда в субботу перед выборами я получил от окружного лидера для своего участка тридцать долларов вместо ста двадцати, то это явилось для меня тяжелым ударом. Я уже тогда понял, что дела идут не как следует, но лишь впослед-

ствии я понял истинное положение дела. В день выборов, еще до девяти часов, я уже знал, что мы побиты, и притом сильно побиты. В этом участке была дюжина парней, все — демократы, которых я на каждых выборах нанимал за плату от двух до десяти долларов. Обычно они показывались на месте, где производились выборы, около шести часов. На этот раз мне лишь в девять часов удалось найти одного из них. Он был пьян и в прекрасном настроении. И у него-то я выведал правду. Оказалось, что он имел в своем кармане двадцать пять долларов республиканских денег. То же самое сделали все остальные из дюжины «вестников» моего участка. Впрочем один или двое из них умудрились получить по пятьдесят долларов. Они никогда не видали таких денег, да и я тоже. Против таких денег бороться было невозможно. Они провели бы на выборах рыжего пса против апостола Павла!»

Мистер Котофсон прав:

— Уэлл, политика! — это грязное дело! — не говорите мне о их честности! — не станут же боссы заниматься политикой ради чьих-либо прекрасных глаз! Шюр!

Прав и я, утверждая, что президенты избираются за взятку, что равнозначно утверждению, что Белый Дом диффундирует с бандитами. Работа американских, ныне командующих, партий заключается только

в одном — в проведении выборных кампаний. Так оно и есть на самом деле. Дальше для партий начинаются отдых и жизнь — они распределяют между членами посты и никак не постные куски, — вроде нефтей Типот-Дома. Речь идет о деятельности партий — республиканской и демократической — партий американских капиталистов, промышленников и воблы обывателя: стало быть, по партиям следует судить и об этих самых капиталистах, промышленниках и обывательской вобле. И американские эти партии — не партии, но тресты, отличающиеся от треста, предположим текстильной промышленности, тем, что у текстилей мануфактура и мануфактурные фабрики, а здесь — властишка от мэра (иль судьи) города Кингмана до президента из города Вашингтона. Тресты эти — не особенно бизнесны: быть заводчиком и миллиардером почетнее, чем быть конгрессмэном. Бандиты порядка Синклера и Ала Капона переплетают свои дела с Белым Домом. Ракетиры (и Ал Капон) озабочены всяческими выборами. Торговля алкоголем, бандитобутлегеры имеют больший бюджет, чем бюджет Белого Дома. Обыватель, прежде чем идти в мэрию, к законным властям, идет к районному бандиту. Есть царско-русский анекдот — —

купец третьей гильдии города Москвы Иван Фаддеевич, после интеллигентско-еврейских погромов 1905 года, в субботу перед пасхой, попарившись в бане, причастившись, выпив рябиновки перед

заутреней, на цыпочках зашел к себе в спальню, посмотрел в шкаф, под кроватью, — нет ли кого в комнате? — припер дверь на ключ, внимательно стал рассматривать физиономию в зеркало, бороду, нос и глаза. Он сказал наконец сам себе шопотом в зеркало: — Иван Фаддеевич! — прошептал он. — Мы с тобой одни. Признайся перед святой пасхой, как на духу, — один из нас служит в охранке! — —

Чего доброго, этот анекдот применим и к американцам. Этак, под день Независимости, надравшись виски, американский гражданин на пятнадцатом своем этаже, приперев двери и выключив радио и рефрижератор, чтобы не мешали, в ванной комнате спросит себя в зеркало:

— Уэлл, Джон! — Мы с тобой в четыре глаза. Признайся перед днем Независимости, — бандит я или нет!?

30

Выше рассказано, как в Бронкском парке однажды журналист П. и я, мы встретили плачущую женщину, от которой ушел муж к женщине, пьющей вино, когда она, встреченная нами жена, была верной христианкой и верной женой. Через неделю после той встречи, в праздник утром, пораньше, чтобы застать его дома, я приехал к П. Он жил один. Он отпер мне нескоро и был чуть-чуть смущен. От вечернего ужина

в столовой у него остались два прибора, в кабинете лежала женская шляпка и некая туалетная подробность, так же явно оставшаяся от вечера. То, что пришел именно я, как видно, успокоило П. Жестом он информировал меня о событиях. Я хотел было уйти. Он сказал, что делать этого не стоит. Он ушел на минуту в спальню. Через минуту за ним вышла та самая женщина, которую мы встретили в дожде в Бронкском парке. Она увидела меня, лицо ее стало горестно. Я предложил ей папиросу. Она отказалась со всей пуританской строгостью. Вдруг ее глаза наполнились слезами, и она заговорила, чтобы сообщить мне о последних событиях.

— С тех пор, как ушел муж, я ничего не знаю о нем. Он ушел, отказавшись от всего. Он ушел к женщине, которая курит табак и пьет вино. Почему он ушел! — Он ушел, и с тех пор остановилась жизнь. А я — видит бог! — верная христианка, я верная жена и конечно я не курю и не пью.

Я посмотрел на некоторую туалетную подробность, забытую на диване, и на две недопитые рюмки около наполовину выпитого литра ликера, на табурете около дивана. Женщина перехватила мой взгляд. В святой, должно быть, простоте она села на диван, как раз на свои подробности.

— И что же муж? — спросил я.

— Ах, видит бог, как я жду его! — сказала она, подняв глаза к небу.

Президенты — бандиты — доктор и полиция около

той леди, с которой я мог бы получить стоимость автомобильного фонаря, разбитого об ее голову. Гипокритство! лицемерие!

31

В Америке есть экономисты и историки, которые утверждают, что американскому процветанию последних лет очень много помогала сухая закон. Казалось бы, что линия рассуждений пойдет о трезвости, которая повысила производительность труда. Экономисты рассуждают иначе. Возникновение организованной контрабанды спиртов с ее миллиардными оборотами, с ее сотнями тысяч работников, прямых и косвенных, именно это — сиречь бандитщина — сделало множество для процветания торговли и промышленности, для американского процветания. Экономисты предлагают вспомнить здесь об усиленном спросе на моторные лодки, о джутах для мешков, о лесе, о бутылках, о печатании аптечных ярлыков, кроме самих производящих, стандартизирующих, рационализирующих, продающих и пьющих. Такого порядка экономисты отрицательно относятся к утверждению, что нация после запрещения стала меньше пить и лучше работать, — тем паче, что до сих пор медициною не разрешен вопрос, что лучше и продуктивнее влияет на работоспособность, — бессуррогатный спирт или суррогаты, отправляющие питейных на тот свет.

Что касается вообще американского процветания, которых вместе с процветанием от 1922 года до октября

29-го было пять, то главными причинами этих просперити некоторые американские экономисты выставляют вещи, не менее необыкновенные, чем «прохибишен».

Первое «просперити» началось в 1825 году. До тех пор Америка была просто деревней с деревнеобразными городами, в квакерско-пуританском благополучии.

Тогда выяснилось, что за Аллегенские горы перевалило множество новых людей, понаехавших из Европы после бурь французской революции и разгромов наполеоновских войн. Эти люди потащили за собою за горы в Средний Запад первые фабрики и заводы. За много лет до тех пор изобретенная Уйтнэем хлопкоочистительная машина только теперь выросла в заводские корпуса. По стране стучали топоры новыхстроек. В том, 1825, году мир оправился уже от наполеоновских войн, возродилась мировая торговля, в Европу пошел американский хлопок, в Америку поехали европейские машины. Кончилось это просперити в 1837 году, когда затихли топоры и толпы голодных готовы были бросаться куда-угодно, хоть к чорту на рога.

Чортом на рогах оказалось калифорнийское золото. Это было второе просперити. Оно началось в 1849 году и жития его было до 1857 года. Его сделали люди с волосяными ошейниками вместо бород, промывавшие золото в железных ручных тазах, те самые, которые уничтожали форт Сэттера и настроили города под названиями Виски, Копи Дикого Янки, Портвейн

и Сакраменто. За железными тазами этих старателей пошли железные дороги. Люди не первых храбростей предпочли пахать землю конными плугами и жать урожай жнейками, чтобы не рисковать на золоте и продавать свои урожай золотоискателям втридорога. Жития этому просперити было восемь лет. Страна дымилась заводами сельскохозяйственных орудий. Паровозы железных дорог и двигатели заводов кормились каменноугольными копиями. Это просперити народило предпосылки гражданской войне. 1857 год взорвался банковскими крахами. Калифорнийское золото иссякло.

Судьбы разрешались гражданской войной. Судьбы гражданской войны известны. Новая, третья эра просперити, началась в 1879 году, жития ее было 14 лет, почилла она в 1893 году. Кризис вместе с годами гражданской войны и послевоенный кризис длились тогда 22 года. Некий пастор Руперти записал для потомства, за два года до начала просперити:

«Настоящее социальное положение Нью-Йорка менее всего представляет веселую картину. Отсутствие работы вызывает возрастающую бедность и учащает преступления. Количество неимеющих работы никогда не было столь велико, как теперь, и предположения никогда не были печальнее. Во всех Восточных Штатах такая же бедность. Судья одного большого города в Массачюзетсе нашел недавно городские тюрьмы не-

достаточными; он телеграфировал всем тюремным управлениям штата о предоставлении ему места, но повсюду получил ответ, что везде собственные тюрьмы переполнены! Везде изобилуют просящие милостыню бродяги. Таким образом мастерские пусты, а исправительные дома полны. А между тем сюда ежемесячно тысячами приезжают иностранцы, большей частью без денег, без знания языка, без друзей. Ужасный «Томбс» — нью-йоркская городская тюрьма — переполнен. Если принять еще во внимание все более и более увеличивающуюся деморализацию чиновников, то наша общественная жизнь не представляет ничего утешительного. Политические партии возводят друг на друга самые тяжелые обвинения, и если одна отрешается от должности другую, то только для того, чтобы выжать из государственной губки более, чем предшественники».

Но вот эти тысячи иностранцев, без языка, без друзей и без денег, покидавшие Европу ради ее семидесятих годов, и создали третью эру. Эти люди заселили Америку до Тихого океана. Эти люди сдали в архив времен американское кустарничество и ремесленничество, отдав промышленность машинам. В тот час, когда тысячи переселенцев уперлись в покойствие Пасифика, вдруг смолкли фабрики и заводы, завулканизировали банки и по стране пошли небритые голодающие.

И опять спасло золото у чорта на рогах Аляски, --- спасли небритые, голодающие герои Джека Лондона и Иоганна-Августа Сэттера. Под это золото отошавшие тресты стали разбухать заново. Под это золото страна осветилась электричеством, запутавшись в его медные провода. Загудели сигнальные гудки на меднорудных коях и на сталелитейных заводах. Новые и новые появились железнодорожные пути. Небоскребы перевалили за десятки этажей. Эта четвертая эра началась в 1898 году, ею встречен был двадцатый век, жития ее было девять лет, почила она в году 1907, когда в некий скверный день страна проснулась в ощущениях очень большого перепоя.

Итак, стало быть, из четырех просперити два были созданы переселенцами и два были созданы золотом. Итак, стало быть, если следовать за логикой утверждения, что «прохибишен» был одной из причин последнего просперити, то следует согласиться, что предшествующие просперити были случайностью! — Сей необыкновенный вывод никак не есть мой вывод, путем которого можно договориться, что и вся Америка есть не что иное, как случайность. Но такое утверждение я вычитал у американского ученого и радикала, — и это уже не случайность, ибо на самом деле, в долларовом своем нищестии «парламентаризма» и «демократий», о коих сказано выше, американцы, даже ученые, чувствуют себя в случайности. Именно поэтому Стюард Чэйз, радикал, по-нашему сказать кадет, публицист, отрицая «прохибишен» как

одну из причин просперити, первую причиной просперити считает автомобиль.

Чэйз спрашивает:

Какие силы действовали после 1921 года, чтобы сделать наше просперити тем осязательным фактором, каким оно представляется нам?»

Чэйз отвечает:

«По моему мнению, самая мощная из этих сил, действовавшая в одиночку, был автомобиль. Автомобиль — это нечто, чего широкие круги действительно ждали с интенсивностью, доходящей до страсти. Эффект автомобиля был двойной. Он стимулировал производство и залил страну известной видимостью процветания, казавшегося всеобщим. Другие периоды расцвета были вызваны иностранной торговлей или просачиванием золота в гущу населения. Стимулом нынешнего особенного периода является большой, шумный, суетливый, неуловимый предмет, снующий по всем дорогам. Вы можете видеть, слышать, юбонять это чудовище на расстоянии нескольких миль. Около двадцати пяти тысяч несчастливцев в год по милости его даже отправляются на тот свет. За поразительно короткий срок непосредственный потребитель обогатился примерно пятьюстами миллионами лошадиных сил. С тех пор как существует мир, ни одна еди-

ница сосредоточенной мощности не была объектом такого массового спроса.

Когда Генри Форд и рассрочка платежа снизили цену автомобиля настолько, что его покупка стала реальной возможностью, автомобиль стал объектом всеобщего вожделения, из-за которого трудятся, копят, готовы на любую борьбу.

Автомобиль сулил три великих дара, дорогих человеческому сердцу: романтическую авантюру, общественное положение и опьяняюще быструю езду (на этом же стимуле наживаются содержатели каруселей и американских гор). Автомобиль! Мой автомобиль! Ни один математик не сможет вычислить той суммы эмоционального импульса, какою были чреваты эти слова.

Мы просто физически наслаждаемся, — и это ощущение настолько универсально, что может почти сойти за биологическую норму, — когда несемся со скоростью 30—40 миль в час. И это ощущение нисколько не ослабевает с возрастом. Взрослые поддаются даже гораздо сильнее, чем дети. Без всяких оговорок, автомобиль — наиболее щекочущая нервы игрушка, какою homo sapiens играл когда-либо на этой земле. Щекотание нервов может быть еще усилено яркой раскраской, блестящей никелевой отделкой, маленькими металлическими патронами на шнурах, которые, когда их вытягивают из-под щита, накале-

ны докрасна, нарядными стрелками, которые скользят по светящимся циферблатам, сиренами, которые оглушают пешехода до паралича, помпезно надутыми шинами. То обстоятельство, что многие из этих аксессуаров не выполняют никакой полезной работы, только усиливает радостное сознание обладания. Спрос на эти принадлежности колоссальный, и рядом с буйным расцветом автомобильной промышленности мы видим такой же буйный расцвет производства автомобильных принадлежностей. Чтобы поддержать цекотание нервов, когда новинка уже потеряла прелесть новизны, нужно все больше увеличивать скорость. А повышенная скорость, это значит — лучшие шоссе. Кто знает, какая доля миллиарда с лишним, который мы расходует на наши шоссе в год, вызвана действительно необходимыми поездками и какая—погоней за более острыми ощущениями? Но когда игра пошла всерьез, на сцену выступила вся система социальных норм, а за нею агрессивная политика сбыта со стороны производителей автомобиля. Марка, цена, модель автомобиля стали как бы геральдическим символом социального положения его владельца. Плотник, у которого свой кадиллак, чем он хуже банкира, у которого такой же кадиллак? И вся жизнь становится сплошным целеустремлением вверх. Если мы задумываемся над такой мелочью, как покупка одной новой модели в год, то что скажут

Джонсоны? — Мужественно мы подписываем новый договор на рассрочку.

Наконец, и это не менее важно, автомобиль, кроме радости быстрой езды и социального веса, дает еще какую-то романтику приключенчества, уход от однообразия, которое так характерно для современной жизни. Через холмы, вдаль... у нашего порога пульсирует автомобиль — и Северная Америка, вся, как на ладони, перед нами. Горы, каньоны... Пятнадцать лет назад, когда кто-нибудь хотел путешествовать по шоссейным дорогам, он переживал ощущение исследования новой страны. Его прошлое оставалось где-то позади, он отряхнул пыль города от своих ног!...»

И сам же Чэйз перебивает себя, восклицая:

«Увы! этого в наши дни уже нет. Двадцатью пятью миллионами машин город разлился по дорогам через всю страну. Было время, когда на автомобиле можно было как-то вырваться на волю. А как вы теперь вырветесь из этой шеренги, которая тянется от барьера до барьера на север, на юг, на восток, на запад?!»

Действительно, из конвейера американских дорог никуда не вырвешься! — и действительно, ездить по конвейерам американских дорог не менее утомительно, чем работать на конвейере у Форда! — Совершенно прав тот джентльмен, который придумывает, куда бы девать миллионы американским дуракам-богачам,

когда он утверждал, что американцы автомобилями подавились и автомобиль стал для американцев каторгой. Я могу засвидетельствовать опытом, что, если спросить у девятистот американцев из тысячи, едущих часов в девять вечера на автомобиле,—куда они едут? по какому делу—эти девятьсот индивидуалистов потеряются и на вопрос ответить не смогут: едут, чтобы ехать, влезли в конвейер дороги, управляют рулевой баранкой и — едут. Не сидеть же на месте, если есть машина! — И Чэйз неправ, когда говорит, что двадцатью пятью миллионами машин разлился по полям город: не город, а завод, в бензинном удушьи, обалделой напряженности конвейера, в полицейских правилах. Писатель Флойд Дэлл говорил мне, что машины у него больше нет: была у него машина, отличная, замечательная, два года на ней ездил, два года ничего не писал, установил, что по всей Америке одни и те же гостиницы, одни и те же дороги, одно и то же дорожное обалдение, и бросил автомобильную езду, предпочитает по надобности передвигаться собвеями и такси, — сел за писание романов.

Я цитировал Чэйза к тому, чтобы говорить о причинах последнего просперити. Летом 1931 года по Америке проходил кризис, самый страшный из всех бывших, возникший после пятой эры просперити. И я множество раз слышал следующие разговоры:

— Америка! гений Америки! Форд! гений Форда! Вы знаете, что система Форда применяется теперь повсюду—в ресторанах, даже у мелкого торговца, даже

для гуляющих в парках. Это—вечное искание новых форм и новшеств. Это—грандиозная лаборатория. Здесь все учтено и все выверено. Автомобиль — и Форд в первую очередь—создали последнее процветание. Чудаки хотели перехитрить Форда. Они хотели поддержать процветание, бросив в массы радио и рефрижераторы. Разве это может заменить автомобиль!?!—Но Форд создаст новое процветание. Форд пишет, что мы еще недостаточно используем резину, он полагает, что дороги надо не асфальтировать, но делать из резины. Но если резина не поможет, Форд придумает другое. Он будет выпускать дешевые самолеты в такой же цене, как его автомобили. Он будет выпускать их миллионами. Они будут снабжены вторым пропеллером на спине, при помощи которого они будут подниматься и опускаться ввысь, без всякого разбега. Каждая крыша будет аэростанцией. Пространства исчезнут. Америка поднимается в воздух!.. Если не Форд, то во всяком случае так будет. Надо, необходимо надо придумать нечто такое, что было бы равно автомобилю или золоту Клондайка!.. Тогда наступит новое процветание.

Пока что Америка в воздух еще не поднялась. Я цитировал Чэйза к тому, чтобы дать американскому экономисту слово о процветании, но получилось, что я характеризовал американца на автомобиле.

Оба вывода существенны.

Американский обыватель в легендах о пуританизме, о парламентаризме, в одиночестве американской

демократии, в гипокритстве, в избушках дровосека, в стандарте он все это считает: слу-чай-но-стью! —

И американский обыватель в одиночестве демократии, в конвейерах дорог, в стандартах—в долларе, в долларе—хочет из этих стандартов—выр-вать-ся!

Слово—о-кэй—не случайно создано американцами, не только по безграмотности его происхождения. Американцы—спортсмены. У американцев есть поговорка: «keep smiling»—«храни улыбку», американские традиции требуют, чтобы американец всегда улыбался и был бодр. И совершенно верно: разорился американец на бирже—о-кэй, расшиб американец автомобиль — о-кэй, свернули американцу скулу в футболе—о-кэй, ограбили бандиты—о-кэй! — Действительно, это так, и так потому, что все случайно.

И я видел однажды, как американцы хотели выр-ваться из стандартов истинно по-американски. Это было в мае 1931 года.

Мы ехали от Дэллас по пути к Батон-Ружу, к Миссисипи. За Дэллас начались субтропические леса и негритянские плантации,—немногие места в Америке, где пусто, ибо этот угол Америки, по существу говоря, полузаброшен со дней гражданской войны. День был зноен, мы были утомлены, и с вечера нас не очень поразило, что то село, где мы ночевали,—Минниола, было забито людьми и автомобилями, необычными для полупустыни. Меня привела в удивление ночь.

Я проснулся в неурочный час от шумов в гостинице. Казалось, что в гостинице никто не спал, ходили

по коридорам, хлопали дверями. Под окнами громко разговаривали. По шоссе рядом ежесекундно мчали автомобили со скоростью до ста километров, вспыхивали фонари из мрака, шипели рассекаемым воздухом и исчезали во мрак. Автомобили шли в одну лишь сторону. Количество автомобилей у подъезда гостиницы за те часы, что я спал, утроилось. Помещения в гостинице явно нехватало, люди спали на воздухе, в машинах и около машин. Ресторан при гостинице в первом этаже и аптека напротив торговали. В аптеке, по всем признакам, здорово пили. Я выкурил папиросу у окна, лег и заснул.

Когда я проснулся, гостиница была пуста, это было раннее утро. Машин около гостиницы не было. Но машины мчали мимо гостиницы с предельной скоростью, все в одну сторону, тысячи машин, колесо в колесо. Номера машин указывали, что машины съезжались со всех штатов, из самых дальних, так же, как из близких, из Северной Дакоты, из Вермонта, Калифорнии и Флориды, даже из Канады. Машины были всех марок—линкольны, форды, нэши, шевроле, крайслеры, паккарды, корды, ройсы, бюики,—то-есть мчали люди всех социальных пород. Машины поистине мчали, как коты из анекдотов, помазанные под хвостом скипидаром.

Мы включились в конвейер. Гонка была сумасшедшая. Но она длилась недолго.

Между городишками Глэйдвотер и Лэйквью машины стали. Дороги были загружены машинами оконча-

тельно. Машины не пускались по дорогам, ползли лишь перегруженные доотказа всяческим скарбом грузовики. Машины слезали с дорог на поля плантаций. Плантации были стоптаны. Машины, построившись рядами, превратили плантации в походные улицы. Плантации блистали лаком автомобилями, пестрели палатками и дымили примусами. Над плантациями торчали национальные флаги. Тысячи автомобилей устраивались на плантациях, чтобы жить.

В этих местах была найдена нефть. Неизвестно было, то ли она есть, то ли ее нет. Но акционерные компании уже возникали. Но земли у негров уже скупались, перепродавались, переперепродавались, росли в цене, падали, скакали. Человек, который сегодня заплатит, предположим, доллар, может завтра получить за него сто долларов. Человек, потративший сто долларов, может быть будет через год миллионером, быть может, он разорится до тла. Но сюда ехали люди, чтобы продавать, покупать,—богатеть! богатеть!—стать миллионерами! покупать земли и акции, полагая, что четверть акции, сделав из доллара миллионы долларов!—Умеренные ехали, чтобы построить здесь ресторан, открыть отель. Негры были прогнаны отсюда,—они убежали от белых,—впрочем, я видел одного на бирже, он был в котелке и в визитке, несмотря на зной, он продавал свою землю, на его лице был страх.

Мы заехали своей машиной в кукурузу и пошли пешком в Глэйдвотер... Инженеры на глазах у всех буржили землю. Лица людей,—вот этих, которые понаеха-

ли, чтобы стать миллионерами, — лица отображали голько два чувства—страх и скупость. Было ясно, и этого не требовалось скрывать, что кто-то кого-то надувал. Экстренно, на грузовиках везли стандарты гостиницы, коттэджи, оффисы, рестораны и экстренно их складывали. Биржа поместилась под открытым небом, около сломанного заборчика. Вокруг биржи на развороченной земле возникали карусели, цирк, тир, лунапарк, проституция, предпочтительно негритянская. Экстренно рылись канавы фундаментов, стоков воды, новых дорог. Экстренно на новые места проводились газ, электричество, телефон. В небо вставлялись радиоантенны. Люди съезжались с семьями, с домами, с домашним скарбом. Экстренно возникало громадное место оседлости. Канавы и придорожные деревья были заставлены фургонами-квартирами. Негритянские деревни опустели. Люди съезжались, чтобы экстренно стать миллионерами. По всем видимостям, люди ехали, распродав все на прежних своих местах. Быть может, разорятся, быть может, размиллионятся!—Лица людей были страшны. Люди были сумасшедши и были в явном гипнозе. Люди не слышали друг друга. И среди них были очень спокойные люди, все знавшие, аборигены этаких дел,—столь же спокойные, как проститутки. Так было в свое время, надо полагать, в Новой Гельвеции Сэттера и на Аляске. Здесь творились, надо полагать, калифорнийские и клондайкские дела. Наш Исидор впал в горячку остальных,—он предлагал сейчас же продать автомобиль и купить акции,—

его надо было убеждать, чтобы он поехал с нами и не остался здесь. Светило ослепительное солнце. Степенные инженеры возились около двух-трех нефтяных вышек, которые выкачивали из земли пробную нефть. Нефть!—доллар!—миллионы!—«свобода»!— Светило очень яркое и очень жаркое солнце. Лица, которые я видел на вытопганных плантациях негров вокруг городишка Глэйдвотера,—эти лица были искажены страшными выражениями страха, надежд и скупости,—и решимости, конечно, и храбрости, конечно! Разориться иль размиллиониться!.. О-кэй!.. Читателя следует просить перечитать Джека Лондона.

А в ста верстах от этих будущих миллионов—тишина полей, субтропические леса около Миссисипи да каторжный труд негров.

И я вспоминаю первые дни моего американского обалдения:

... — больше! больше! больше! десять центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок, ручка, чашка, стакан, зубная щетка, прочая, прочая, прочая—и механический гадальный аппарат! больше пейте! больше ешьте! слепните от реклам! задыхайтесь бензином! давитесь автомобилями, радио и рефрижераторами! и город, вместе с людьми, стал на дыбы, сошел с ума, полез под землю, полез на скалы домов, ревет, грохочет, задыхается, хрипит, спутав всяческие перспективы, ибо—больше! больше! больше! десять центов воротничок!

В чем дело? почему такая безвкусица!? почему —

кроме всего остального—такая катастрофическая безвкусица!?!—безвкусица удобств, безвкусица наслаждений, безвкусица мечтаний и чести—ужели потому, что все это—идеалы мистера Котофсона, который всячески хорошо живет, желает всячески хорошо материально жить, отлично знает свое кишечное дело и не умеет читать!?!—ведь это почти ребячество—все самое большое: самый большой пароход, самый большой небоскреб, самый большой овраг, самая большая электростанция, самый большой тираж газет, самое большое количество выкуренных сигар, самое большое количество автомобилей—автомобили, автомобили, автомобили, до бреда,—самое, самое, самое, большое, большое, большое, большое! и—десять центов воротничок. Судьба миллиардера Вулворта, того, который по всей Америке понастроил свои десяти-и двадцатицентовые магазины,—известна. Судьба—американская, одно очко из миллиона неудач. Мальчиком Вулворт служил в газете на побегушках. Он любовался в своих бегах витринами. Он мечтал: как было бы хорошо купить вон ту книжечку или вон тот галстук, как было бы замечательно, если бы его гривенников хватало на все, что ему хочется. Он бросил газетные бега и пошел с логком, на котором всякая вещь стоила десять центов, превратив его, Вулворта, в героя мальчишек. Вулворт открыл киоск. Теперь Вулворт—миллиардер, у которого не только магазины по всей стране, но множество фабрик и заводов, производящих десяти-и двадцатицентовые стандартные вещи. О Вулворте сообщается, что

он осуществил «мечту детства». Вулворт сообщает, что все его удачи построены на воспоминаниях детской зависти. Сейчас у него покупают вещи уже не дети. Воспеватели вулвортовской «мечты детства» причисляют Вулворта к лику американских святых,—но Вулворт, надо полагать, имел резон, когда он считался только с детскими инстинктами. Больше! больше! больше! и—десять центов!—По всей Америке—на вершинах Сиера-Невада, в пустынях Колорадо, На Великих озерах, на морях и островах—торчит рекламный плакат «кока-кола», патентованного американского морса, достаточно паршивого, но сладкого: этот морс изобретен неким аптекарем, он пьется на всех дорогах Америки—пять центов бутылка,—и аптекарь—миллионер. По всем Соединенным Штатам, и даже в Китае, и даже на Огненной Земле, продается американское мороженое «эскимо-пай», примечательное тем, что оно, завернутое патентованным способом, не тает ни при какой жаре, его можно неделями держать на солнце и экспортировать в Китай: мороженое чрезвычайно скверно, но оно—не тает, пять центов плагка, и русский еврей, изобретший это мороженое,—большой миллионер! больше! больше! больше! и — даже не десять центов, но—пять!

Я ехал однажды в русском дачном поезде. Молочная гражданка вынула из корзиночки сверток, развернула его и стала есть свиное сало с хлебом. Мужчина, сидевший против нее, был, надо полагать, голоден. Он умиленно крякнул. Женщина жевала безраз-

лично. Мужчина сказал иронически, чтобы утешить себя:

— Подумать только, какая детская мечта—есть в вагонах!

Действительно — «детская мечта»!

Мне по моему писательскому чину разные журналы в Америке предлагали писать для них рассказы. В Америке на беллетристические художественные произведения имеется стандарт: или роман размером не меньше десяти листов, или рассказ размером не больше четверти листа. Писать рассказы заново для американцев досуга у меня не было, несмотря на расценку этих до четверти листа рассказов от ста долларов до двух с половиною тысяч тех же долларов: я предлагал просмотреть ранее мною написанное и выбрать подходящее. У меня хранится письмо редакции одного из американских журналов (тираж—два миллиона), в коем сообщается, что ни один рассказ мой не подходит, в виду того, что у меня персонажами являются или старики, или люди средних лет, а журнал печатает произведения только лишь про людей не старше двадцати—двадцатипятилетнего возраста. Оценка моих писаний—единственная за мою судьбу!

Не здесь ли возникает утверждение того, что Америка не имеет традиций, кроме одной традиции — традиции молодости?

И — автомобили, автомобили, автомобили — до бреда!

Конэй-айлэнд столкнул меня с неким американцем. Мы, несколько соотечественников, шли и разговаривали по-русски. Перед нами стал чрезвычайно низкий кубареобразный человек с громадной сигарой во рту и в хорошем костюме. Он был навеселе. Он прищурил глаз, сорвавшийся с работ немецкого художника Гросса, и сказал хитро, с немецким акцентом, по-русски:

— Ну, што вы скажэйт, — Аме-риш-ка!.. — о-кэй!..

Это было очень неожиданно и смешно. Мы расхохотались.

— Я скажэйт — Аме-риш-ка! — сказал он презрительно и прибавил тихо и грозно:—о-кэй!..

Случайно оказалось, что машины наши были рядом, и мы встретились вторично. Он вынул из заднего кармана фляжку, специально брючного, бутлегерского формата, кои вообще носит с собою очень значительный процент американцев. Он предложил нам виски. Оказалось, он — немец по национальности, не последний в Нью-Йорке человек, а именно — рабочий-строитель по какой-то канализационной части. Он сообщил об этом сразу. Он кого-то поджидал, сидя на подножке своей машины. На спине его автомобиля был плакат: — «Налетай, малый, разве ты не знаешь, что в аду есть еще место?!» — Он выпивал из своей брючной фляжки и говорил:

— Я скажэйт — А-ме-риш-ка, уез!.. проклятый страна — Новый свет, о-кэй!

Он выполнял американскую традицию — «кеер

smiling» — хранил улыбку. Откуда он знал русский язык, об этом толку мы не добились.

32

По миру ходят легенды о Форде. По миру ходят автомобили Форда. Эта книга, о-кэй, американский роман, так же насыщена Фордом. Форд описан не меньше, чем Шекспир. Форд клал один из краеугольных камней в последнее американское просперити. Форд пролился со своих заводов, как сообщено выше, даже в автоматические столовые и разлит конвейерами по всем американским дорогам и заводам.

Был я у Форда—о Форде даже скучно писать, так много о нем писано, и он, как всякий бог, американский в том числе, от рекламы только тускнеет, — а Форд — американский бог-спаситель. Божественные дела — не мои дела. И тем не менее я сейчас пишу о Форде.

Форд издал под своим именем множество книг, которые ходили по миру в качестве технических евангелий пуританской закваски. Оказывается, что книги Фордом писаны не были. Для меня, писателя, нет пакуднее дела, чем подписывание ненаписанного, — но дело не в этом. Дело в том, что Форд однажды привлек к суду газету «Chicago tribune», укоровшую Форда, так скажем, в неинтеллигентности. Форд пришел на суд свою интеллигентность восстанавливать судом. Дело на суде обернулось так, что Форд вынужден был признать, что книг своих он не писал, даже о «его жизни и о его делах». Форд оказался кругом «неинтели-

гентен». Газета по окончании процесса устраивала конкурс среди восьмилетних американских детей, в коем дети должны были ответить на те вопросы, на кои на суде не ответил Форд или ответил глупо. Дети отвечали на эти вопросы, касающиеся американских понятий «интеллигентности», в коих Форд недалеко ушел от мистера Котофсона, гораздо лучше Форда.

Форд — пуританин. Он не изменяет своей жене и не курит. Он — за сухой закон. Основные фордовские заводы находятся на родине Форда, в городишке Дирборне, в нескольких километрах от Детройта, в штате Мичиган, на берегу реки Руж, сиречь Красной. Форду принадлежат там поистине латифундии. Сам Форд живет за заборами и в тишине стражи и парков, куда никто не допускается, так что одному журналисту, которому Форд нужен был дозареза, пришлось плавать к нему тайком через реку вместе со своим фото и, прежде чем напасть на Форда, обсыхать в кустах. Проживая в таинственности, Форд только раз в году появляется на своем заводе, среди рабочих, во имя американского демократизма, когда рабочие могут хлопать Форда—во имя этого же демократизма—по плечу и здороваться с ним:—«хэлло, Генри!»—Кроме заводов и мест для своего собственного проживания, Форд учредил аэродромы, музей, гостиницы и, в частности, публичный парк, названный по иронии судьбы Руж (сиречь красным) парком. Не только на заводах Форда, в цехах и на площадях завода, не только в местах проживания Форда, не только в его конторах, в музеях

и на аэродроме, но даже в Руж-парке запрещено курить. Это запрещение не есть мера пожарной охраны, но мера гуманитарная. Форд не курит для здоровья. Форд против табака. Раз ты на фордовской земле,—не кури в таком случае для твоего здоровья!

Форд—гуманист! В заводских больницах у Форда рабочие за лечение платят плату. Но Форд — философ! — и в больницах у Форда введена работа, продолжение заводской работы, расплата за которую скидывает стоимость лечения. К койкам больных прилажены доски, изображающие станки, и больные навинчивают гайки на болты или в тех же болтах укрепляют шурупы. Форд ввел эту работу по соображениям, конечно, философическим, дабы больные зарабатывали деньги, убивали время нравственно, улучшали сон, аппетит и быстрее поправлялись.

Пуританин Форд — за сухой закон. Жалованье рабочим Форд выплачивает чеками. Чеки разложены в конвертах. Так находит наилучшим Форд. От времени до времени на квартирах рабочих появляются фордовские агенты и просят показать им чековые книжки. Особенно часто это бывает с холостежью. Агент просит рассказать, как и куда потрачены рабочими деньги. Агент желает проверить, не тратятся ли деньги на алкоголь и проституцию. Если будет установлено, что на той неделе рабочий выпил за здоровье Форда, или установлено будет, что влюбленный рабочий (это ведь, поди, тоже проституция) подарил своей невесте билет в кино, букет цветов и потратился с нею на поездку к

Ниагарскому водопаду, — если нечто этакое будет установлено агентами Фордовской нравственности, рабочий не получит следующего конверта с чеком и будет рассчитан по принципу миссис чортовой мамаша, как сообщалось выше. Форд не может допустить, чтобы у него были разврат и пьянство. Форд — за пуританскую нравственность!

И если помянута миссис чортова мамаша, то следует вспомнить здесь и украинского моего приятеля, который на фордовской квартире господа бога под небом недоумевал, каким образом у него было три автомобиля и не осталось ни одного?

Форд — моральный экономист. И Форд не признает Уолл-стрита, равно как сам он не занимается торговлей, но — изобретает. Форд не признает американской банковской системы. Он не берет и не дает денег под проценты, считая это антипуританственным. (Это очень существенно. Американские банки — короли капиталистического мира, хозяева земного шара — ничего не могут поделаться со своим американским соотечественником — с Генри Фордом. Разве это не замечательный пример американской «случайности»!?) Миллиарды Форда — в его предприятиях, но наличие, «сухие» доллары, надо полагать, Форд держит где-нибудь в кубышке, раз он не кладет их в банки. Форд слишком «морален», вплоть до некурения и до насильственного внедрения нравственности. Но и у Форда иной раз нехватает сухих. Так было, когда он переходил с модели Т на модель А. Форд, как сказано,

не торгует, он—только изобретает, усовершенствует, философствует и производит. Торгует за Форда его диллера, расселенные по всем штатам. Когда Форд переходил на модель А и у него не было наличных денег, он обратился к каждому из этих диллеров с просьбой дать ему в счет выпускаемых машин по тысяче долларов. Конечно, диллера ему дали. Форд обошелся без банков. Эту комбинацию с диллерами Форд придумал не сам. Тот, кто предложил Форду эту диллерную комбинацию, был Фордом экстренно рассчитан со службы.

Форд — только производит. Надо отдать справедливость: фордовский завод в Дирборне уже не вещь, а обстоятельство — и неповторимое, и поразительное, куда более сложное и в то же время упрощенное, чем американские конвейеры дорог. Трубы завода «Хайлэнд парк», основного фордовского завода, не имеют на себе ни единого мазка сажи: они подкрашиваются каждую ночь и белы, как седина и воротнички Форда. Заводские корпуса за заборами один от другого отстоят на километры, пешком пройти невозможно. Площади между корпусами превращены в лужайки зеленого газона, ежесекундно поливаемого механическим дождем. Нигде нет такого, чтобы в десяти (отмерено моими шагам)—в десяти шагах от доменного жерла зеленела газонная лужайка. Доменных же жерл против этого газона расположено штук пять, со всею многоэтажной сложностью доменного оборудования. По заводским полям между цехов, кроме автомобилей и авто-

бусов, разъезжают поезда с паровозами «большевик». Паровозы были заказаны при Керенском для России, советскою властью приняты не были, скуплены Фордом и прозваны «большевиками». Существуют эти паровозы, как явствует из сказанного, сроки, равные срокам советской власти в СССР. Машинисты ездят на этих паровозах в белых перчатках и в белых кителях, и «большевики», сиречь паровозы, блестят, точно они сегодня утром выпущены из сборочного цеха.

В белых перчатках, не измазав их не только на лужайках газона и на паровозах, — в белых перчатках у Форда можно пройти по всему заводу. Форд любит чистоту, как пуританскую нравственность! — и у Форда все конвейеризовано.

Что, казалось бы, может быть безалаберней и грязней литейных, — тех, в которых зарождаются машины? — У фордовских инженеров на руках обязательно хронометры. По минутам, по секундам инженеры проверяют шихту, ее паспорта, ее накладные, ее химический состав. В литейной — чистота, сверкающая так, как могут сверкать кафель и сталь. Даже пол, устланный железными плитами, нашлифован и наканифолен. Рабочие, разбитые по специальностям, расположены на стейлоренных для них местах. Инженеры проверили шихту для новой завалки. Хронометры на руках инженеров — абсолютны. Печи вздрагивают лихорадкой расплавленного металла и стонут. Термометр показывает 1700 нагрева по приказу хронометра с руки инженера. И тогда — сигнал к работе. Рабочие движутся

командою кранов. Кипящая, белая конвейеризованная сталь течет в конвейеризованные ковши. Командою конвейеризованных подъемных кранов, по хронометру с руки инженера, ковши понесли сталь к изложницам и командою тех же кранов сталь полилась в изложницы. Печи берут новую шихту, пока жидкая сталь превращена в диски, маховики, поршневые кольца и пальцы, в части машины и пока рабочие считают отходы. В кротовых ходах изложниц стыннут будущие части фордовских автомобилей. Они остыли. Они вынимаются конвейером по воле хронометра с руки инженера. Конвейер кранов относит их на платформы поездов, поданных паровозами «большевиками». Печи набухают температурой нового завала шихты. И тогда в цехе происходит гроза небесная: десятками шланг моются потолки, стены, воздух цеха, механический дождь поливает цех, и пылесосы воют громами небесными, пожирая пыль и воздух. В цехе светло и воздушно, как в мае после грозы. Генри Форд, если ему вздумается, может отрогать цех, не замарав белых перчаток. Формовочная земля приготовлена наново. Хронометр на руке инженера ведет время к новому литью. Конвейерный путь закончен. Инженер проверяет накладные и паспорта вновь поданной шихты. Начинается новая плавка.

Все тейлоризовано, все механизовано, все конвейеризовано — даже здесь, в литейном цехе, где зарождаются машины. Рабочий ходит здесь не за человека, но деталью к машине и времени. Все — на минутах и секундах. Кто-то из фордовских журналистов форму-

лировал, и Форд выдает за свое утверждение, что между потерей материала, потерей человеческого труда и потерей времени имеется существеннейшая разница, ибо материал и потраченный труд (не этим, так иным рабочим?) можно вернуть, но времени вернуть невозможно.

В литейном цехе зарождаются машины.

С «final assembly line» — с финального конвейера — сходят готовые машины. В этом цехе каждые пять секунд рождался новый автомобиль. Чего доброго, это уже не цех, а храм «науки и техники», граничащей с колдовством. Рождение автомобилей здесь можно наблюдать, совершенно не беспокоясь о чистоте белых перчаток. На конвейере длиной в четверть километра, в начале его возникает шасси автомобиля, краны снизу подают колеса, краны сверху подают мотор и радиатор, краны сбоку опускают на шасси кузов. Конвейер ползет удавом, размером в четверть километра. Когда до конца конвейера остается пять метров, в бензиновый и водяной баки в моторе вливаются бензин и вода, приемщик садится в автомобиль, вспыхивает мотор, вскрикивает гудок, и автомобиль, рожденный, сбегает с конвейера на склады и на площадки поездов. В этом цехе всегда светло. В этом цехе шум электрических ключей, свинчивающих машины, и шипение электро-воздушных красильных аппаратов кажутся музыкой. В этом цехе мало рабочих и почти не видно инженеров с их хронометрами на руке. Здесь машины рожают машины. По стене вдоль конвейера в этом цехе проведена под-

весная галерея, откуда, как в старинных монастырях, в одиночестве можно молиться по поводу рождения машины. Впрочем, посетители здесь, даже американцы, не молятся, не поражаются. Иные фордовские цеха туристы позажиточнее могут рассматривать сидя—с автомобилей, которые развозят туристов по цехам. В этом цехе, на этой галерее надо стоять. Под это стояние и под рождение машины, действительно, приходят в голову всяческие несуразные мысли. И действительно, многие американцы там начинают вскрикивать:

— Америка! гений Америки! — Форд! гений Форда! — Ведь все это, вот это самое рождение машины конвейером, — это применяется теперь повсюду, даже в ресторанах, даже у молочного торговца!..

В этом цехе поистине надо быть в белых перчатках.

Форд скупает свои старые автомобили, окончательно разбитые. Я видел, как эти автомобили умирают. По Ривер-Руж пришел пароход с такими стариками. Подъемные краны брали крюками эти автомобили за колени шасси, поднимали их в воздух, несли по воздуху к прессу. Не менее чем тысячетонный, надо полагать, пресс опускается на этих стариков. Старики вздрагивают, дергаются. Через минуту старики превращены в аккуратную-компактную плитку прессованного железа и стали. Автомобиль умер. Краны складывают штабелями эти плиты на поездные платформы. Краны волокут на смерть новых мертвецов. Здесь смерть автомобилей так же конвейеризована, как их рождение. И смерть зловещее рождения.

Заводские цеха у Форда отстоят друг от друга на километры. Но люди в цехах стоят друг к другу плечо в плечо, локоть в локоть. Этого требует конвейер, где работа производится, точно сказать, на ходу, и где люди стоят локоть в локоть для того, чтобы успевать за конвейером брать работу из-под локтя соседа слева и передавать ее под локоть соседа справа и успевать между этих локтей сделать положенное данному рабочему. Конвейер рассчитан по фордовской истине о том, что невозвратимо только время. Я знал одного рабочего, половина головы которого была лыса, — левая половина. Он был старым фордовским рабочим. Он работал в моторо-сборочном цехе. Над его станком проходила конвейерная цепь с запасными частями. От времени до времени он забывался, поднимал голову, разгибал спину и — запасные части, проходившие над его головой по конвейерной цепи, били его по левой половине его головы. Время сняло волосы с битой половины его головы. Станок этого рабочего можно было бы отодвинуть, но это на четверть секунды замедлило бы движение конвейера. В том самом храме, где рождаются машины, я видел нескольких рабочих, катавшихся на роликах по чистоте пола около конвейера. Ролики — это их собственное изобретение. На обязанности этих рабочих лежит привинчивание автомобильных частей под колесами, под конвейером. Это свинчивание производится, конечно, электрическими ключами, но для того, чтобы пробраться к свинчиваемым частям, рабочие должны сгибаться в несколько погибелей, таким

образом, что колени их оказываются у них подмышками. Так, с коленями по бокам груди, на роликах, чтобы двигаться по неподвижному полу за конвейером, рабочие работают восемь часов. Казалось бы, что можно приподнять конвейер в этом месте или сделать в полу углубление для этих рабочих, но — время, которое не повторяется! — Таких примеров можно привести десятки. Достаточно двух.

Достаточно двух примеров, ибо все они тонут в следующих справках. На фордовских заводах нет раздевален для рабочих, рабочие сваливают свою одежду куда попало. На фордовских заводах нет столовых для рабочих. В обеденный перерыв в цеха въезжают автомобили-палатки с сэндвичами, с кофеем в бумажных стаканчиках, с бульонами в таких же стаканчиках, и рабочие, постояв в очереди, едят свои обеды на корточках, или просто на полу своих цехов. О том, что рабочие не могут покурить в отдых не только в цехах, но даже на воздухе, сказано. Чистота в цехах Форда, — абсолютная, до белых перчаток.

О заботах Форда, чтобы рабочие не курили, не пили, не распутничали, когда нравственные агенты Форда проверяли чековые книжки рабочих, — сказано. Сказано, что Форд приучает рабочих к трудолюбию так усердно, что они работают у него даже в больницах.

Сказано, что Форд сам не торгует и даже не обращается к банкам, но — пуританствует, философствует, изобретает и — производит. Форд — американский бог-

спаситель. О нем не стоило б и писать, потому что господа боги имеют достаточную уже рекламу и от рекламы тоже тускнеют. Знал я в детстве своем некоего российского феодала, по имени Арсентия Ивановича Морозова, владельца Богородско-Глуховской мануфактуры в городе Богородске, ныне Ногинске. Я учился тогда в богородском реальном училище, учрежденном на деньги Арсентия Ивановича. Арсентий Иванович, владевший и хозяйничавший громадной мануфактурой, имел до нас, до мальчишек, некоторое отношение. Кроме фабричных забот, заботился он еще о старообрядчестве, состоял церковным старостой богородской старообрядческой общины. Старообрядческая церковь находилась в лесу, в стороне от города. Ездил к себе в храм божий Арсентий Иванович всегда верхом, с плеткой. У седла его подвязана была котомка. Если видел Арсентий Иванович на дороге беспорядочный шпагат, потерянную подковку, он слезал с коня, подбирал веревочку или подковку, прятал их в котомку. Мы, мальчишки, подкарауливали этакие поездки Арсентия Ивановича. Иные умели так хорошо поклониться Арсентию Ивановичу, что он отвечал на поклон, спрашивал, кто родители, и давал гривенник на конфеты. Но самым выгодным было не кланяться. Арсентий Иванович налетал тогда коршуном, влетало тогда невеже нагайкой, отъезжал тогда Арсентий Иванович от невежи шагов сто на рысях, но обязательно всегда останавливал коня, поворачивал его, подъезжал к невеже и молча совал ему рублевую ассигнацию. Ма-

нуфактура у Арсентия Ивановича поставлена была отлично, пот из рабочих гнал Арсентий Иванович замечательно, но у половины богородчан он же перекрестил первенцов... Арсентий Иванович Форд имеет такую о себе литературу, что писать о нем даже скучно. Утешением мне служит то, что Арсентий Иванович Форд не подпишет моих о нем писаний, как он подписывал писания моих по профессии коллег. Писатель Арсентий Иванович Форд написал однажды книгу «Евреи» — гнуснейшую и глупейшую черносотенщину, — и сам же «писатель» скупал впоследствии книгу с рынка.

Арсентий Иванович Форд — оказывается — феодал, пуританин (вроде старообрядцев), и невежда, и самодур, как все феодалы, и «философ», как все невежды. Арсентий Иванович Форд — обыватель, невежда, малограмотный человек — оказывается — никак не выпадает из американских законов Вулворта, кока-кола, «эскимоса», мистера Котофсона.

Разница между Арсентием Морозовым и Арсентием Ивановичем Фордом была лишь индивидуальная. Арсентий Иванович Морозов давал нам, мальчишкам, иной раз даже рублевки. Арсентий Иванович Форд знаменит своей скупостью, которая иллюстрируется следующим детройтским анекдотом. Форд, дескать, умер и предстал перед апостолами Петром, Павлом и прочими раехранителями. Те, как подобает, стали спрашивать его о его добрых делах, — что, мол, делал на земле? — Форд информировал апостолов об автомобилестроительстве. Апостолы спросили:

— Ну, а что ты благотворительствовал? Кому давал милостыню? Оставил ли, подобно мистеру бутлегеру Скотту, денег детройтцам на памятники?

Форд порылся в памяти и вспомнил один лишь эпизод, когда он дал чистильщику сапог лишний никель. Сообщил эпизод апостолам. Апостолы пошли на совещание к Иисусу Христу и вынесли постановление: признать благотворительность Форда неудовлетворительной, вернуть ему его никель и отправить его во ад крошечный!

Но Форд — последний демократический феодал Америки, — ибо:

— ...больше! больше! больше! десять центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок! триста пятьдесят долларов форд! больше! больше! больше! — американские процветают!..

По автомобилю форда модели А, — лух, кабриолет-купе-конвертебэл, выпуска тридцать первого года, — по черному кузову проведена зеленая полоска, — почему такая безвкусица мещанского благополучия!?

Был я у Форда в Дирборне. Десять дней я проносил фордовский значок инженера, за который заплатил пять (или десять — не помню) долларов и который давал мне возможность ходить по фордовским чистотам и пуританству в страданиях от некурения. «Дженерэл-Мотор-компани» побеждает Форда, ибо эта компания отказалась от фордовского «пуританства». Вечерами в городе Дирборне, в отеле Дирборне, в паршивеньком отеле, который, как и все в Дирборне, имеет

на себе эту самую зеленую полоску безвкусицы с фордовских кузовов, вечерами ко мне приходили соотечественники, товарищи, рабочие. Я слушал истории о миссис чортовой мамаше и о трех автомобилях. Меня возили в Детройт, чтобы показать памятник мистеру Скотту, притоносодержателю, над которым реет американский национальный флаг и который расположен рядом с памятником Шиллеру. Моими товарищами были рабочие, собиравшиеся ехать в СССР на Нижегородский автомобильный завод... как говорили, как говорили мы там в Дирборне об СССР!

Первого июля 1931 года заводы Форда стали — по приказу кризиса. Сто тридцать тысяч рабочих пошли гулять по ветру.

К годовщине Октябрьской революции в 1931 году, коммунистка Бетси Росс, праправнучка первой американской гражданки Бетси Росс, передала детройтской организации компартии красное знамя, коммунистическое знамя, сшитое ее руками.

— — все время мне снился сон, все время я хотел восстановить фантазией и знанием те парусники, которые везли в Америку пионеров, — этакий кабот, этикие люди за столом в кают-компаниях, заросшие бородами, в свете чадных масленок, — ибо в Америку ехали с единым желанием — хорошо жить, всячески хорошо жить, каждый по своему пониманию, — и ехали со всех концов земли, убегая от гнета европейской тогдашней властишки, от голода, — сектанты, бандиты, авантюристы, мечтатели...

Этого сна я не видел. Время олицетворило хорошее житие в доллары. Время установило правила пионеров: делай, что хочешь, делай, как хочешь, лишь бы ты преуспевал.

Но время ж сделало то, что написано выше.

33

Тем не менее: Америка, это — страна, которая занимает только 6,5 проц. площади земного шара, имеет только 7,2 проц. населения земного шара, — самая богатая страна в мире, капиталистический хозяин земного шара.

Эта страна имеет — эта страна участвовала в мировом хозяйстве (до кризиса):

90 процентами всех строящихся в мире автомобилей,

70 процентами добываемой в мире нефти,

57,1 процента металлообрабатывающей промышленности мира,

50 процентами металлургической промышленности мира,

47 процентами химической промышленности мира, и прочая, прочая, прочая, — везде на первом месте. Половина всех высших учебных заведений земного шара — в Америке. Америка, эти шесть с половиной процентов площади земного шара, потребляет электрической энергии ровно столько, сколько ее потребляет весь остальной земной шар. Вся Америка может в одно необыкновенное утро сесть на автомоби-

ли — вся до последнего человека, и вся Америка — поедет. Для этого не понадобится поднимать тех автомобилей, которые сплющены Фордом или валяются по канавам дорог в назидание потомству. Больше чем половина — три пятых — всех телефонов в мире находится в Америке. За наше с Джо путешествие в Калифорнию, когда квартира в Нью-Йорке пустовала, а мы забыли внести телефонную плату, у нас был выключен телефон. Вернувшись в Нью-Йорк, мы абонировались вновь. Пришел монтер с новым аппаратом, снял мертвый аппарат и поставил его в угол, на его место наладив новый. Я занедоумевал, зачем нам новый аппарат, когда он совершенно таков же, как старый, и почему старый оказался в углу? Монтер сказал:

— А давайте его, куда хотите. Стоимость аппарата включена в абонентную плату. Сбирать выключенные аппараты для компании дороже, чем оставлять их у бывших абонентов.

При редакции того самого журнала, где не были напечатаны мои рассказы из-за пожилого возраста моих персонажей, имеется своя собственная, редакционная химико-технологическая лаборатория. Я был в ней. Действительно, это громадная белая лаборатория, разделенная на отделы, где работает до сотни химиков и технологов в белых халатах. В одном отделе исследуют технологию шерстяных, шелковых и искусственно-шелковых волокон, костюмов фирмы такой-то. В другом отделе исследуют химический состав кон-

фет, печений и сушеных фруктов таких-то. В третьем отделе исследуют прочность резины в шинах таких-то и прочую резину. Дело в том, что этот журнал в собственной лаборатории анализирует все товары, по поводу которых он дает объявления.

А в журнале «Либерти», который не установил американской честности, под каждым рассказом, статьей, заметкой пишется: «3 мин. 17 секунд», «67 секунд», «5 мин. 2 секунды»,—то-есть пишется, сколько минут и секунд должен потратить читатель, чтобы прочитать предлагаемые ему стихи, рассказы, «стори».

На вытопанные негритянские поля между городами Глэйдвотер и Лэйквью, где то ли будет, то ли не будет нефть, первым делом пролагали канализационные и водопроводные трубы, газ, электричество и телефон. Дома пока везли временные. Постоянные дома будут поставлены, когда на вытопанных маисе и хлопке будут распланированы Ист Вест, первые, вторые и прочие стриты и авеню (по-русски сказать, улицы и аллеи) и будут проведены—газ, телефон, электричество, канализация, вода, и будут заасфальтированы улицы. Этакие заготовки городов, где нет домов и людей, но есть распланированные улицы в асфальте, водопровод и газ, я видел не только между Лэйквью и Глэйдвотер, но и в Калифорнии, и в штате Мичиган (неподалеку от Форда), и под Нью-Йорком.

О коровах, которые живут под радио и доятся электричеством,—рассказано.

И прочее, прочее, прочее.

Но дело не только в цифрах и статистике.—дело в темпах.

Беру справки из справочников наудачу.

Автомобильный завод «Дженерэл-Мотор-компани» в Понтиаке. На заводе производятся автомобили марок Окланд и Понгиак. Заводские цеха состоят общей площадью в 150 тысяч квадратных метров. Завод рассчитан на выпуск тысячи двухсот автомобилей в день. Через шесть месяцев, как впервые на пустыри пришли первые инженеры и рабочие, день в день через шесть месяцев завод был пущен в производство.

Стекланный завод в Ланкастере. Сгорел до тла. Через пять дней после пожара компания заключила договор на постройку нового завода. Через четыре дня строители приступили к работе. Через тридцать рабочих дней завод был пущен в ход.

Гидро-электростанция в Коновиго. Вторая по мощности в Америке, после Ниагарской. Мощность—378 тысяч лошадиных сил. Высота падения воды—двадцать семь метров. Города Коновиго больше нет. На его месте озеро в тридцать пять квадратных километров. Ширина плотины около полутора километров. Семь турбин по пятьдесят четыре тысячи лошадиных сил. Расход воды—около ста семидесяти кубометров в секунду. Сооружение потребовало выемки около трехсот тридцати тысяч кубометров твердых пород, около ста шестидесяти тысяч кубометров песка и суглинков. Был построен железнодорожный мост и железнодорожная ветка. Максимум занятых рабочих —

пять тысяч триста человек. Все строительство от начала до конца продолжалось два года без одной недели.

Небоскребы Крайслэр и Эмпаэрстэйт—оба были построены — каждый в отдельности—меньше, чем в год, эти два высочайших в мире здания.

Нью-Йорк увеличил свое население за последние сорок лет в три раза. Чикаго увеличил свое население за последние сорок лет в шесть раз. Лос-Анжелес увеличил свое население за последние сорок лет в сто двадцать четыре раза. В Детройте население удваивалось каждые десять лет.

За последние сто лет в Соединенных Штатах:

Население выросло в	9 раз
Число жителей в городах с населением свыше 8 тыс. в	68 „
Обрабатывающая промышленность выросла в	707 „
Число веретен в хлопчато-бумажной промышленности в	101 „
Добыча чугуна в	222 „
Добыча угля в	4289 „
Механическая двигательная сила в	35000
Железнодорожная сеть в	11400 „
Экспорт вырос в	68 „
Импорт вырос в	56 „
Национальное богатство выросло в	70 „

Производительность труда американского рабочего ныне в 30 раз выше производительности труда китайского рабочего, в одиннадцать раз выше итальянского рабочего, в два с половиной раза превышает производительность труда немца. На каждого рабоче-

го, работающего в американской промышленности, приходится, в помощь ему, четыре с половиною механических лошадиных силы.

На изготовление автомобильного мотора у Форда (в сутки их производится десятки тысяч) идет двадцать девять часов,—точнее — двадцать восемь часов пятьдесят минут, по следующему расчету:

- 1) разгрузка парохода с рудой, поступающей на завод 10 минут,
 - 2) превращение руды в чугун 20 час.,
 - 3) литье блока цилиндра 5 час.,
 - 4) обработка блока в механическом цехе (блок проходит сорок четыре операции). 1 час. 40 минут,
 - 5) сборка мотора и испытание его 2 час.
- Итого 28 час. 50 минут.

34

За последние сто лет в Америке все удесятерилось, утроилось, утысячилось. Но столетние справки не безлюбопытны. Павел Свинын, соотечественник, был в Америке сто двадцать без малого лет тому назад. Он пишет:

«Европейская война была весьма благоприятна для американцев. Пользуясь ею, при помощи нейтральности своего флага, они распространили мореплавание свое и торговлю, обогатившись за счет всех наций, и, так сказать, целым веком подались вперед. С другой стороны, ограничение

сей же торговли, невпуск товаров и амбарги возродили у них фабрики и мануфактуры, появление коих было столь значительно, что невероятно, чтоб когда-либо изделия прочих народов могли привести их в упадок, а известно, что англичане потеряли от сего на несколько миллионов фунтов стерлингов ежегодно вывозу своих товаров. Художники, выехавшие из Европы, соединили свои знания и способности с американскою предприимчивостью, и, ободряемые покровительствующими законами и свободою, превзошли, так сказать, самих себя. Не имея английских богатств для учреждения обширных заведений, и чтоб заменить некоторым образом дороговизну рук, которая там несравненно выше, нежели в Англии, американцы прибегали к усовершенствованию различных машин и сделали их проще и легче в действии. В сей части показали они особенно творческий ум, и во всем том, где нужда была изобретательницею, чрезвычайные успехи. Механические изобретения совершенно заменили в Соединенных областях человеческие руки. Там все делается машиною: машина пилит каменные утесы, работает кирпичи, кует гвозди и проч... Но ничто более не поразило меня столько, как Стимбот (паровое судно), изобретение американцев, и чем более я рассматривал оное...»

«Стремительные перемены во всех частях и исполинские шаги земли сей к могуществу и про-

цветанию в продолжение сих последних десяти лет сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные прежде сей эпохи».

«Не надобно искать в Америке глубокомысленных философов и знаменитых профессоров; но зато удивитесь справедливому понятию последнего мужика в делах торговых и промышленных. Страсть к торговым предприятиям господствует во всех классах, и сие неминуемо рождает страсть к сребролюбию и другие проистекающие из него пороки; деньги божество для американца, и можно сказать, что одно богатство земли и набожность поддерживают еще до сей поры их нравственность».

Так писал Павел Свиньин 117 лет тому назад.

Если в Германии сейчас чиновником является один из четырнадцати, то в Америке—один из тысячи. В Америке все, что можно видеть и не видеть, измеряется цифрами и всюду проставлены цены—на предметах искусства, вывезенных из Италии, Греции, Египта, Индии, Китая, на залах для выставок, на мостах. Даже на церквах иной раз можно прочесть: «продается» и цена,—это в тех случаях, когда прихожане не выплачивали в срок положенного подрядчикам, и подрядчики продавали церкви на слом или другим общинам: методистскую—католикам, католическую—евреям. В Америке надо трудиться, и физический труд рук следует помножать машиной на мозг, контролиро-

ванные долларом. Речами в Америке не проживешь. Бог, подобно речам, равно как и всяческие другие «духовные» ценности,—не долларны в Америке, стало быть, не ценны.

Фордовские литераторы пишут, и Форд работает в пророка (мчать на автомобиле неизвестно зачем,—это—да, ценность!), Форд подписывает заповеди:

«Не чти прошлого и не бойся будущего».

«Наша деловая жизнь,—это зеркало нас, как нации, наших хозяйственных достижений, и она создает нам положение среди других народов»;

«работа—это единственный наш руководитель. Это одна из причин отсутствия у нас титулов и званий(!)».

В Америке—промышленная свобода и свобода для промышленников. Кока-кола, мороженое «эскимо», Форд. В Америке хорошо платили за труд, ибо он был дорог, он создавал внутренний емкий рынок, но в Америке также заботились, чтобы для труда оставалось поле: не только разбитыми вдоль дорог автомобилями и брошенными телефонными аппаратами, но и традициями, вроде следующей, когда 16 сентября всюду, в мусорных ямах, на Гудзоне, в вагонах собвея, по всей Америке валяются брошенные соломенные шляпы, какова бы ни была погода. 16 мая вся Америка надевает соломенные шляпы. 16 сентября вся Америка снимает соломенные шляпы. 16 сентября все мальчишеско-индейски-кинодейские банды всех «блоков»

объединены для уничтожения соломенных шляп, мальчишки вооружены палками с гвоздями на конце, чтобы срывать соломенные шляпы. Мальчишки помогают машинам, но машины, экономящие время, развивают массовое производство, которое удваивает свою «эффективность» (американское слово!) рационализации. «Наша деловая жизнь—это зеркало нас, как нации!»—«технология» безработицы!..

Плакаты сообщают истины американской морали:

«Время—деньги!»

«Кто не работает больше, чем ему платят, тому не платят больше, чем он работает!»

«Твой отрезанный палец не отрастет даже через сто лет!»

«Несчастный случай—потерянное время!»

И в Америке к породе всячески знаменитых басов, баритонов, меццо-сопрано, скрипачей, пианистов надо прибавить математиков, химиков, физиков, конструкторов, инженеров. Их лекции воспринимаются, как концерты. Они любимы, как тенора. Их речи и формулы передаются по радио. Математика, физика, химия окутаны в Америке эмоциями. Этого, в массовом масштабе, я нигде не видал на земном шаре.

35

Круг последних моих цифровых изложений касался американской техники, американских стандартов, американских высот, этой страны, которая занимает

только шесть с половиною процентов площади земного шара, имеет только семь и две десятых процента населения земного шара и скопила богатств больше, чем половина земного шара. Когда говорят, что у Америки нет своей культуры (это говорят часто),—говорят неверно,—культура у Америки, своя собственная, — есть. Эта культура суть все то, о чем рассказано выше,—небоскребы, подземелья, мосты через реки, железные дороги через горы, автомобили, руды, каменный уголь, всяческие мировые рекорды. Эта культура—буржуазная культура. Америка не знала дворянской культуры, равно как не знала и накладных на феодализм и дворянские регалии расходов. Америка северных штатов была враждебна феодализму. Если феодализм располагался было в южных штатах, он уничтожен гражданской войной.

На земле все проходит и ничто не вечно, равно как и ничто не проходит. Эта американская культура теперь выродилась в невозможность жить в Америке, ибо там можно задохнуться от бензинного пота, и человек не есть человек (хоть и считает себя индивидуалистом), но есть дополнение к конвейеру, ибо небоскребы, дома в двадцать этажей, улицы и автомобили там сошли с ума в анархии и лезут друг на друга, все спутав, равно как и Белый Дом спутал свои функции с Алом Капоном и Догени, но эта американская культура сто лет тому назад, семьдесят лет тому назад была явлением положительным, прогрессивным, двигающим человечество вперед,—эта буржуазная, де-

мократическая культура, скинувшая с ног своих кандалы монархических плесеней, дворянских регалий, феодальных склерозов. Эти плесени, регалии и склерозы в Европе кое-где существуют еще и до сих пор. Английский парламент одевается иной раз в парики средневековья и заседает в Вестминстерском аббатстве. Во Франции карета из замка Шамбор, с долины реки Луары, из того самого замка, где впервые Мольер ставил своего «Мещанина во дворянстве»,—карета не доехала еще до Парижа с королем Шамборским; в замке ж Амбуаз, в той же долине Луары, который до сих пор принадлежит герцогам Орлеанским, похоронен Леонардо да-Винчи; как не поклониться векам Вестминстера, Мольера и Винчи?! — и как не вспомнить Речь Посполитую, вспоминая о Шамборских!—и как не вспомнить «сумрачный германский гений», раскатувшийся от Гёте до Ницше и от Ницше до Вильгельма второго, скованный ныне польским коридором!— и как позабыть афинский форум, римский коллизей, египетские пирамиды! — У Америки не было ни древности, ни средневековья. У Америки нет ни Мольера, ни Гёте, ни Винчи, ни замков, ни соборов, ни развалин. Америка возникла в отряхновении от пыли этих развалин, соборов и замков, возникла, не нуждаясь в них. Америка бежала от шамборских политэссов. Америка не хотела голодать за счет постановок—у Шамборских впервые—мещанинов во дворянстве, считая, что мещанин может обойтись и без дворянства. Америка строилась не под подати и под политэссы балов в зам-

ках на скалах и в долинах Луары, но под стук топора дровосека. Здесь возникает американский примат материальной, вещной культуры над культурою гуманитарной, духовной. И все это сто лет тому назад было положительным в истории развития человечества, положительным, прогрессивным и революционным.

Следующие три исторических факта никак не следует сбрасывать с весов истории.

Первый. Американская война за независимость, американская Декларация Независимости 1776 года были набатным колоколом для демократических революций Европы, для Великой французской революции. Декларация Независимости впервые в истории человечества провозгласила принципы равенства граждан, свободы вероисповеданий, уничтожение феодальных привилегий. В американской войне против монархических регулярных английских войск дрались вооруженные крестьяне, рабочие и ремесленники, дрались за свою свободу, и они научили французскую революцию, как надо драться с войсками короля и королей. Гряд деятелей французской революции—Лафайет—получил революционное воспитание в войне американцев за независимость.

Ленин писал:

«История новейшей, цивилизованной Америки открывается одной из тех великих, действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного среди гро-

мадной массы грабительских войн, вызванных, подобно империалистической войне, дракой между королями, помещиками, капиталистами из-за де-лежа захваченных земель или награбленных при-былей. Это была война американского народа против разбойников-англичан, угнетавших и дер-жавших в колониальном рабстве Америку, как угнетают, держат в колониальном рабстве еще теперь эти «цивилизованные» кровопийцы сотни миллионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира».

Второй. Генеральный совет Первого Интернацио-нала нашел нужным и возможным для себя приветст-вовать одну-единственную, тогда существовавшую, го-сударственность—Американские Штаты, и Амери-канские Штаты сочли своею честью ответить Первому Интернационалу письмом Авраама Линкольна на имя Генерального совета. Первый Интернационал был в переписке с правительством Америки.

Но это не все. Подобно тому, как ветер американ-ской войны за независимость был одним из тех вет-ров, которые породили бурю французской революции, гражданская война оказалась одним из ветров, поро-дивших Первый Интернационал. 28 марта 1863 года, в Лондоне, в St.-James-Hall'e был собран митинг ан-глийских рабочих, грандиозный рабочий митинг сочув-ствия северянам: этот митинг одновременно оказался подготовительной ступенью к организации Первого

Интернационала. История гражданской войны в Америке здесь непосредственно переплелась с историей великой международной рабочей организации.

Генеральный совет Первого Интернационала, рукою и пером Маркса приветствуя переизбрание Авраама Линкольна на пост президента, в дни гражданской войны в Америке, писал:

«...когда олигархия трехсот тысяч рабовладельцев впервые в летописях мира осмелилась написать на знамени вооруженного восстания «рабство», когда на том самом месте, где едва сто лет тому назад зародилась идея единой великой демократической республики, где вышла первая декларация прав человека и был дан первый толчок европейской революции XVIII века; когда именно там контрреволюция могла хвастать тем, что она систематически и основательно выбрасывала как ненужную ветошь идеи «эпохи составления старой конституции»... тогда рабочие классы Европы, еще прежде, чем им это подсказало фанатическое заступничество высших классов за Конфедерацию помещиков (плантаторов юга), сразу поняли, что мятеж рабовладельцев был набатом ко всеобщему крестовому походу капитала против труда и что для трудящихся не только их надежды на будущее, но и прошлые завоевания поставлены на карту в этой страшной борьбе по ту сторону океана».

Судьбы американской гражданской войны, судьбы американской революции оказывались судьбами мирового рабочего движения.

И факт третий. У рабочего класса есть свой прекрасный праздник, праздник молодости рабочего класса, праздник солидарности, праздник труда, праздник будущего—первое мая. Этот праздник впервые был учрежден американским Орденом Рыцарей Труда, как романтически называлась одна из первых революционных организаций в Америке.

Все это — было! и все это — прошло!

Мне все время снился сон, я хотел восстановить памятью фантазии американских бородатых пионеров. Проще, оказывается, обойтись без фантазии, но со знанием.

36

Ряд обстоятельств стал фундаментом того, что является ныне собой Америка или являла десять лет тому назад, ибо совершенно прав соотечественник Павел Свиньин, сказав, что «стремительные перемены земли сей сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные до сей эпохи». Америка делалась никак не белыми перчатками, хоть она и сделала ныне—и именно поэтому.—Арсентия Ивановича Форда. Основные причины, сделавшие Америку, это—люди, время, американская конституция, положение Америки на земном шаре и земли самой Америки. Люди, время и американская земля привели Америку к тому,

что она есть сейчас, о чем рассказано и рассказывается.

Люди. Русская революция преобразовала слова, говорят—не он ушел, а его ушли. В Америку не только ехали, но и их ехали. Америка для Европы была не только убежищем недовольных, мечтателей, авантюристов, сектантов. В Америку не только бежали от европейских властишек, от средневекового склероза, от революций и контрреволюций. Но туда ехало европейскими властями, английскими в первую очередь, много ссыльных, уголовных, отверженных, для коих однажды добросердечная и сердобольная английская королева Анна прислала даже два корабля проститутток. Властей—в те времена, когда Америка была английской колонией—было мало, и власти были плохие, и властей сторонились, и власти английские скоро были скинуты. Если действительно представить себе кабот в Атлантическом океане, который шел от Европы до Америки месяца полтора по воле ветра, и представить себе людей на каботе, безразлично, галерных ли, вольно ли едущих, сектантов или ремесленников (крестьяне в то время не ехали, если не считать крестьянами кулацко-квакерствующих), то наверняка можно утвердить, что на ночь эти едущие под подушку клали себе топоры, при чем топорами они владели лучше, чем, предположим, фузелями, при чем ехали они—в новый свет. И наверняка можно сказать, что эти люди не очень-то охотно рассказывали свое прошлое. А прошлого их родов у большинства из них никак не

было. Иными словами—в Америку ехал отбор европейских людей. А по тогдашним средневековым временам (ибо средневековье пребывало, по существу говоря, до революции Кромвеля и до Великой французской) это был положительный отбор. Люди приезжали на первобытную землю поистине с топорами дровосека, чтобы прорубать тропинки в первобытных лесах. Здесь выживали только те, кто умел бороться с природой, умел работать и делать,—иные мерли, и мерли жестоко, в поучение оставшимся в живых. Человек в первую, в решающую очередь должен был рассчитывать только на самого себя. Утверждение американцев, что счастье человека и его судьба только в его руках, зародилось в те времена. Богатейшая американская природа пошла навстречу этому утверждению. Делать людям в Америке приходилось все наново, ибо, кроме лесов да рек, да озер, да гор, да долин, да зверья, там ничего не было, а месяцы путей через океан не давали возможности везти из Европы все нужное. Люди ехали, убегая от Европы, от нищенства в первую очередь, люди хотели хорошо материально жить,—и труд от бондаря до лекаря был почетнее, чем труд судьи и мэра, недобрые памяти о коих остались еще от Европы. Эти,—такие люди, ехали в Америку не только в дни пионерства, но за всю историю Америки, до дней мировой войны, ибо только с мировой войны квотирована иммиграция в Америку, когда американцы почли, что им достаточно их собственного населения. Ведь только за последние сорок лет население Америки уве-

личилось в девять раз. Ведь до сих пор четверть нью-йоркского населения говорит по-русски, а если не по-русски, то по-польски иль чешски, потому что последняя волна переселенцев в Америку была именно из западных губерний Российской империи, из Восточной Германии, из Славянской Австрии. Да ехали еще итальянцы. Эта последняя волна переселенцев отличалась от пионеров тем, что на них лежали лишние полтора века европейской цивилизации и выучки. Но ехали опять такие же, которые хотели хорошо материально жить. Об этой последней волне переселенцев речь впереди. Ныне люди в Америке, пионеры, выродились до всеамериканского обывателя.

Время и конституция. Люди, сделавшие Америку два века тому назад, по существу своему были демократами, ремесленниками в первую очередь. Эти люди не хотели быть мещанами во дворянстве, но хотели обойтись вообще без дворянства. Люди, не спрашивавшие о своем прошлом, естественно отказались от регалий и традиций прошлого, и для них не важно было, кто ты,—эллин или иудей, германец иль галл. Люди, не очень распространявшиеся о своем прошлом и на тему так называемой совести, дабы не трогать гирь и подвалов этой так называемой совести, люди, приехавшие, вроде пуритан иль методистов, от церковного гонения,—те и другие сумели так устроиться, что до сих пор иной раз в одном и том же помещении молятся и католическому, и методистскому, и лютеранскому, и еврейскому богам. Церковь в Америке—де-

ло глупости каждого верующего, хоть и требуется при въезде в Америку, как это требовалось с меня, верить в любого, но бога. Люди освободились от чинов и званий феодализма (кои до сих пор «графствуют» и «баронствуют» в Европе). Все это было революционно для тех времен. Американские фермеры шли на землю промышленниками, ремесленниками. Земного пупа они не вдыхали, но обрабатывали землю, чтобы есть, и предпочитали ее обрабатывать машиной, инструментом, чтобы меньше ковыряться в грязи. А если находили лучшие земли, тогда покидали старые без всяких философствований и пупов. Америка началась в то время, когда она не могла уже терять связи с миром, ибо в круговорот человечества был вовлечен весь земной шар, и Америка для Европы была примерно тем же, чем для русских крепостных мужиков были донщина, казачество, с тою лишь разницей, что для бегов на донщину требовались заячьи лишь пятки, а через океан не прониринешь, и заокеанские беженцы должны были иметь рубли хотя бы на билет. Эта ж связь с миром существенна тем, что американцы всегда знали все последнее, что было в мире, под руками ж имели первобытность и, приручая первобытность, пользовались последним человеческим знанием мира. В Америке ничего не было. Бочонок оказывался не менее важным, чем библия, ибо библию можно было почитать и послезавтра, но до послезавтра без воды в жаркую погоду можно помереть. Америка ценила вещь и спешила. В Америке ничего не было

и в первую очередь нехватало рабочих рук, что создало, во-первых, такие условия, когда и в лесу, и в полях большинство рук оказалось рабочими, а во-вторых, американцы постремались заменить руки машиною. Все это делали без перчаток. Освобожденные от налогов и нахлебничества феодализма, освобожденные от военных налогов (о чем несколькими строками ниже), в богатейшей природе, американцы, мелкие буржуа, скапливали деньги. Американцы колонизовали первобытные земли не так, как тысячелетия тому назад их колонизовали первобытные люди, но как люди, пришедшие в первобытность с тысячелетиями человеческих навыков и знаний. И Павел Свиньин прав: дороговизна рук была толчком к замене рук машиной. Павел Свиньин прав: «художники», сиречь инженеры, механики, строители, врачи, сиречь человеческий мозг,—были скупаемы американским долларом. Но он и сам, этот человеческий мозг, ехал в Америку, в страну демократии и инициативы, ибо в те времена это было лучшим в мире и наиболее подходящим мозгу. Американцы, демократы, мелкие буржуа, люди, хотевшие хорошо жить, в первую очередь скупали тот мозг, который им облегчал труд, строя машины и вещи, и который помогал их здоровью. Философов американцам не требовалось, Павел Свиньин прав, и мистер Котофсон подтверждает. Впрочем мистер Котофсон повез свою дочь обучаться у английских леди-писательниц: это последнее—лишь двадцать лет Америка позволяет себе роскошь, разбогатев окончательно, когда амери-

канцы норовили купить весь афинский акрополь, чтобы перевезти его к себе в подарок от дяди тете, равно как закупили наших Шалапина и Сикорского, авиатора. Америка была открыта во-время. Законы американской демократии сто лет тому назад были революционными законами, помогавшими развитию американцев,—равенство прав, свобода совести, свобода национальностей. Мелкая буржуазия не очень прихотлива, но любит деньги и вместо масляного портрета любит вешать фотографию папы. Американская «свобода» демократии, анархия инициативы—до тех пор, пока Америка не была окончательно заселена и пока не хватало вещей—была положительна. В Америке не хватало вещей и вещи делались. Америка спешила. Все это—было. Ныне ж Америка—об этом рассказано и рассказывается. Вещами в частности в Америке можно подавиться, а демократия уперлась в бандитизм.

Земля. Америка называется новым светом. Новый свет хорошо упрятался за океан. Океан, по существу говоря, приручен лет семьдесят лишь тому назад. Даже в дни гражданской войны у англичан были коротки руки для того, чтобы как следует добраться до американцев. Американцы могли утверждать, что «Америка—для американцев», и жили без европейского беспокойства, хотя и спешили. Когда ж океан был окончательно взнуздан, американцы уже умели очень хорошо отливать свои собственные пушки и давно уже к тому времени посылали в Европу не только ром, но

и пшеницу, и хлопок, и машины. Речь идет о географическом положении Америки на земном шаре. Оно же освободило Америку от европейской чумы, здравствующей от дней средневековья до сих пор, — от войн. Америка почти не имела войн, они наперечет и все они удачны. Но самая удачная война хуже никакой войны, — и, по существу говоря, Америка стала иметь настоящую армию только с двадцатого века.

Не считать же за войны изничтожение индейцев! — в буржуазном лексиконе это называется «колонизацией». И эта колонизация в Америке продолжалась до самого двадцатого века, равно как иммиграция в Америку, — два обстоятельства, пополняющие друг друга. Американцам досталась чудесная страна, богатейшая и огромная земля чудеснейшего климата, чудеснейшего рельефа, чудеснейших водоразделов и рек, от субтропических ливней до таежных снегов. В этой земле и на этой земле есть все: леса, луга, степи, долины, горы, звери, рыбы, гады, земные залежи, минералы, руды. И Америка до самого двадцатого века росла, колонизируя самую себя, зародившись длинной полосой на берегу Атлантического и добравшись затем до Великого океана. Французы, колонизируя Африку, русские цари, колонизируя Сибирь, — вместе с землями получали и людей в первобытных социальных отношениях и понятиях, с коих ничего не возьмешь. Англичане, колонизируя Индию, вместе с землями получали людей в азиатском феодализме, с коим также возни не мало. Американцы колонизовали пустые земли, отправляя

на эти земли людей своей культуры и своих традиций. Об этих людях рассказано рассказом о судьбе Иоганна-Августа Сэттера. Эти люди спешили. Эти люди отбрасывали все лишнее и ненужное. Эти люди тащили за собою железнодорожные пути и пахали землю машиной, но не плугом. Все это делалось никак не чистыми руками. У каждого—по справке Джека Лондона—за поясом был нож, но это не значило, что человек шел драться. А земли действительно были богаты, и человек спешил, человек бежал от мили к миле, чтобы захватить больше и больше. Тогда именно возникла заповедь, присвоенная Фордом: «Не чти прошлого и не бойся будущего!»—Человек помнил традиции—хранил улыбку, о-кэй, счастье в твоих руках, все на этом свете счастливый случай, обернешься, станешь миллиардером, обернешься, станешь президентом. Только делай, — а делай, что хочешь, и делай, как хочешь, в этой стране демократов и труда, и—спеши. Эта поспешность осталась до сих пор не только тем, что Америка погнала себя автомобильной скоростью, но даже заводами, которые строят свое оборудование на два-три года, ибо через три года это оборудование устареет в конкуренции. Делай! спеши!—о-кэй! спорт! — земли были богаты, руки были свободны демократическими свободами, все измерялось случайностью,—и земля, и свобода, и случайность—в стихийном богатстве, в случайной случайности, в стихийной воле стихийного отбора человечества—стихийно вознаграждали сторицей. Так ко дням империалистической мировой войны аме-

риканцы стихийно колонизовали самих себя, упершись в океаны.

Все это — было.

В двадцатый век Америка вошла никак не очень большим событием и ни в какой уже мере не хозяином капиталистического земного шара. В семидесятых годах прошлого века должно было говорить о великой демократии: в девяностых годах можно было еще говорить о демократии. Это была большая сельскохозяйственная страна, с хозяйством, предпочтительно, экстенсивным. Это была страна промышленно неплохо оборудованная, но с балансом ввозящим.

Действительно, есть до сих пор чудачки, которые утверждают, что Америка, как была сто лет тому назад, так и теперь, — страна пуританская, демократическая и полная таких биографий, как Вулворта и Форда. Эти чудачки путают свою молодость с действительностью, когда утверждают, что Форд, дескать, помнит свои мозоли мелкого инженера, что председатель Стандарт-Ойл-компани—бывший тарталыщик, председатель Пенсильванской (крупнейшей) железной дороги — бывший сцепщик, что председатель Радио-корпорэйшэн — Сернов — могилевский еврей, газетный мальчик, а Эдиссон — механик маленькой мастерской. Все это так. Действительно, Америка до 29 октября 1929 года создавалась в дни до этого срока от начала века, как действительно, что эти люди (или точнее их компании) создали теперешнюю Америку вместе с мистером Котофсоном и Арсентием Ивановичем.

Все это так: но все это—было!—больше уже не повторится и не может повториться. И не только потому, что Эдсель Форд, сын Арсентия Ивановича, мозолей уже не знает, да не знает и рабочих. О нем речь впереди.

Впрочем, эту речь можно вымолвить и сейчас. В Нью-Йорке у меня есть приятельница мисс Маргарэт Борк-Уайт, женщина, занимающаяся американскими делами, а именно тем, что она фотографирует фабрики, заводы, небоскребы, пароходы для того, чтобы ее фотографии печатались в качестве плакатов и рекламы. Кроме того, она редактирует художественное оформление журнала «Фортуна» («Фортчэн» — по-английски). Мисс Маргарэт Борк-Уайт — женщина в Америке знаменитая. Дважды она была в СССР и компанию ведет с народами про-советскими, работает же среди больших бизнесменов. Мастерская—ее «студио» — находится на шестьдесят первом этаже Крайслэр-былдинга. С Джо мы однажды заехали к ней. В мастерской у нее мы застали человека, бывшего у нее по делу, американца, — но прямо сказать — француза. Мне фамилия его ничего не сказала. Глаза Джо засветились. Француз напал на меня, всунул мне свой адрес (Парк-авеню, улица миллиардеров), вынул из кармана пачку российских открыток и конвертов с эсэсовскими штемпелями. Француз затребовал от меня:

— Расскажите толком, что такое у вас в СССР происходит!? — ничего не понимаю! — мой сынок уехал к вам. Как отец прошу расскажите!

Джо разъяснил мне, почему глаза у него светились. Этот француз был миллиардером, собственником крупнейших текстильных фабрик в Пассаике, по природе своей американским фашистом. Несколько лет тому назад на его фабрике была забастовка. Джо в качестве журналиста ездил наблюдать эту забастовку и тамошние избиения полицией рабочих. И там случайно, в нейтральном литературном доме, Джо встретил сына этого французского сына. Сын был европейски уже, а не американски, полирован. Джо запомнил навсегда точную формулировку этого сына по поводу вождей забастовки.

— Если б мне попали в руки эти руководители, — сказал сын, — я б очень хладнокровно перестрелял бы их всех.

— Почему такая жестокость и активность? — спросил Джо.

— Я совершенно не намерен рассуждать о справедливости, — ответил сын. — Эти руководители хотят отнять масло от моего хлеба и лишить меня курицы к завтраку.

Классовая позиция формулирована очень ясно. Ну так вот, этот сын поехал в СССР, к Мейерхольду, чтобы у Мейерхольда учиться русскому театральному искусству.

Поколение Форда, тартальщиков и сцепщиков в председателях и миллиардерах, знало мозоли, оно умело спешить, как спешили пионеры, и оно умело каждые три года сменять заводское оборудование, оно стихий-

ствовало, удачами и конкуренцией, не стесняясь средствами.

И опять — Павел Свиньин:

«... Европейская война была весьма благоприятна для Америки, пользуясь ею при помощи нейтральности своего флага» — —

Америка вышла на арену мирового цирка самым главным мировым циркачом после мировой войны. До войны Америку удовлетворял внутренний ее рынок. Во время войны Америка торговала с Антантой и с Согласием, наживаясь не меньше, чем на колонизировании самой себя. Америка всадила нож в спину Согласия, когда стало ясно, что гиря американских снарядов и американского (очень небольшого количества) человеческого мяса будет решающей на весах войны и счень процентной. И тогда Америка пожелала стать хозяином мира. Ей стало тесно на своем материке.

И с войны, несмотря на сельскохозяйственный кризис с двадцатого года, Америка процветала до 29 октября 1929 года. Американская демократическая конституция, отбор людей в примате труда и инициативы, свобода инициативы, время, когда американцы могли скинуть лохмотья феодализма, положение страны на земном шаре и ее богатства, отсутствие войн возвращали американцам за дела их сторицею и за последние сто лет, до 29 октября, по восемь часов утра 29 октября 1929 года — население увеличилось в 9 раз, обрабатывающая промышленность в 207 раз, механическая двигательная сила в 35.000 раз, и прочая,

прочая, прочая, когда следует помнить, что каждому американскому рабочему помогают в работе четыре с половиной механических лошадиных силы.

Все это — бы-ло!.. И большими философиями американцы не занимались, в своих поспешностях и правилах «хранить» улыбку.

Соотечественник Павел Свиньин прав:

«Стремительные перемены во всех частях и исполненные шаги земли сей» —

37

То, что было десять лет истинным, никак не есть истина для сегодня,—тем паче, в отчаянной, в стихийной конкуренции, тем паче, когда даже заводское оборудование строится с расчетом на три года. То, что было положительным полтора года тому назад,—демократия, так называемая свобода инициативы, — выродилось сейчас в бандитизм, о котором десять лет тому назад даже и не слышали. Национального флага, который теперь торчит повсюду, даже на собачьих кладбищах, до дней мировой войны также не торчало, ибо этот флаг символизирует американский империализм. Свобода инициативы, американская заповедь, бывшая еще тридцать лет тому назад реальностью, ныне не существует, ибо Америка взята за горло банками в склерозе трестов, и американцам дозволено ездить лишь до бессмыслицы по конвейерам дорог да поддуться в Конэй-айленде, задыхаясь в публицити и рекламе. Американцы (которые, — как сто лет тому на-

зад, вроде женщины в пуританских нравах из Бронкского парка) возразят мороженым «эскимо». А я встречался с человеком, американцем, который изобрел способ изготовления цемента из любой земли; его канализационные трубы, его цемент для постройки — лучше стандартного американского цемента, портативнее и стократ дешевле. Именно потому, что цементная промышленность трестирована в Америке и уперлась в фундаменты Уолл-стрита, равно как и Белого Дома, потому, что изготовление цемента новыми способами должно уничтожить старую цементную промышленность, — этот изобретатель ходит в потрепанных брюках и бсится уже не за изобретение свое, а за свою собственную жизнь, имея все основания полагать, что существование его не подходящее в теперешней Америке. Мороженое «эскимо», действительно, можно было изобретать до тех пор, пока оно не было изобретено. Но теперь этот самый эскимо нового гренландца не допустит, забронированный публицити, долларом и ракетами. Американцы на лето уезжают в «кэмпы», — в лагеря, — по нашему сказать, — на дачи, — и проживают там в шалашеобразных хижинах. Это те, кто победнее. — Живут иной раз подобранные по национальностям. Знал я такой кэмп. Избрали кэмпчане старосту, чтобы он заведывал их довольствием, человека не торгового. Через месяц этот человек отказался от старостства: по-первых, потому, что он стал богатеть, ибо оптовики стали делать ему подарки; во-вторых, потому, что его разъедали ракетиры, а в-треть-

их,— он оказался в колдовстве, ибо товары он приобрел иной раз за пятьдесят процентов их стоимости, но и продавать их вынужден был по стандартным рыночным ценам, то-есть перебирать лишнее со своих же друзей однокэмпчан, и поступать иначе не мог, ибо в противном случае на него свалилась бы вся тяжесть американского торгового законодательства. Тридцать лет тому назад Форд мог арсентиванчить. Теперь он этого не может. Именно это арсентиванство дало возможность безликой «Дженерэл-Мотор-компани» обогнать Форда на шевролэ и бюиках, на безликих и вооруженных банками обезличенной Америки. Бандиты, вместе с цементом упершиися в Белый Дом и в Уолл-стрит,— никак не есть явление случайное (как и вообще все американские утверждения о «случайности» суть ерунда), бандиты — это есть американская «демократия» сегодняшнего дня. И тот кризис, который сейчас идет по Америке сапогами с мертвецов, никак не следует расценивать кризисом, так сказать, циклическим, ибо это есть кризис всей капиталистической системы, созданный временем умирания капитализма. Не может, не может существовать страна, которая называется демократической, но которая существует бандитами и президентами за взятку,— пусть даже кризис 29 октября 1929 года не будет последним!

Замечательные дела делаются в поучение для социологов! Однажды я остановился на Пятой авеню около витрины платьевого магазина. Там выставлены

были мужская и женская одежда с подписью: «для деревни». Только и всего. Там были костюмы под баварцев. Там были костюмы русских мордочек. У нас, для того, чтобы достать мордовский костюм, надо съездить в мордовскую деревню и убедить тамошних старух порыться в сундуках. Даже в Англии шотландский кустарный костюм привозят в Лондон из шотландской глухой деревушки. В Америке деревенские костюмы везутся из города в деревню. Человеческая Америка уперлась в плотины моря, и человеческая волна пошла вспять, полезла на самое себя, самую себя стала давить. Нью-Йорк сошел с ума, обалдел, задыхается, переобувается, переоборудуется в сапоги с мертвецов и орет:

— больше! больше! больше!

Поучительнейшая вещь — социальная, так скажем, химия! — Американцы жгут пшеницу (мое, не трожь! индивидуализм! священная собственность! сосед — как хочет!), американцы ломают машины, и они сейчас — злейшая империалистическая страна, посылающая свои деньги по всему миру, чтобы мир захватить себе в руки. Американцы сейчас делают себе колонии, ибо «пан-американизм» есть не что иное, как колонизация остальной Америки. Американцы хотят рыть второй Панамский канал, чтобы окончательно завладеть американским материком и его морями. И — замечательная химия! — в Мексике, в Перу, на Кубе, в Аргентине американцы, те, которые бежали от европейского феодализма, хотят насадить феодализм — и насажда-

ют его. Сейчас следует говорить об американском одичании.

Все это было до 8 часов утра 29 октября 1929 года. К этому часу сошлось все. Человечество на земном шаре переросло буржуазные демократии. В первые тридцать лет после гражданской войны к порогу века, — еще не остановившаяся страна, молодая, как девятнадцатилетний ражий оболтус, — Америка смотрела уже за океаны уже не глазами демократии, но империализма. На пороге века Америка уперлась в свои географические границы и пошла за них, но американские «случайности» были исчерпаны, а земли были заполнены людьми. Америка должна была «остановиться». Из анархии накоплений, из поспешного (и безвкусного) сваливания богатства в горы небоскребов должна была родиться организация хозяйства: но она не может существовать при капитализме и в стране, опирающейся на принципы случайности и частного случая, где все частное — телеграф, железные дороги, пароходы, полиция, сыщики, университеты, церковь. Со дней начала века, со дней войны, в особенности, Америка стала работать на земной шар: но земной шар сам догнивает в капитализме, а переоборудованное на машины мировое хозяйство породило сельскохозяйственный кризис, начавшийся в 1929 году, — опять-таки не циклический кризис, но кризис американской системы хозяйства, изжившей фермерство. Со дней войны начав вооружаться громадами армий, Америка хочет грабить мир: но в ней самой, на улицах

Нью-Йорка и от Нью-Йорка до Портланда, от Портланда до Беллингама, до Тиюны, до Миами распозвалось такое гнилье, что вянут даже бандитские носы, а нос Гувера сник до того, что он говорит о «двадцатилетке», пародируя пятилетку СССР. В Америке кризис перепроизводства. В Америке двадцать миллионов рабочих. В Америке лопаются банки, останавливаются заводы, склады перезавалены товарами — —

— больше! больше! больше!

и десять миллионов безработных, каждый второй рабочий имеет судьбу одеться в сапоги мертвеца, вместе со своими семьями.

Можно написать задачу для первого года обучения детей арифметике: как эти задачи пишутся? — «В амбаре лежало столько-то кило кофе; в городе жило столько-то людей» — и так далее.

Соотечественник Павел Свиныин прав: каждый первогодник разрешил бы эту задачу самым простым делением. Но в Америке такие задачи разрешаются тем, что излишки кофе высыплются в море для — для поддержания кофейного рынка. А все вместе называется священным правом собственности, «демократией» и капитализмом, дай им американский бог здоровья! — Но арифметические задачи можно продолжать дальше. Были выше рассказы о лирическом бедном миллионере, который насчитал сорок — пятьдесят небоскребов. Сообщалось выше, что помер публисити-мэн Харри Райхенбах, помер и оставил мемуары, сообщавшие о пятидесяти человек, не больше, владевших, заведы-

вавших и командовавших всеми ста двадцатью миллионными вкусами американского населения, когда эти пятьдесят обували, раздевали, одевали американцев, укорачивали и удлиняли женские юбки, раскрашивали мужские костюмы в индейские и электрические цвета, и прочая. Бедный миллионер лирически утвердил, что в Америке, в Нью-Йорке есть сорок—пятьдесят человек, которые подперты небоскребами в рост Нью-Йорка, они называются миллиардерами и они свободно предоставляют право остальным американским миллионам наслаждаться Конэй-айлэндом. Населения в Америке — сто двадцать миллионов; подоходный налог берется в Америке с женатых, когда они зарабатывают больше двух с половиной тысяч долларов в год, а с одиноких — когда они зарабатывают больше тысячи пятисот долларов; на сто двадцать миллионов человек населения в самый лучший год последнего процветания, в год 1927-й, подоходный налог платило всего два с половиной миллиона человек; процентов девяносто пять из них зарабатывали до десяти тысяч долларов в год; и—только двести восемьдесят три человека получали (не зарабатывали, конечно) больше миллиона. В год наивысшего процветания капиталистов, в 1929-й, таких получивших больше миллиона стало пятьсот одиннадцать,— но в тот же год стало десять миллионов безработных. Четверть американского национального дохода—восемнадцать с половиной миллиардов долларов — в тот процветательный год пришлось на долю земельных собственников, акционеров и облигациедер-

жателей, — то-есть опять-таки на ничего не делающих. (Впрочем, в скобках, американцы гордились, что у них было двадцать миллионов банковых вкладчиков. И вот арифметическая задача для первогодника из советской школы: «было пятьсот одиннадцать человек, которые получали в год каждый в отдельности больше миллиона долларов денег, и было десять миллионов человек, которые ничего не получали» — и так далее. Задача также решается делением. Но это была б социалистическая арифметика. (Что же касается, в скобках, скобочной справки о двадцати миллионах американских акциддержателей, в том числе и рабочих, то и эта задача разрешается делением...)). Капиталистические интегралы находят нужным писать орации о «технологической» безработице, заливать Бродвей электрическим громом реклам и под носом людей в сапогах с мертвецов кричать:

— больше! больше! больше! больше ешьте! больше пейте! больше изнашивайте сапог и автомобилей! — ибо в этом спасение капитализма!..

В Америке половина золотого запаса, накопанного людьми. Тысячи—тысячи!—американских банков полопались сейчас же вслед восьми часам утра 29 октября 29-го года. Летом 1931 года американские банки отказались брать вклады, ибо они ожирели в золоте и банкротились потому, что им некуда было девать золото, ибо их же миллионы людей, переобувшись в нищих, потеряли способность покупать—

— больше! больше! больше!

Сын, описанный выше, классовую свою позицию определил точно и ясно, когда говорил о масле для его хлеба и о курице к завтраку.

Павел Свинын прав:

И сейчас надо говорить о рабочем в Америке, в этой стране, которая решается создана руками рабочего, ремесленника и кустика, ибо ремесленником, а не крестьянином здесь делался даже хлеб.

Два факта я сопоставляю сейчас.

Генеральный совет Первого Интернационала рукою и пером Маркса, писал:

«...для трудящихся не только их надежды на будущее, но и прошлые завоевания поставлены на карту в этой страшной борьбе по ту сторону океана».

Это — было. Америка — страна, где самый большой процент рабочего населения.

На выборах президента, — факт второй, — когда был выбран мистер Гувер способами, изложенными выше, в 1928 году, — американский рабочий класс, говоря по существу, отсутствовал на выборах, ибо девяносто процентов американских рабочих отдали свои голоса вышеизложенным республиканской и демократической партиям, — эти девяносто процентов не выступали самостоятельной силой.

На первых страницах этого американского о-кэя мною описан Конэй-айлэнд. Я сознательно скрыл там одно очень существенное обстоятельство, — именно то, что Конэй-айлэнд есть место развлечения и отдыха рабочих.

Я однажды читал это описание Конэй-айлэнда моему другу, американскому коммунисту Т.

Он сказал мне:

— А вы не думаете, что это будет обидно американским рабочим, что вы так описываете их развлечения?

Я ответил ему вопросом:

— А вы не думаете, что я написал правильно и правдоподобно?

— Да, это описано правдоподобно, — ответил он.

И тогда я сказал следующее, что нахожу необходимым повторить и сейчас:

— Если мои братья делают глупости, — это мой долг писателя сказать им о их глупостях, ибо они — мои братья. Если они позволяют поддувать себе в то время, когда они же (ибо не господа же миллиардеры, на самом деле) своими собственными руками выкидывают кофе в море и жгут пшеницу в полях, когда они же, свалившись под доллар, голодают в очередях за божественной миской бобовой похлебки, — то это мой долг сказать им о том, что они плохо смотрят, ибо они — мои братья, ибо поддувание, равно как и кофе в море, не частное дело каждого индивидуума, но дело рабочего класса, ибо от этого самого поддувания до

небоскребов Вулворта — не то чтобы логический, а самый простой мост, построенный арифметикой на долларах и на кирпичках—арифметического расчета мост. Если мой товарищ, пролетарий, будет доказывать, что дважды два — даже не семь, а верблюд, — то это именно мое дело доказывать, что дважды два — не верблюд, не семь, а четыре. И об этом надо говорить безотлагательно, ибо вышеописанный американский сын очень хорошо усвоил свою классовую сущность курицы к завтраку, равно как хорошо научился покупать на доллар вождей американского рабочего движения.

В Вашингтоне, по сие число, каждый день, когда президент дома, от четверти первого до двух часов, каждый желающий американец может пройти в Белый Дом и во имя принципов «демократии»: свободы, равенства и братства — поздороваться с президентом и услышать от него «хау-ду-ю-ду».

Делается все это очень просто: нужно записаться в приемной канцелярии и стать в очередь. Очередь идет к кабинету президента. У кабинета стоят два охранителя. В кабинете стоит президент. Очередь идет лентой. Жмут руки президенту, — «как вы поживаете?»—и выходят, знакомые с президентом, в следующую дверь. Если желающих познакомиться с президентом несколько и они являют собой делегацию, можно с президентом сфотографироваться. Делается это перед Белым Домом, место президента в объективе фотографами изучено. Президент выходит из дома, когда

группы уже рассажены, дело увековечивания делегации занимает у президента полминуты, не больше. Познакомиться таким образом—и даже сняться — может любой американский гражданин.

О небоскребных историях президентов из хижин дровосека, небоскребов Эмпайр-Стэйт и Вулворт, о бедном фермерстве Гувера пишутся исторические монографы, как, мол, взяли «бойс'ы» да и свистнули в сотый этаж всяческих благополучий. О возможностях знакомства с президентами, конгрессменами, губернаторами и прочими властишками говорится всерьез, как всерьез говорится о том, что каждый американец может стать миллиардером иль президентом. Действительно, действительно есть такие, которые утверждают, что Америка как была сто лет тому назад, и прочее! Действительно, я встречал рабочих, которые утверждали американскую заповедь, что-де: «кто действительно хочет найти себе работу, тот ее найдет в Америке».

Глаза рабочих запорошены историями Форда, Вулворта, эскимо, коки-колы, пенсильванского сцепщика, стандарт-ойльного тартальщика, историями людей, которые на пороге века были такими ж, как прочие Генри, Джоны и Джски, и которые забили страницы всех газет и журналов. В Америке все — частное! — частный телеграф, частные железные дороги, частная полиция, частная церковь! — и всеамериканский галдеж газет убеждает, что дело каждого американца, и рабочего, в частности — его частное дело, его частная судьба, част-на-я. И я разговаривал с рабочими, которые

думают, что судьба его — действительно его частная судьба, ибо он верит в идиотскую американскую теорию случайности. Эта ж «случайность», в галдеже о махнувших в небоскребы «бойс'ах» и о «частном» деле, создала такую «случайность», когда в Америке, в стране с многомиллионным рабочим классом, не было, почти не было и нет рабочего законодательства, и юридические нормы между рабочим и предпринимателем устанавливаются кодексом гражданских уложений, торговым правом.

В Америке, говорят, уважают труд. Я думаю, что в Америке гораздо больше уважают доллар, и безразлично, как он получен — хоть бандитизмом. Клэрк мистер Джонсон был вчера клэрком, сегодня он снял пиджак, надел синюю блузу и зарабатывает на два доллара в неделю больше, став рабочим: в американском общественном мнении он выиграл, ибо не важно, как ты зарабатываешь деньги, но важно, сколько ты зарабатываешь. Мистер Джонсон — чиновник, а мистер Джэксон — рабочий: мистер Джэксон больше зарабатывает, и он в своем мидл-тауне более почтен, чем чиновник мистер Джонсон; он сидит на скамеечке у ворот с людьми более почтенными, с аптекарем из соседнего дрог-стори, с молочным лавочником, зарабатывающими столько же, сколько зарабатывает он; а чиновник мистер Джонсон не сидит с ними, потому что он меньше зарабатывает; и у мистера Джэксона на пятнадцать долларов дороже его автомобиль, чем у мистера Джонсона; и у него есть рефрижератор, а у

мистера Джонсона рефрижератора нет. К их лавочке может подойти районный ракетир, чтобы поздравить с добрым вечером и выкурить сигарету «Локки-страйк» — «счастливый случай». Днем Джэксон был на заводе иль строил небоскреб, аптекарь торговал спиртом и кофеем, молочник торговал молоком и сливками, — это частное дело каждого из них.

На скамеечке, раскуривая трубки и сигареты, друзья конечно беседуют. Аптекарь Шиллер сказал молочнику Беккеру:

— Уэлл, вы из Германии, мистер Беккер. Даже у вас в Германии, в Баварии до середины девятнадцатого века был закон, когда только старшему сыну еврейской семьи разрешалось жениться, остальные же должны были оставаться в безбрачии. Германия считалась просвещенной страной, и я уже не говорю о русской царской Польше, откуда родом мои предки. Я приехал сюда. Я окончил фармацевтическую школу. Я ездил в Вашингтон представиться президенту, и он мне сказал: «Рад вас видеть!» — Мой отец был сапожником. Мои сестры до сих пор живут в Польше.

Молочник Беккер сказал:

— Я приехал в Америку со своими родителями, мою матушку мы выписали потом... Мне было девять лет, когда мы приехали, и я мыл посуду в трактире. Тогда в Германии был издан закон против социалистов, дурацкий закон! В Германии правила чиновники и дворяне, рабочие были людьми второго сорта, и мне некуда было податься. Мы были париями. Не скажу,

чтобы моему отцу повезло в Америке,— ему не выпало счастье. Но он скоро стал американцем и мог выбирать президента, сенатора и мэра города. Здесь я иду и просто подаю мой голос за лучшего из кандидатов как гражданин, а в Германии каждое сословие голосовало отдельно и преимущество было дворянам. Моему отцу не повезло, ему не выпало счастье, нет!.. Но, по крайней мере, счастье было в его руках, и он, в горькой нужде, чувствовал себя гражданином, его нужда не связана была с политическим унижением.

Сказал Джэксон:

— Я и мой отец, мы родились уже в Америке. Мой дед приехал молодым парнем. Сначала он работал в Питтсбурге на каменном угле. Но тогда открылось калифорнийское золото, и дед пошел искать счастья в Калифорнию. Однажды он нашел старый высохший ручей, в песке которого за два дня и две ночи он намыл две тысячи долларов. Тогда ему надоела золотая лихорадка, он сказал себе: «О-кэй, я полазил по шахтам Питтсбурга, я поползал на коленях в горах Калифорнии, теперь я стану фермером!»—Тогда в штате Индиана, около реки Охайо, раздавались запасные земли. Там, в этом штате родились мой отец и я. Мой отец продал землю промышленнику, когда мне было десять лет. На нашей земле построен завод. Мы переехали в штат Иллинойс, в Чикаго. Отец работал на бойнях.

Сказал молочник Беккер:

— Вы родились на ферме, а я долгое время был фермерским рабочим. Сначала я мыл посуду в ресторане. Когда ручное мытье посуды было заменено машинным, я стал боем при гостинице, прислуживал в коридоре и разносил записки. Поэтому, когда я подрос, я стал почтальоном. Когда почтовое дело в Нью-Йорке было переоборудовано, рационализировано и множество почтальонов было выброшено, я поехал в штат Флорида. Там нехватало рабочих рук, я встретил моих соотечественников по первой родине, вступил в их артель и стал красильщиком. Но артель послала меня в штат Висконсин за олифой. Там на ферме я встретил девушку, которая, слава богу, жива и до сих пор и которая стала моей супругою. Двенадцать лет я был рабочим у ее отца, пока не скопил денег и не открыл вот здесь нашего с супругою молочного магазина.

Биографии этих трех и их разговоры были слышаны мною от них самих. В тот вечер собеседования три приятеля могли пойти в кино или в спорт-клуб.

В воскресенье, вместе с женами и детьми, они пойдут в Конэй-айлэнд их местности. У всех троих у них, конечно, были свои чековые книжки и молочные (или строительные) акции где-нибудь под подушкой.

Оказалось, что молочник Беккер, прежде чем стать молочником и найти свое счастье в молоке, был и трактирным мальчиком, и почтальоном, и красильщиком (то-есть строительным рабочим), а мистер Джэксон, прежде чем стать строительным рабочим, в молодости доил коров.

Это последнее было возможно по двум причинам:

Во-первых, потому, что страна была—не остановившейся, идущей все время не только вперед, но и на новые места, в неожиданностях всяческих открытий, как всегда при открытиях, и в постоянной нехватке рабочих рук, люди ж были отобраны жаждой как угодно, но во что бы то ни стало разбогатеть. Эта идущая страна создавала нехватку рабочих рук. Руки делали вещи, делать вещи иной раз было выгоднее, чем сидеть в канцеляриях. Через труд проходили даже пенсильванские сцепщики, а эскимо с молодости голодал. И нехватка рук руки предлагала уважать, как хороший бизнес. Рабочие в рассуждениях о «частном» деле не замечают, должно быть, что их «бизнес» давно превратился в «джаб».

Но есть и вторая причина, почему мистер Джэксон в молодости торговал молоком, а его сосед по скамеечке был рабочим. Недоставало рабочих рук, руки заменялись машиною, машины выросли в конвейеры, где не надо иметь какого-либо мастерства, но надо иметь умение нажимать лишь рычаг у машины в конвейере. На конвейере от рабочего не требуется никаких специальных познаний, но надо иметь некоторую общую грамотность, чтобы иметь общие представления об общей работе, чтобы соображать, зачем ты давишь на свой рычаг. Молоко ж доится также конвейером и продается волей ракетира. Понятно, каким образом мистер Джэксон был молочником. Вдвойне понятно, если вспомнить, что эта страна была идущей

страной в легендах о случайности, да на самом деле в случайных калифорнийском и аляскинском золоте.

Выше обмолвлено было, что к иммиграции последних сорока лет,—тех лет, в кои Америка стала тем, чем она была до 8 часов утра 29 октября 29-го года,—что к этой иммиграции надо вернуться особо. Выше рассказано было и приведено цифрами, как зарабатывался кусок хлеба рабочими американскими и германскими. В расценку там брался рубль товарный. Если ж взять марки и доллары, то на круг германский рабочий зарабатывал столько марок, сколько американский рабочий зарабатывал долларов. Американское население за последние сто лет увеличилось в девять раз.

Энгельс сказал однажды по поводу английской буржуазии:

«Эта самая буржуазная из всех наций хочет повидимому довести дело в конце концов до того, чтобы иметь... буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это» — —

Это была ирония Энгельса—«буржуазный пролетариат», ибо Энгельс был свидетелем того в частности, как английский пролетариат поддерживал американскую революцию гражданской войны. Но эта ирония никак не иронична для двух категорий людей, работающих в Америке на фабриках и заводах.

Американское население за последние сто лет уве-

личилось в девять раз—никак не только за счет американской рождаемости. После первого расцвета Америки, после гражданской войны, в Америку поехали люди из восточной Европы: русские, эстонцы, латыши, евреи, поляки, чехи, люди с Балкан, итальянцы, греки. Эти люди ехали из земель низкой культуры. Эти люди ехали из земель, где не было рабочей революционной традиции. Эти люди по психологической субстанции своей были мелко-европейски буржуазны, в лучшем случае настроенные анархистски. Ехала беднота, сумевшая скопить трудные рубли на билет. Такие люди появились в Америке и после мировой войны, несмотря на квоты. Эти люди в Америке, очень большой процент (четверть Нью-Йорка говорит на славянских языках, самая большая колония итальянцев не в Риме, но в Нью-Йорке) пошли на фабрики и на заводы. Они не знали американских традиций. Они не говорили по-английски. Им давали второстепенную и черную работу, они лезли в рудники и шахты, они обшивали Америку, они стали у конвейеров. Эти люди ехали от своих восточно-европейских и итальянских городов и пригородов, наслушавшись об американских замечательностях.

И первую категорией «буржуазного пролетариата», оправдавшего иронию Энгельса, оказались янки, люди, уже рожденные в Америке и в американских традициях, с английским языком. Они были членами Американской Федерации Труда, о которой ниже. Они оказались боссами на заводах, форманами и масте-

рами. В их руках оказалась квалифицированная работа. В их руках оказались наиболее оплачиваемые отрасли труда и промышленности,—а ведь в некоторых отраслях промышленности, например в строительной, иные рабочие зарабатывали иной раз до тридцати долларов—до шестидесяти рублей—в день. Они оказались в американских традициях «частностей».

А второю категорией энгельсовской иронии оказался очень большой процент тех самых, которые ехали в Америку. Очень большой процент (я видел их) этих людей, ехавших из малокультурных стран и без рабочей культуры, в тот час, когда он садился на пароход где-нибудь в Европе, в тот самый час вез в себе уже инстинкты буржуа. Ехала мелкая буржуазия. Во многих случаях ехали одни мужчины, в расчетах о том, что в Америке для работы на конвейере не надо никаких специальных знаний, но надо общую грамотность. Это как раз и было у европейского мещанина. Люди ехали, наслышанные об американских заработках и чудесах. Им казалось, что они едут на готовое. В палубные досуги на пароходе через океан они рассчитывали (именно эти слова мне говорил некий поляк, оклахомский рабочий):

— Проработаю три года, буду во всем экономить, каждую копейку приберегать. В неделю заработаю тридцать долларов, пятнадцать сберегу. В месяц шестьдесят долларов сбережения. В год семьсот двадцать. В три года — две тысячи с лишним. Поживу уж как посромнее, работать буду, как сукин сын, все соки из

себя выжму. Две тысячи долларов по-американски — пустяковые деньги, а у нас (мы тогда Австрии принадлежали) это — десять тысяч крон, большой капитал. Проработаю, думал, три года, вернусь на родину и открою у себя в селе лавочку, женюсь на паненке.

— Ну, и выходило? — спросил я моего собеседника.

— У других выходило, у меня не вышло, — ответил мой собеседник.

Эти люди, приезжавшие из Европы, без знания языка, без американских традиций, в жажде накопления, во-первых, брались за любую работу и на самом деле работали, как сукины дети, а во-вторых, не вмешивались в американские дела, не разбираясь в них, не зная ни языка, ни традиций, и рассчитывая, что их хата с краю. Это была мелкая буржуазия в рядах пролетариата.

Промилль из них оборачивался в эскимоса или предводителя Радио-корпорэйшен. Некоторые проценты скапливали доллары. Многие впрягались в лямку американских рабочих, оседали, женились, жили до конца дней полуиностранцами и помирали под американским знаменем. Разнонациональность этих рабочих конечно не помогала их объединению. Форд в частности сознательно ставил около поляка немца, а около норвежца—итальянца.

Некоторый процент этих людей ломался в перенапряженности американских условий работы. Он шел тогда в гольтепу американских бродяг, пополнял вся-

ческие американские подворотни, щели и нищету, поселился в Нью-Йорке на Баури, на страшной, позорнейшей в мире улице люмпен-пролетариата, не желал ничего делать, ничего и не делая. И нет страны с большим количеством люмпен-пролетариев, чем Америка. И люмпенов там стократно, многотысячекратно больше, чем миллиардеров. Они называются там «трэмпамми» — путешествующими босяками, бродягами.

Другой процент этих людей, ломаясь, ушел в бандитизм: имена Ала Капона — итальянца — и его советника — Гарри Гузика — еврея — говорят сами за себя, равно как и судьба мелкого буржуа в бандитской шайке совершенно закономерна.

Третий же процент этих людей, которые ушли в революцию, — мелкий буржуа, протестующий против капитализма, — ушел в анархизм, отрицая все наголову. Анархистские и синдикалистские течения и были сильнейшими революционными в американском рабочем движении. Мой собеседник, слова которого приведены только-что, был анархистом и желал он, по существу говоря, для всех земных жителей, и для американцев в частности, чтобы летели все и летело всё к чертовой матери! По старой католической пословице, он хотел — из крестильной купели, из крестной чаши Америки вместе с грязной водой выплеснуть и ребенка. А очень бросаться Америкой не следует, потому хотя бы, что американцы (стало-быть, рабочие) сделали много прекрасных вещей, — научились, стало-быть, делать и умеют делать.

Этих, приехавших в Америку за последние сорок лет, тридцать четыре процента всего американского теперешнего населения. Но семьдесят процентов общего числа рабочих в промышленности угольной, стальной, нефтяной, машиностроительной именно этих, приехавших за последние сорок лет. Въезд в Америку был неограничен до 1917 года. В 1917 году конгресс установил тридцать пунктов, запрещающих въезд иностранцам, в первую очередь анархистам. В 1921 году конгресс принял закон о квотах. По этому закону в Америку допускалось не более трех процентов каждой национальности, проживающей в Америке. За норму для подсчетов этих трех процентов бралась перепись 1910 года. В 1924 году была точно установлена цифра имеющих право въехать в Америку — 153 714 человек в год. (Это последнее цифровое закрепление, на ряду с пунктами 1917 года, имело, кроме всего прочего, нижеследующую политическую цель: по цифровому этому расписанию на Восточную Европу приходилось меньше десятка тысяч человек. Восточной Европе путь в Америку отрезан потому, что Восточная Европа заражена революциями. Вообще же ехать смогут родственники живущих в Америке, по их приглашению).

39

Америка строилась никак не чистыми руками и никак не в белых перчатках, в коих ездили по фордовскому заводу — на паровозах-большевиках — машинисты. Есть жестокое правило, что живые забывают

мертвых, а мертвые не могут рассказать о себе и своих делах, потому что они мертвы. Если бы послушать тех, которые шли по лесам и пустыням Америки, прокладывая первые дороги! — если бы послушать тех, которые умирали на этих дорогах с голоду?! — если бы послушать всех тех, убитых за Америку, расстрелянных в дни забастовок, скорченных в уголь электрическим стулом, сгнивших в тюрьмах Америки...

История американского рабочего движения — это история предательств американских рабочих и предательств не менее страшных, чем средневековые. Мне известен разговор германского инженера Отто Моога с неким американским общественным деятелем мистером Чайльдсом; это было на пароходе через океан, в философический досуг под океанские просторы; речь шла о германской налоговой системе и об обложении германской тяжелой индустрии; мистер Чайльдс, общественный деятель, сказал:

— У нас такой дурацкий налог никогда не стал бы законом. Даже если бы социалисты имели большинство в конгрессе и сенате, они бы не могли провести такого закона. Мы бы просто подействовали деньгами на нужных людей, и в один прекрасный день они нашли бы в своих письменных столах акции автомобильных фабрик.

— Но ведь это взятка! — сказал инженер Моог.

— Ничего безнравственного в этом не было бы, — ответил мистер Чайльдс. — Я предостерег бы таким путем людей от глупости, вредящей им же самим: авто-

мобили дали американским рабочим наибольшее количество работы и денег!

Разговор, надо сказать, и демократический, и республиканский, и океанский, равно как — и заокеанский!

В 1869-м в Америке возник Орден Рыцарей Труда. Орден был организацией тайной, построенной по принципу масонских лож (а стало-быть и мистическоватый). Программа работы Ордена также была полувидна, с анархическим уклоном. И тем не менее Черная пятница (день, когда на нью-йоркской бирже начался кризис 1873 года) поднял Орден Рыцарей Труда на хребет рабочего движения тех лет. В 1877 году по Америке прошла железнодорожная забастовка. Железнодорожникам помогли горняки. В Сэнт-Луи власть перешла к рабочим, и рабочие образовали комитет безопасности. Это повторилось в ряде городов и городков. Впервые тогда за историю Америки поехали по Америке карательные экспедиции правительственных войск. В Чикаго были бои между солдатами и рабочими. В 1885 году опять была железнодорожная забастовка, и она победила тогда железнодорожного миллиардера Гульда. Этими забастовками и этим рабочим движением руководил Орден Рыцарей Труда. В 1879 году Орден вышел из подполья. В 1886 году он имел 730 тысяч членов. Но в том же 1886 году были следующие два события. В Чикаго, на заводах сельскохозяйственных машин Мак-Корвика, вслед за локаутом, возникла забастовка; на Сенной площади

тогда в Чикаго в толпу была брошена бомба, был убит полицейский; никто, ни суд не могли установить, кто бросил бомбу, — но суд приговорил пятерых анархистов, ни в чем неповинных, к смертной казни через повешение, и четверо из них — Альберт Парсон, Август Шпис, Георг Энгель, Адольф Фишер — были повешены, пятый же, Луи Линг, покончил жизнь в тюрьме самоубийством; этот суд и эти казни были белым террором. И в том же 1886 году вождь Ордена Рыцарей Труда, «великий мастер», как он назывался по орденской терминологии, непримиримый оратор и враг капиталистов, вышел из Ордена и — взял себе пост высокопоставленного правительственного чиновника! — Вождь был куплен, солдаты были расстреляны. Орден распался.

Орден распался для своей же пользы, по соображениям мистера Чайльдса, того, который с парохода. Орден Рыцарей Труда был организацией пуганой и мистической, но все же анархистской. И здесь же следует помнить третий факт 1886 года. Еще в 1881 году возникла Американская Федерация Труда, организованная Самуэлем Гомперсом, тем самым, который ухитрился прожить до 1925 года, почти полвека зату-манывая мозги и одурачивая американских рабочих. В 1886 году Гомперс подобрал тех рабочих, которые искали объединения после распада Ордена Рыцарей Труда. От анархистского Ордена рабочие попали в организацию, которая (брящая всем арсеналом американского демократства, равенствами и братствами, тем,

что, «кто действительно хочет, найдет себе работу»,—и прочая из американских заповедей) обещала реализовать иронию Энгельса и создать для американских рабочих быт «буржуазных пролетариев». Американская Федерация Труда утверждала, что социализм — это не американское дело. Американская Федерация Труда утверждала убийственность для американских рабочих борьбы с предпринимателями (ибо сами рабочие могут стать предпринимателями, а стало-быть, в потенции есть уже предприниматели), и Федерация за благо считала любовное, «человеколюбское» (Гомперс-человеколюбец!) соглашение с предпринимателями. Федерация Труда — не партия, это нечто вроде федерации профсоюзов. Гомперс утверждал, что партии, да особенно социалистические, американскому народу вредны,—американскому «народу», равноправными членами коего рабочие суть по существу американской конституции (и даже могут стать миллиардерами иль президентом!), достаточно-де двух партий, — республиканской и демократической, которые и без рабочих могут провести в конгрессе законы о рабочих нуждах. Гомперс повел за собою большинство организованных американских рабочих. Гомперсу помогали капиталисты. Гомперс убеждал предпринимателей распределить акции предприятий среди рабочих, работающих на них (чтобы рабочий получил гривенник прибыли с миллиардерского миллиарда). Гомперс убеждал рабочих покупать акции предприятий, в коих они работают, чтобы чувствовать себя «хозяевами» (и по-

лучать гривенник с миллиардерского миллиарда). Нет нужды объяснять, что Гомперс выступал с «рабочими требованиями» не где-нибудь, а—на съездах республиканской партии. Нет нужды объяснять, почему Американская Федерация Труда одобрила посылку войск на подавление китайской революции и на захват Никарагуа. И нет нужды объяснять, почему Федерация позаботилась, чтобы рабочие, ею объединенные, не шли к избирательным урнам самостоятельной силой.

Нет нужды говорить о прекрасной личной судьбе мистера Самуэля Гомперса, обладавшего таким здоровьем, что без малого полвека он смог трудиться в таком изнурительном деле, как дело рабочих! — судьба мистера Гомперса — действительно настоящая американская судьба!

Нужды нет говорить о двадцати миллионах вкладчиков в американские банки, — это есть американская система. Но надо помнить, что добрый процент этих вкладчиков — рабочие! — они и вкладчики, и «участники в прибылях», они и акционеры! — Их миллионы, — так много, что двести восемьдесят три человека получали больше миллиона долларов в год так называемых дивидендов!

Я говорил выше о переписке Первого Интернационала с Авраамом Линкольном. Я умолчал о том, что в 1872 году, после разгрома Парижской коммуны, бюро Генерального Совета Первого Интернационала переселилось в Америку. Работа этого бюро породила в Америке рабочую партию, которая с 1877 года на-

зывалась Социалистической рабочей партией. На пороге века эта партия была левым крылом Второго Интернационала. Но на пороге ж века, в 1899 году, партия раскололась. Одна часть партии оставила прежнее свое наименование. Другая часть, возглавляемая Гилквитом, слившись с социал-демократическими американскими группами, сократила свое название, стала называться кратко — Социалистической партией. От Социалистической рабочей партии в 1905 году отделились анархо-синдикалисты, создав союз индустриальных рабочих мира и вскоре погибнув по тюрьмам. От Социалистической партии в 1919 году отделились коммунисты, создавшие свою партию, которая одно время называлась просто — рабочей партией, а с 1927 года называется снова коммунистической.

Но речь сейчас о Социалистической партии, вождь которой — Морис Хилкиут. Перед выборами Гувера, в 1928 году, партия, некогда сократившая свое название, сократила и свои анкеты: в анкете для приема новых членов она выкинула пункт, один-единственный, — пункт об обязательном признании классовой борьбы. Все же назначался пастор, а кандидат в вице-президенты, мистер Джемс Мауер, говаривал в своем городе революционные речи:

— «Мы готовимся дать рабочим типичное правительство рабочего класса, но если за время нашего пребывания у власти в Ридинге случится забастовка, то жизнь и имущество капиталистического предпринимателя будут охраняться так, как никогда раньше!..

Но и это не все. Летом тридцать первого года, в июне, я был свидетелем и газетным читателем следующей поучительности. Вождь Социалистической партии — Морис Хилкиут. Нефтяная американская компания покупала у советского Нефтесиндиката нефть и прочие нефтепродукты, накупила их на сто пять миллионов долларов. Бывшие собственники бакинских нефтей, разбежавшиеся ныне по свету и по «промторгам», завязали в американском суде процесс, требуя наложения ареста на деньги Вакуум-Ойля, компании, закупившей нефть у СССР, и требуя, чтобы деньги были уплачены не Нефтесиндикату, но им, бывшим собственникам собственных бывших их земель в Баку, аргументируя тем, что большевики продают украденную собственность, коя по божескому праву принадлежит бывшим и «законным». Ну, так-вот, дело это в американском суде взялся вести—Морис Гомперс,—то-бишь—Самуэль Хилкиут, — да, да, Морис Хилкиут, вождь Американской Социалистической партии. Америка—страна рекордов, этакое дело, как защита интересов российских белогвардейцев от революции—защита социалистическим вождем,—это на самом деле мировой рекорд предательства.

Я ничего не говорю о Коммунистической партии в Америке — дабы не быть гречневою кашей, которая самую себя хвалит, а мертвые не могут рассказать о себе и о своих делах, потому что они мертвы! — если бы послушать всех тех, убитых за Америку и за рабочее дело в Америке, расстрелянных в дни забастовок,

скорченных в уголь электрическим стулом, сгнивших по тюрьмам, — даже тех, которые сгорбили свои плечи не по тюрьмам, но за станками конвейеров!»...

Не стоит забираться в века. Стоит вспомнить только забастовки текстильщиков в Пассиаке, у того самого сыновнего папаша, сын которого толковал о курице к завтраку, когда рабочие были выселены из своих домов на улицы. Эта забастовка была в 1926 году, ею руководила Рабочая партия. Стоит вспомнить забастовку на горных предприятиях Рокфеллера, в штате Колорадо, когда 21 ноября 1927 года (просперити!) полиция избивала бастующих, убила шесть человек и ранила двадцать три. Этой забастовкой руководила Рабочая партия. В штате Пенсильвания забастовки горняков вспыхивают каждый год. Полиция борется там с рабочими массовыми избиениями. Полиция там применяет, кроме «клобов», последние слова техники — удушливые и слезоточивые газы. 22 августа 1927 года в Эшвике так было избито и передушено двести человек, мужчин, женщин и детей рабочих. Полиции помогала Американская Федерация Труда. Забастовка горняков, в штатах Пенсильвания, Огайо и Западная Вирджиния, начавшаяся в 1927 году, продолжалась больше года. Зимой, стало быть в морозы, до сотни тысяч горняков с женами и их детьми были выселены из рабочих поселков. Забастовочный комитет предлагал внести залог в обеспечение квартирной платы, — предприниматель, Меллон, министр финансов федерального правительства и заводчик, отказался от этого

предложения. В Питтсбурге было выселено таким образом двенадцать тысяч человек, они жили вокруг Питтсбурга в ящиках из досок и толя. Забастовочный комитет мог раздавать рабочим и их семьям только по девяти центов—по восемнадцати копеек—на душу в сутки. Меллона, заводчика и министра финансов, поддерживала Американская Федерация Труда. Даже в сенате говорилось об этом.

Сенатор Гирам Джонсон, докладывал сенату:

— «Мы видели тысячи женщин и детей, голодающих в буквальном смысле этого слова. Мы видели сотни семейств, находящихся в нищете, живущих в грубо-сколоченных бараках». Сенатор штата Пенсильвания Рид, подтвердил каждое слово, сказанное Гирам Джонсоном. В «Ивнингс Ворлд», в газете никак не революционной, писалось:

«...старинный закон разрешает угольным компаниям нанимать на свои средства людей без всякого контроля со стороны власти, обмундировывать их в полицейскую форму и снабжать револьверами и клобачами... шпики и лица, принадлежащие к охране, сами подбрасывают бомбы для того, чтобы провоцировать акты насилия и оправдать свое существование на средства компании. Действительно, официальным обследованием установлено, что многие чины специальной полиции, находящиеся на службе угольных компаний, имеют преступное прошлое».

Даже Фанни Хёрст, из хёрстовской прессы, писала:

«...такое положение. когда семьи, выкинутые из

домов, по-собачьи живут в бараках и конурах, рядом с их пустующими домами, противоречит чувству цивилизации».

Фанни Хёрст констатировала:

«...вкрадчивый красный большевизм бродит в этом угольном районе.

— Дети проникаются чувством ужаса к нынешним условиям. Цивилизация»...

Рабочие из Американской Федерации Труда, вы читали об этом!?—или это тоже «частное дело», подобно тому, как мистера Меллона—«частная» полиция!?

Если б мертвые слышали и если б мертвые могли рассказать о себе! — очень жестокое правило, что ни те, ни другие не слышат!

— В штате Пенсильвания, в Аллегэнских горах, бывают мятели—такие ж, как на вологодско-псковских русских землях. В долинах меж гор торчат вышки шахт. Они молчат, земля уже давно не вздрагивает толчками врубных машин. Рельсы заметены снегом. Вокруг рельс лежат остатки антрацита. Дежурные лампы качаются в ветре, разбрасывая сиротство. Уныло ветер воет в тросах лебедек. Днем здесь все нище от каменноугольной пыли, — пыли от того каменного угля, который гнал по равнинам и горам поезда, по океанам корабли, который согревал каминны и ноги тех, кто грелся у каминов, — пыли от того каменного угля, который, на километры по земле, рыли шахтеры. Но сейчас ночь, в одиночестве электрических лампочек и в скрипе смолкших лебедек. Около мертвых шахт пе-

ресвистываются полицейские свистки. А на склонах гор, над шахтами, за шахтами—в ветру дымили костры против шалашей тех, кого выгнали из домов,— дымили так же, как веками дымили они на дорогах бродяг. В шалашах спали те, кого выгнали из домов. Около костров сидели пикетчики, караулившие ночь. Это были рабочие. Они молчали, греясь у костров. Кепки их были сдвинуты низко на лбы. Рельсы в переулках этих Аллегэнских гор заметало снегом. Но за переулками шли прямые дороги из Нью-Йорка в Чикаго, в Лос-Анжелес, из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк. По этим дорогам мчали поезда, которые называются «двадцатый век», которые выплачивают своим пассажирам по доллару за минуту опоздания, ибо—время—деньги!—ибо нельзя опоздать в Нью-Йорке, где —
— больше! больше! больше! — —

Но если сбиться с этих незаснеженных дорог, загороженных рекламою от естественной природы вещей, если сдвинуть мозги на север, например в штат Северной Дакоты, в американские леса, поистине в естественную природу, то — лесопромышленники Соединенных Штатов, они, в первую очередь, на каждом своем благородном съезде требовали эмбарго на советский лес, аргументируя тем, что советский лес напилен руками ссыльных, а свободная Америка не может пользоваться подневольным трудом! — если притти в естественную американскую природу... Леса, леса, леса. Природа Джека Лондона. И ночь перед рассветом. Пихты, лиственница, кедр, снег. И на рассвете из ша-

лашей барачников идут на работу люди, эти, которые получают двадцать долларов в месяц. Здесь, кроме приказчика, нет исконных американцев. Здесь латыши, литовцы, белоруссы. Эти люди работают на договоре: койка в шалаше барака, харчи, двадцать долларов в месяц и работа от рассвета до заката. Эти люди почти не говорят по-английски, неизвестно, на каком языке они говорят, смешав воедино русский, польский, латышский, эстонский. Эти люди живут здесь годами. На этот рассвет было событие. Пять дней тому назад приказчик избил рабочего—юношу. Этот юноша работал уже много месяцев. Каждый раз в конце месяца этот юноша оказывался в долгу у конторы за те покупки, которые контора делала для юноши в городе. В этот вечер, когда приказчик его избил, он лежал в бараке на своей койке, должно быть, в бреду. Он был впалогруд, много кашлял и в тот вечер говорил сам с собою, мешая соседям. Люди устали, ему сказано было, чтобы он не кашлял и не бормотал. Той ночью юноша убежал из лагеря. Этим же рассветом полицейские, верхом на лошади, пригнали юношу в лагерь. Это было событием потому, что в леса пришел человек, который был—там, за лесами. Юноша лег на свою прежнюю койку. Приказчик был очень ласков. Рабочие наливали себе кофе из бака. У бака рабочие говорили шопотом о том, что—уж будьте благонадежны, шкуре на этом бое не быть, если он вздумал нарушить договор!—недаром так ласков босс. Рабочие шли к койке юноши, садились на соседние койки и спрашивали в истинном любопытстве:

— Ну, как там, расскажи толком, как там, в городе? — ты ведь был в городе? — где ты был?!

Юноша поднял голову и сказал виновато:

— Я не был в городе. Пять дней я плутал в лесах. Я хотел перейти границу в Канаду...

— Значит, ты не был в городе!? — эх, чудак — значит ты трэмп!..

Светало. Люди допивали свой кофе, налитый из жбана, и уходили в лес на работу.

...если ж сбиться с незаснеженных дорог, загороженных рекламою от естественной природы вещей, — если двинуть мозги на север, но на юг, — там — в штатах Тэксес, Миссисипи, Тэннеси, в Восточной и Западной Вирджиниях, в Северной и Южной Каролинах, в Алабама, Джорджия и прочая — там работают — негры, десять миллионов негров (всего их в Соединенных Штатах — двенадцать миллионов), целое государство в государстве. Об этом сказано, как живут негры. В американских газетах от 26 декабря 1930 года, то есть от второго дня христианского рождества, печаталась телеграмма из Джэксонвилль, Флорида:

«Флиртовал с сиделкой» (заголовок жирным шрифтом).

«В местном госпитале на острове Дэйвис служил негр, 24 лет, Тимофей Руз. Так как его обвинили в флирте и приставании к белой женщине, сиделке того же госпиталя, то негр был арестован и посажен в тюрьму. Скоро к тюрьме собралась гро-

мадная толпа, которая, добившись выдачи Тимофея Руза, увезла его за город в лес, и там над ним находившийся в толпе врач произвел под анестезией операцию кастрации. Затем была вызвана карета скорой помощи, и жертву отправили на лечение в Джим-Кроу — госпиталь».

Факт! — факт, хоть и бред! — Десять процентов американских рабочих — негры. Дэллас, Милвоки — чьими руками они построены? — в Милвоки негритянская рабочая лига пригласила на свою конференцию милвокских социалистов. «Социалистическая» партия ответила отказом, понеже негритянское рабочее движение не есть движение рабочее, но — расовое. — Факт! — факт, хоть и бред!

40

Итак: в Америке больше половины всего золотого запаса земли, нарытого человечеством. В Америке половина всех высших учебных заведений земли. В Америке расходуется половина электрической энергии, обузданной на земном шаре. В Америке восемьдесят процентов автомобилей земного шара. В Америке самые глубокие подземные норы муниципальных железных дорог и самые высокие в мире дома, задавившие, прорывшие и задушившие Нью-Йорк в частности, так, что в нем нельзя жить. И прочая, прочая, прочая, чему посвящен весь этот — о-кэй, американский роман.

Итак: в восемь часов утра 29 октября 1929 года начался кризис, который комментирован всем земным

шаром, ибо Америка была хозяином капиталистического земного шара, и потому, что в Америке все—самое большое, непревзойденное, рекордное.

Все, что написано выше, все глаголы в этом, о-кэй, романе, надо поставить, переделать—по грамматике—в бывшее время: все это, кроме кризиса, — бы-ло. Соотечественник Павел Свиньин прав:

«Стремительные перемены во всех частях и исполинские шаги земли сей—сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные прежде сей эпохи».

В восемь часов утра 29 октября 1929 года начался последний американский кризис, как записано в летописях.

В первые два подземно-вулканическо-социальные (как уверяют американцы), в первые два толчка, 29 октября и 13 ноября 1929 года, происшедшие на бирже Уолл-стрита, Америка сброшена была в кризис. Биржа—это цифры. В дни от 24 октября до 13 ноября люди на бирже потеряли—потеряла биржа, исчезло в никуда—пятьдесят миллиардов долларов—сто миллиардов рублей, сумма, в два раза большая национального долга той же USA в 1920 году, когда у USA был самый большой национальный долг, сумма пятидесяти лет государственного бюджета императорской России, если взять за норму 1913 год,—сумма семи лет государственного бюджета Соединенных Штатов, если взять за норму тот же 1929 американский

год. Акции Дженерэл-Мотор (автомобильной) компании например стоили на бирже 15-го, предположим, октября—4 (миллиарда!) 159 770 тысяч долларов. — 11 ноября они стоили 1 (миллиард!) 617 750 тысяч долларов, упав на 2 (миллиарда!) 542 020 тысяч долларов: два с половиною миллиарда долларов — пять миллиардов рублей — это два с половиною годовых государственных бюджета императорской России в 1912 и 1913 годах.

Ценные бумаги падали:

Наименование ценных бумаг.	Цена высшая	Ц е н а	
		29 октября	13 ноября
American Foreign Power	199	55	—
Auburn	514	190	120
Westinghouse	299	100	—
Dupont	234	80	—
Int. Combustion	103	8	—
Webster Eisenlohr	113	4	—
United Corpration	75	24	19
United States Steel	261	167	150
General Motors	93	33	31
General Electric	403	210	186
John Manville	242	107	90
Houston Oil	109	26	—
Radio	114	26	—
Americ. Water Works	199	65	59

Приведено название четырнадцати сортов этих ценных и крупнейших бумаг: ровно семь сортов из че-

тырнадцать тринадцатого ноября, как видно из справки, на бирже уже не имели цены. Если поверить американским справкам, утверждающим, что в Америке было двадцать миллионов акциедержателей, то на круг на каждого акциедержателя (акции-облигации-и-прочее)—на каждого приходилась потеря в две тысячи пятьсот пятьдесят долларов. Но биржа ж отметила (тикером!), что в те же землетрясительно-геологические дни на Уолл-стрите из рук в руки перешло 1 (миллиард!) 018 453 400 штук акций на астрономическую сумму в 125 миллиардов долларов. 125 миллиардов долларов—это семнадцать лет и восемь месяцев теперешнего американского государственного бюджета, это больше, чем век (девятнадцатый, например) государственных бюджетов Англии, Франции, Германии.

Уолл-стрит пишется по-английски—Wall-street, — точный перевод значит — Валовая, Стенная улица. Здесь некогда проходила нью-йоркская стена, когда Нью-Йорк принадлежал еще голландцам и назывался Нью-Амстердамом. От землетрясений Уолл-стрита закачались небоскребы и океаны, особенно в первые дни, особенно у «маржинистов».

«Маржин»—это ссуда, которую, по американской практике, при посредничестве бирже-профессионало-посредников, называемых брокерами, получали под акции желатели эти акции купить. Желатели называются маржинистами. Желатель имел две тысячи долларов, он занимал у брокера восемь тысяч долларов и

покупал бумаг на десять тысяч долларов. Бумаги записаны на имя желателя, но хранятся у брокера. Брокер берет себе процент. Все ж прибыли и убытки с этих бумаг, вся ответственность за них лежит на желателе. Если бумага при сделке стоила сто долларов (из этих ста долларов желателю фактически принадлежит двадцать) и если эта бумага выросла в цене до ста пятидесяти долларов,—желатель на свои двадцать долларов зарабатывал пятьдесят. Если эта бумага упала со ста долларов до пятидесяти, желатель не только потерял свои двадцать долларов, но должен доплатить брокеру тридцать долларов, либо повеситься.

Уолл-стрит — кривая, старинная (единственная старинная в Нью-Йорке) средневековая улица. Уолл-стрит ощерился в небо и в океан клыками небоскребов, но биржа — двухэтажка, и небоскребы теряют свои пропорции, не нарушая стиля средневековой торжественности Стенной (и застенной) улицы.

Был октябрь месяц,—как начинаются иные романы. В Париже, в Монако начался сезон. В Египте пал зной и стали доступны для путешественников пирамиды. По океану из Америки шли пароходы. На пароходах работал тикер. Из Америки выезжали богачи, чтобы повидать пирамиды и посезониться в Париже, отдохнув сердцем в Монако и в европейской культуре. Когда пароходы подходили к Европе, сотни этих богачей знали, что у них нет своего собственного доллара, чтобы заплатить носильщику, ибо

они были не только банкроты, но и должники. «Господин из Сан-Франциско», бунинский рассказ, возымел иную судьбу; корабли привозили к берегам трупы людей, американцев, не умерших на пароходе, но застрелившихся потому, что они, американцы, вчера были миллионщиками, но нынче проснулись нищими, — эти господа из Сан-Франциско американской «случайности»!

В Нью-Йорке в те дни шли дожди. С океанскими выстрелами пистолетов самоубийц переплелись выстрелы нью-йоркских дождливых ночей.

За громами обвалов всегда наступает гробовая тишина. В этой тишине в кабинетах Уолл-стрита собрался совет банков. Джон Морган сел рядом с Куун Лэбом. Они сказали миру и Америке, что—следует успокоиться. Президент Гувер и министр финансов Маллон (каменноугольные копи!) собрались в тишине кабинетов Белого Дома. Они сказали Америке и миру, что—следует успокоиться, во-первых, потому, что от кризисных землетрясений пострадали не все двадцать миллионов вкладчиков, во-вторых, потому, что биржевой кризис вызван главным образом чрезмерным притоком капиталов в биржевой оборот, в-третьих, потому, что с того момента, как биржевая спекуляция прекратилась, возможно рядом предприятий создать основу для нового «процветания», сиречь просперити.

Гувер и Морган предлагали тишину.

Я приехал в Америку именно в эту тишину. Это—уже сегодня. И я адресуюсь к поденщине сегодняшней

го американского покойствия, предложенного Гувером, обещавшим ряд предприятий для основы будущего процветания. Я сознательно не систематизирую моих материалов, чтобы дать их в буднях обыденщины, так, как вообще протекает каждое сегодня. Сегодня живут газетами. Пусть будут газеты, вырезки из них я вписываю в мой текст—так, как они попадали мне в руки.

«С т и м с о н о б и м м и г р а ц и и .

Вашингтон.—После протеста государственного секретаря Стимсона и министра труда и иммиграции Дюка сенатская иммиграционная комиссия решила пересмотреть билль сенатора Рида о запрещении иммиграции на два года, при чем исключение будет предоставлено только ближайшим родственникам жителей Соединенных Штатов.

Стимсон и Дюк поставили на вид комиссии, что именно это исключение для родственников даст несправедливое преимущество иммиграции из Восточной и Южной Европы!

Стимсон советует сократить всю иммиграцию по крайней мере на 90 проц».

«Дочери американской Революции напуганы красной опасностью.

Бостон. — Конференция «Дочерей американской Революции» постановила внести в конгресс билль о признании коммунистической партии вне закона, а также депортации всех коммунистов, уроженцев других стран. Миссис Гулд заявила на конференции, что в школах наблюдается падение патриотического духа и

следовало бы учителей приводить к присяге в верности патриотизму».

«Бывший член Всемирного Суда критикует.

Нью-Йорк.—М-р Джон Бассэт Мур, бывший американский судья во Всемирном Суде, выступил перед ассоциацией нью-йоркских адвокатов с жестокой критикой правительственного отношения к Советскому Союзу. Хотя он и не выступил с прямым требованием признания Советского Союза, однако он указал, что такое признание было бы в полном соответствии с американскими историческими традициями, ибо правительство Америки одним из первых признало режим Французской революции, в конце XVIII столетия. Мур критиковал деятельность конгрессной комиссии Фиша по расследованию коммунизма в Америке, указав, что агитация, вызванная работой этой комиссии, получается как раз за коммунизм. М-р Мур полагает, что признание Советов и торговля с ними облегчили бы кризис».

«За последние десять месяцев было 19 818 банкротств!»

«Задолженность 19 818 фирм, обанкротившихся за последние десять месяцев, выражается в сумме 744 млн. долларов».

«Закрылся банк оф Юнайтед Стэйтс (Банк «Соединенных Штатов»).

Банк имел 59 отделений в Нью-Йорке, 400 000 вкладчиков и около 203

млн. долларов вкладов. Крупнейшие американские банкиры совещались всю ночь о предотвращении дальнейшего кризиса. Штатные власти проверяют дела «Банка оф Юнайтед Стэйтс».

Банк не открыл своих дверей вчера утром и весь день оставался закрытым. Толпы вкладчиков, взбудораженных паническими слухами о несостоятельности банка, начали стекаться к дверям его отделений еще позавчера вечером. Вкладчики стояли у дверей в очередях всю ночь. Были высланы усиленные наряды полиции. Утром на дверях отделений появилось извещение, что штатные власти по надзору за банками ведут расследование.

Всю ночь, кроме вкладчиков, не спали и крупнейшие нью-йоркские банкиры, обсуждавшие меры предотвращения паники в других банках.

Банк во всех его нью-йоркских отделениях насчитывает около 400 000 вкладчиков, главным образом мелких торговцев, кустарей, квалифицированных рабочих, домашних хозяек, лиц мелкого достатка.

Паника началась позавчера вечером в Бронксе после того, как один из тамошних мелких торговцев принес акции банка в свое отделение и предложил управляющему купить их обратно. Управляющий стал отговаривать торговца от мысли продажи акций. И этого было достаточно. Торговец пошел рассказать своим родственникам, друзьям и знакомым, что банк не может купить своих же собственных акций. В тот же час

вкладчики побежали в отделения банка и стали требовать обратно свои вклады. Но судьба их уже изложена».

«Вкладчики «Банка оф Юнайтед Стэйтс организуют комитеты.

Вкладчики «Банка оф Юнайтед Стэйтс», закрывшего свои двери несколько дней тому назад, организовали ряд комитетов и наняли адвокатов для защиты своих прав».

«Мэр Вокер призывает вкладчиков не вынимать своих денег из банков.

— Напрасно публика беспокоится о своих сбережениях, переданных банкам, — говорит мэр города Нью-Йорка м-р Вокер, — финансовая система Соединенных Штатов обеспечивает сохранность депозитов. Городское самоуправление вкладывает сегодня большую сумму в «Манюфакчурерс-Трест компани».

— «Манюфакчурерс-Трест компани», — говорит мэр Вокер, — является одним из банков, из которого на прошлой неделе большое число лиц вынуло свои вклады. Этому банку по одним лишь краткосрочным векселям в течение последних дней пришлось выплатить 40 миллионов долларов».

«Бой на 3-ей авеню, Нью-Йорк-сити.

Перед бесплатной благотворительной столовой, дом № 327 по 3-ей авеню, в ожидании свободных мест собралось до 4 000 безработных, ставших в бесконечную очередь. Полиция стала наводить порядок. Были

по обыкновению пущены в ход колбы. Причина ссоры безработных и полиции неизвестна. Движение на 3-ей авеню боем безработных с полицией было задержано почти на час».

«Промышленники снова требуют эмбарго на советский марганец.

Вашингтон.—Америкэн Манганиз Продюссерс Ассошиэйшен обратилась к конгрессу с требованием эмбарго на советскую марганцовую руду, аргументируя тем, что продажа марганца со стороны Советов есть демпинг, который увеличивает американский кризис».

«Обанкротилось шестьсот банков.

По данным федерального резервного управления, в течение последних восьми месяцев обанкротилось 600 банков, располагавших вкладами на сумму 266 000 000 долларов. Только за последние два дня в штатах Арканзас, Кентукки, Миссури, Иллинойс и Айова обанкротилось или прекратило платежи 73 банка. За 1930 год всего было 1 100 банковских банкротств на сумму 565 млн. долларов».

«Закрылся «Челси Банк» в Нью-Йорке.

5 отделений в Манхэттене. 1 отделение в Бруклине. 14 миллионов долларов вкладов».

«Закрылись 19 отделений «Банкерс-Трест-компани» в Филадельфии.

Вкладчик «Банка оф Юнайтед Стэйтс» покончил жизнь самоубийством.

Покончил жизнь самоубийством, выбросившись из

окна десятого этажа, Давид Поляк, мелкий торговец. Причина самоубийства—разорение в связи с банкротством «Банка оф Юнайтед Стэйтс».

«Борьба с девушками-курильщицами».

Бостон.—Здесь образовалась лига борьбы с курением среди девушек. Председатель лиги — миссис Р. Вильямс».

«Сенатор Фиш нашел виновного!»

Вашингтон.—Руководитель работ комиссии конгресса по расследованию коммунизма в Соединенных Штатах, выступая в конгрессе с речью, заявил, что зачинателем американского коммунистического движения он считает Сен Катаяму, повара, японца, ныне скрывшегося из Америки в Москву».

«Новый министр труда обещает ликвидировать бандитизм в стране».

Новый министр труда и иммиграции обещает, что он примет все меры к усиленной борьбе с преступным миром, который выдвинул целый ряд крупных имен, вроде Капона, Ротштейна и др., открыто ведущих свою преступную деятельность в стране. Ликвидировать это засилие бандитов министр намеревается излюбленным его средством, которое он применяет главным образом к рабочим, а именно депортацией иностранцев-бандитов».

«Протестуют против запрещения иммиграции».

Вашингтон.—Перед сенатской иммиграционной ко-

миссией выступил ряд общественных организаций. Одна из организаций указала, что в 1929 году иммигранты послали своим родственникам в Европу 247 милл. долларов; если бы эти родственники приехали в Соединенные Штаты, эти деньги остались бы в стране. Один из конгрессменов пошутил что это было до 29 октября. Комиссия одобряет запрещение иммиграции, как и будет докладывать конгрессу».

«Пойман бандит Тони Вольпэ.

Чикаго.—Иммиграционные власти арестовали Тони Вольпэ, ракетира, являющегося самым большим бандитом после Капона. Власти намерены депортировать его в Италию, откуда он прибыл 25 лет тому назад».

«Облавы на иммигрантов по приказу Дока.

Нью-Йорк.—В нью-йоркском порту ведутся облавы на иммигрантов, которые отправляются на Эллис-айлэнд (Остров Слез)».

«Депортация ненормальных иммигрантов.

Бикон, Н.-Й.—Принято постановление о депортации всех психически ненормальных. Начальник матаванского госпиталя сообщил, что под его лечением таких ненормальных имеется 35 проц. всего числа больных, а именно около 400 человек».

«Признание полисмена, «стори» (короткий рассказ, правдивая история).

— У нас никогда не было столько работы, как те-

перь,—сказал кап.—И главное совсем не то, что люди, которые никогда не имели «криминал рекорд», теперь превращаются в бандитов. Это понятно—у человека жена, дети, а жрать нечего. Нас смущают большие психологические моменты. Например. Подходит бой и спрашивает: «Где здесь спик-изи?» Вся психология заключается в том, что иной раз не решишь,—действительно ли он хочет выпить, и парню надо указать хорошее местечко, или он лезет на скандал, чтобы не мокнуть под дождем и переночевать в полиции?—Вчера, например, я ездил на мотоцикле в объезд, подъехал к посту приятеля, стоим, разговариваем, темно, ночь. Подходит парень, лет двадцати восьми, небритый, без пальто, спрашивает: «Где здесь спик-изи?» Мой приятель сразу понял, в чем дело, он его легонько толкнул и сказал ему, чтобы проваливал, а то—арестует! — Он его совсем легонько толкнул, а тот не устоял на ногах и упал, и с земли говорит: «Вот этого я и хочу, чтобы ты меня арестовал!»—и в голосе слезы. Выяснилось, что весь день бой не жрал и спать негде».

«Средства против безработицы».

Детройт, Мичиган. — Яблоко, как известно, явилось первоначальным зачинщиком всех земных бедствий. Долгое время яблоко никакой исторической роли не играло. Ныне яблоку выпала историческая судьба быть спасителем Америки от кризиса. Правительство думает таким путем помочь безработным. Фруктопромышленники это правительственное начинание мистера Гувера поддерживают. Появились лозунги,

полилась патриотическая агитация за массовую покупку яблок на улицах у безработных. Городские власти во всех городах отметили на каждом углу улиц места для продажи яблок безработными. Ну, а когда яблоки все будут съедены!?».

«Капон браком своей сестры пытается ликвидировать рознь между бандитами.

Чикаго.—Здесь состоялась свадьба сестры бандита Капона, Мафальды, с одним из бандитских вождей, бывшим до сего времени во вражде с Капоном. Мафальде 18 лет. Она появилась в церкви, держа в руках букет из 400 лилий».

«Гувер считает спасением от кризиса нормальный образ жизни и развлечений.

Вашингтон.—В своем годичном послании к открывшемуся конгрессу президент Гувер заявил, что не законодательство, а только «нормальный образ жизни и развлечений» помогут борьбе с нынешним экономическим кризисом. Он указал, что федеральное правительство, все же, готово ассигновать 150 миллионов долларов на общественные работы для борьбы с наметившейся безработицей. Также Гувер советовал конгрессу усилить законы о депортации нежелательных иммигрантов. Во время чтения послания Гувера улицы вокруг Капитолия охранялись усиленными отрядами полиции, вооруженной винтовками на случай повторения демонстрации коммунистов».

«Муниципал Лоджинг Хаус справился со своей задачей.

На прошлой неделе был день, когда 2 587 человек, из них 56 женщин и 11 детей, неожиданно обратились в городской приют для бездомных—Муниципал Лоджинг Хаус — за помощью. Это был самый большой день со дня возникновения приюта, но он справился со своей задачей. В тот же день эти безработные были накормлены в 27 пищевых станциях, называемых «брэдлайнс». Приют они получили в 17 миссиях и у девяти общественных организаций, мобилизовавших свои ресурсы для помощи безработным».

«Журналу «Юнг Уоркер» (молодой рабочий) запрещена почтовая пересылка».

«Президенту подано требование о помощи безработным со 100 тысячами подписей».

«Объявлены банкротства 4 компаний «Банка оф Юнайтед Стэйтс».

«Продавцы яблок при новой переписи не будут считаться безработными».

«В тюрьме Синг-Синг казнены на электрическом стуле 2 брата Болгеры, 19 и 20 лет, и Итало Фердинади 22 лет».

«Лесоторговцы Соединенных Штатов ополчились против СССР».

«Из-за кризиса уменьшилось число браков».

«Полиция охотится за преступным элементом среди иммигрантов».

«Будет устроено 9 шествий голодающих безработных».

«Ближайшая неделя будет отмечена массовыми шествиями голодающих безработных во всех частях страны».

«Снаряжают экспедицию для розысков двуполого племени негров».

Лос-Анжелес.—Доктор Артур Торранс, специалист по изучению тропических болезней, вылетел на аэроплане в Нью-Йорк, откуда ученый выезжает в Африку. Артур Торранс намерен организовать в Африке экспедицию к озеру Чад. По предположениям ученого, вблизи этого озера проживает племя двуполых негров. Ученый едет в эту экспедицию уже третий раз. В 1924 и 1926 годах ему не удавалось пробраться к озеру Чад. Экспедицию финансирует общество Тропической медицины».

«Вчера судили трех лидеров безработных».

Вчера в суде около Тули—тюрьмы состоялся разбор дела Сэма Несина, Роберта Лисина и Джона Стона, трех активных лидеров движения среди масс безработных, добивавшихся улучшения положения, требовавших государственного социального страхова-

ния и закона о том, чтобы безработных не выкидывали на улицу из их квартир за неуплату аренды. Эти трое подсудимых были в свое время избраны 800 000 безработных, организовавших свои рабочие советы. Ко времени суда район был заполнен массами безработных и охранен конной полицией».

«Безработных продавцов яблок прогнали из фешенебельных районов Нью-Йорка».

«Негры и белые безработные объединились».

Шарлотт, Северная Каролина.—Свыше тысячи безработных объединились во время голодного марша к местному сити-холлу. Мэр города выдвинул против рабочих полицию, вооруженную палками от бейсбола, слезоточивыми бомбами и огнестрельным оружием. Полиция надеялась вызвать расовую вражду между белыми и черными рабочими. Это не удалось. Произошло столкновение—полиция бросилась на негров. Белые рабочие вступились за своих товарищей-пролетариев. Рабочий Бинклэй обратился к рабочим с речью, призывая к классовой борьбе».

«Стоящий в хлебных очередях покончил жизнь самоубийством».

Деличио Дисчитог, 38 лет, получив уведомление от домохозяина, что он будет выселен за неуплату аренды, покончил жизнь самоубийством, отравившись газом. В предсмертной записке он писал, что «стояние в хлебных очередях — это медленная смерть от

истощения», и просил его пальто передать какому-нибудь другому безработному».

«Умерший прочтет свое завещание наследникам с экрана кино.

Бирмингамский коммерсант Х. решил после своей смерти все же лично прочитать свое завещание наследникам. Коммерсант снялся в говорящем фильме читающим свое завещание, при чем он заранее отметил в зале кресла для своих родственников, и загробная речь построена так, что завещатель к каждому наследнику обращается отдельно, по очереди».

«За полное прекращение иммиграции в Соединенные Штаты.

Вашингтон.—Иммиграционная комиссия при палате депутатов одобрила в принципе проект полного прекращения иммиграции в Соединенные Штаты на 2 года».

«Ал Капон — благотворитель.

Чикаго.—Ал Капон открыл брэдлинс (точный перевод — «хлебная линия») для безработных, где выдает хлеб и суп. Ал Капон кормит безработных три раза в день. Через его линию проходят до трех тысяч голодных. Существенно отметить, что по просьбе Ала Капона его брэдлинс не охраняется полицией. Ни одного инцидента там не было».

«Фиш прогрессирует.

Сенатор Фиш, получивший громкую известность после дел своей комиссии, расследовавшей коммунизм в Соединенных Штатах,—комиссии, к слову сказать,

которая чаще называется не Фиш-комиссия, но Фиш-комедия,—выступал вчера в Карнеги-холл, Нью-Йорк-сити. Вздохи симпатии раздавались со стороны слушавших, когда Фиш говорил о бедных полисменах, которых даже иногда кусают женщины и дети, когда блюстители порядка бывают вынуждены самозащищаться от революционеров. Фиш говорил: «Коммунизм стоит перед судом истории в такой же степени, как и капитализм. Капитализм может поучиться многому от социалистических опытов в Советском Союзе. Если капитализм хочет выиграть в борьбе за свое существование с коммунизмом, то он должен почитать свой дом, как это делают коммунисты».—Фиш требовал высылки всех красных и эмбарго для советских товаров. Один из оппонентов Фиша указал на нереальность предложений Фиша, аргументируя свое утверждение тем, что при высылке всех «красных страна и капиталисты могут остаться без рабочих».

«500 фермеров с ружьями в руках требуют хлеба.

Штат Канзас.—500 фермеров явились в город, вооруженные ружьями, с требованием пищи и одежды для жен и детей».

«Самоубийство безработного.

Филадельфия.—Покончивший самоубийством безработный Анатолий Вильсон, 21 года, оставил завещание, в котором просит продать его труп в университет для научных целей за 20 долларов и 18 долларов из этой суммы уплатить его кредиторам».

«Преступники или мексиканцы!»

Лос-Анжелес.—В мексиканских учебниках географии на карте Мексики изображены штаты Тэксэс, Аризона, Калифорния и Нью-Мексико. Надпись гласит: «это наша родина, несправедливо отнятая у нас Соединенными Штатами в войну 1846—48 гг.». Так думают по поводу этих земель мексиканцы. Но не так думают американские власти. Для них мексиканцы—иммигранты. Мексиканские колонии этих мексиканских штатов сейчас терроризованы волной арестов и депортаций мексиканцев в Мексику. Все время к границе Мексики движутся поезда с депортированными. Почти в каждом мексиканском селе ходят по рукам письма следующего содержания: «Я, Диего или Родриго такой-то, сижу сейчас в тюрьме там-то и власти согласны меня освободить, если у меня будут деньги для билета до границы Мексики». Американские власти аргументируют эти депортационные расправы ссылкой на тот якобы факт, что среди мексиканских колоний изобилуют преступники».

«Полиция избивала рабочих в Елизабете».

«Безработные требуют улучшения ночлегов».

«Новые законопроекты о запрещении иммиграции».

«Арестован нью-йоркский король бандитов Джек Дэймонд, обвиняемый в очередном убийстве».

«Ходатайство безработных.

Милвоки.—Безработные обратились в сити-холл с ходатайством передать им для прокормления семей суммы, ассигнованные городом на постройку новой тюрьмы. Городскими властями ходатайство отклонено».

«Паника среди капиталистов.

Джэме Мак-Дональд, глава американской Ассоциации иностранной политики, заявил на конференции пасторов в Нью-Йорке: «Главная опасность капиталистическому миру исходит не от коммунистической пропаганды или советского демпинга, а от того, что среди самих капиталистов нет лидеров, а есть паника, сомнения и неопределенность».

«Сегодня состоится ряд демонстраций безработных в Нью-Йорке».

«Гувер задерживает помощь безработным».

«Сегодня массовый митинг безработных в Мэдисонсквер-гарден».

В Оклахома-сити, штат Оклахома, толпа безработных в 1 000 человек захватила лавки со съестными припасами».

«Леди-миллионерши помогают безработным — по телефону.

Елизабет, Нью-Джерси.—Местные миллионерши, по предложению торговой палаты, придумали занятый способ помощи безработным. Дамы из общества

звонят по телефону незнакомым, но богатым джентльменам, рекомендуются им по телефону и просят их сделать для них, для дам, любезность, а именно—дать заработок одному или двум безработным. Таким образом около 30 безработных получили постоянные вакансии».

«Побоище у сити-холл.

Нью-Йорк-сити.—Вчера около двенадцати часов дня на площади перед сити-холл, где происходил марш безработных, произошло побоище между рабочими и полицией. Марш безработных выделил своих делегатов, которые пошли к помощнику мэра Чарльзу Керригану. Безработные остановились, чтобы обождать своих делегатов. Полиция потребовала, чтобы демонстрация разошлась. Рабочие отказались. Последовало побоище. Произведены многочисленные аресты».

«Король бандитов Джек Дэймонд оправдан и освобожден.

Трой, Нью-Йорк.—Присяжные заседатели оправдали Джека Дэймонда, по прозвищу Длинноногий. Дэймонд обвинялся в пытках огнем и подвешиванием за ноги фермера Гровера Паркса. На основании вердикта присяжных заседателей король немедленно был освобожден. За свою карьеру Дэймонд был арестован 25 раз, но каждый раз быстро выходил на свободу.

«Во время забастовки шахтеров в районе Питтсбурга, за июнь и июль месяцы 1931 года, арестовано 876 человек».

«Губернатор штата Род-айленд мобилизует войска против бастующих ткачей».

«Рядночных грабежей в Нью-Йорке».

«Стрельба, убийства и ограбления в Джерси-сити».

«Шесть замаскированных бандитов ограбили поезд и скрылись».

«Новые женские профессии».

Вот одна из них. В больших магазинах существует особа, продавщица, опекающая жениха и невесту, устраивающих свой будущий дом. На обязанности опекуни лежит руководство покупками для людей, малоопытных в семейной жизни или не имеющих времени посвятить покупкам должное внимание. Опекунша руководит покупателями строго в их интересах. Она все выбирает для брачующихся: и обои для столовой, и даже ветку флер д'оранжа».

«Интервью с м-р Алом Капоном».

...Большевизм у наших дверей. Мы не должны допустить этого. Мы должны все организовать против этого. Мы должны сохранить Америку безопасной и целомудренной. Если машины забирают работу у рабочих, надо для них найти нечто другое. Быть может, рабочий пойдет опять на поле, на землю?—Во всяком случае мы должны заботиться о рабочем в период теперешних потрясений. Мы должны предохра-

нить его от красной литературы, от красной заманчивости. Мы должны все сделать, чтобы ум его остался здоровым».

41

«Газетный юмор!»

«Две рубашки.

— Из-за вчерашнего краха автомобильной компании Цок-Цок я потерял свою последнюю рубашку.

— Но вы сказали то же самое десять дней назад при крахе аэропланной кампании Клоц-Клоц.

— Да. Но то была последняя шелковая рубашка. Теперь я потерял свою последнюю полотняную».

«Странное поведение.

Доктор.—Когда вы заметили первые признаки помешательства?

Домохозяин.—Вчера, когда он пожелал мне уплатить за квартиру».

«Скверные дела.

Посетитель в ресторане. — Что это, голубчик, у вас так скверно пахнет?

Хозяин ресторана. — Что так скверно пахнет? — этой мой бизнес так пахнет!»

«Среди музыкантов.

Пианист (к скрипачу). — Как ваши дела? — в связи с безработицей вы должно быть имеете много досуга для самоусовершенствования?

Скрипач. — Я так часто отношу мою скрипку в

ломбард, что хозяин ломбарда играет уже лучше меня».

«К о н е ц д е п р е с с и и .

— Знаете, а ведь кризис уже кончился!

— Неужели!?

— Да, совершенно верно. Депрессия кончилась. Началась паника!»

«К а к н а й т и у л и ц у в А м е р и к е .

— Скажите, как пройти до такой-то улицы?

— Поверните налево, отсчитайте две очереди безработных за бесплатным супом и поверните направо. Затем отсчитайте еще три очереди безработных и поверните налево. Там вы увидите ряд домов, из которых выселяют бедняков за неуплату квартирной платы. Это и есть улица, нужная вам».

42

Газетные вырезки можно увеличить сто и тысячекратно. Да и надо увеличить, чтобы услышать ту тишину, которую предлагали Гувёр и Морган. Комментировать эти газетные вырезки не стоит, они сами сказали за себя, — совершенно ясна мудрость Гувера, когда он в послании конгрессу утверждал, что «нормальный образ жизни и развлечений» — залог будущего американского процветания. Газетные вырезки показали, как американцы активно изживают кризис. Что касается американской тишины, то о ней рассказано в начале этого — о-кэй, американского романа: американские врачи, исследовавшие влияние нью-йоркского

шума на человеческий организм, утверждают, что шум от времени до времени становится необходимостью, и утверждают, что джаз порожден именно необходимостью шумов для человеческого организма. В начале ж романа рассказано, что на бойнях в Чикаго не механизировано только одно — предательство. Газетные вырезки о математических концертах (которые проходят в тишину) выпущены мною сознательно. Но, если газетные вырезки мною не комментируются, — это ни в коей мере не значит, что можно забыть обо всем том, что рассказано выше в этом — о-кэй, американском романе, — и в первую очередь не следует забывать, что все же Америка — самая богатая, самая сильная, наитехнически усовершенствованная страна, — самая, самая, самая — тысячи людей шагают сейчас по тишине Америки. Это не только марши безработных. Идут вразброд, в одиночку. Они всюду: и на «макадамизированных» трактах, и на проселках, в прериях, и в лесах, в городах и пустынях. Пути их встречаются, переплетаются, пересекаются. Они сами не знают, куда идут. Это — не трэмпы. Это — безработные и потерявшие голову. Иногда они ползут на фордах, трещащих, как аэропланы. Иногда они плывут на плотках по Миссури и Миссисипи. Глаз их — как у того, в Калифорнии, который рыл давно вырытое золото. Они живут в пещерах, на пустырях, на Бауэри. По рассветам они роются в помойных ямах, ища обьедки.

В лето 1931 забастовали шахтеры штатов Пен-

силывания, Охайо, Вест-Вирджиния, позднее к ним присоединились шахтеры штатов Иллинойс и Кентукки. Бастовало больше ста тысяч человек. Казалось бы нелогичным: забастовки в год рабочего голода и безработицы. Но логика реальных вещей указала шахтерам, что толковее бастовать и голодать, чем работать и голодать. Рабочие работали на шахтах только два дня в неделю. Шахтовладельцы (министр и вожьд республиканцев Мэллон!) ставили условием, чтобы рабочие делали закупки в шахтовых магазинах. За два дня труда рабочие не вырабатывали достаточно хлеба, голодали и лезли в петли долгов шахтовладельцев. Рабочие бастовали. Забастовало сто тысяч человек, ибо бороться и умирать — честнее, чем просто умирать. И эта борьба стала борьбою не на жизнь, а на смерть. В борьбу вступили женщины, старики, подростки. В Нью-Йорке, на Унион-сквере, в месте рабочих демонстраций, я был на демонстрации сочувствия шахтерам. Я видел, как говорила девочка-шахтерка, дочь шахтера, маленький человек лет тринадцати-пятнадцати. Она заволновалась, когда поднялась на трибуну под тысячи глаз. Она начала с наивной вещи, — с того, что в их поселке закрыто кино, а поселок охраняется полицией, и она с подругой в праздник бегала тайком, мимо полиции, в соседний город, в кино, за десять миль, чтобы посмотреть кинокартину. Эта наивная вещь мне показалась страшнее ее страшного. А она рассказывала, как шахтеры были прикреплены к месту работы, как они вынуждены были все покупать в един-

ственном на шахте магазине — и покупать не на деньги, но на медные бляхи, которые вместо денег выдавала компания.

Я приведу газетную вырезку, телеграмму из Питтсбурга:

«Питтсбург, Пенсильвания, 28 июня 1931. — К воскресенью подведена следующая статистика шахтерской забастовки и преследований шахтеров со стороны шахтовладельческой полиции. Убито шахтеров — 3. Тяжело ранено (с возможным смертельным исходом) — 19. Избито дубинками и отравлено газами — свыше 2 000. Арестовано» —

Теодор Драйзер объезжал места забастовки. Он написал воззвание, названное им: «Я обвиняю». Драйзер рассказывал, что конные полицейские сгоняют шахтеров даже с тротуаров, совершенно запрещая ходить по «хозяйскому» асфальту улиц и дорог.

Было утро, знойное, как сковорода с плиты, и душное, как испорченная керосинка, нью-йоркское утро, гремящее всеми нью-йоркскими шумами, воняющее всеми нью-йоркскими запахами, защемленное небо-скребами и политое солнцем. В то утро я ходил в дом 54 по улице Лафайэта. Из окон этого дома видны—тюрьма, с одной стороны, и с другой стороны—суд. Далеко на улице, загибая в переулок, стояла очередь людей к этому дому. По улице полз конвейер автомобилей. Очередь пребывала в тишине. Я и Джо, мы вошли в этот дом. В казарме зала этого дома было ровно тысяча человек, таких же, как в очереди. По-

мещение было разгорожено канатами и загажено нищетою. В доме была тишина. Люди в доме стояли, сидели на окошках, сидели на корточках, сидели на полу. За столами сучали клэрки. На каждом столе было по телефону. От времени до времени звонил телефон. Клэрк, на столе которого был телефонный звонок, вставал на стул с рупором в руке. Рупора не требовалось, ибо в казарме наступала немая тишина, такая, которая может быть только в ожидании. Клэрк, все же, кричал в рупор:

— Нужен мастер для починки радиобуфета! два часа работы! пятьдесят центов час!

Я никогда не знал, что выражение надежды — есть жалкое, оскорбительное для человека выражение лица. Десятка три людей протягивали вверх руки, они не замечали, как отталкивают друг друга, — работа! надежда на работу! — И нет, должно быть, страшнее тона, чем тон человеческой мольбы, жалкий и унижительный для человеческого достоинства, — люди кричали клэрку:

— Ради бога! — я хороший мастер!

— У меня семья!

— Честное слово, я хороший мастер, и у меня больная дочь!

Через двадцать минут другой клэрк кричал от другого стола, также в рупор:

— Нужны двое для подрезывания деревьев за городом! работы один день! полтора доллара в день!

Так повторялось семь раз в час. Так прошел час.

Тогда первой тысяче безработных, которая была в казарме зала, предложили уйти из дома, чтобы уступить место тем, которые дожидались на улице, — следующей тысяче. Так ежедневно через контору по найму в доме 54 по улице Лафайэта каждый день проходило восемь—десять тысяч человек. Работу здесь получило два-три процента всех приходивших сюда, работу сроком от суток до одного часа.

С нами вместе выходил с биржи прокарауливший свой час мужчина лет тридцати, в пиджаке, с шерстяным шарфом на шее вместо воротничка и без шляпы. Я пригласил его пойти с нами позавтракать. Это вне американских традиций. Он смутился. Он заотказывался. Он пошел с нами.

Вот уже полгода он ходит изо дня в день по улицам в поисках работы. Дважды он «покупал» работу, — то-есть частная контора по найму давала ему работу с тем, чтобы половину заработка он отдавал конторе. Дважды он был в больнице, оба раза по одной и той же причине — от голода. Один раз его подобрали в хлебной очереди, другой раз он упал на улице. Он помнит, что когда его подбирали на улице в карету скорой помощи, полисмен тихо сказал санитару: «голодающий» — и громко крикнул зевакам: «Ну, что вам здесь надо, разве вы не видели эпилептиков!?» Последние ночи этот безработный проводил в собвях и он ходил без шляпы, так как он не уплатил хозяйке за койку, и хозяйка, прогнав его, задержала его вещи.

Он сказал:

— Я всегда уважал частную собственность, но я не могу больше видеть, как люди едят, — глаза его повторили выражение того золотонскателя, которого я видел в Калифорнии, — этот человек был совершенно явно на краю физической катастрофы, но также на краю и морального перерождения; он продолжал: — Самоубийство, преступление, безумие. — я не знаю, — я хочу только одного — работы!

43

И в этот же день я был у Теодора Драйзера. Он вернулся из Питтсбурга: Джо и я, мы приехали к нему в три. Это было за несколько дней до моего отъезда, и мы приехали к Драйзеру прощаться. По-летнему, вещи были убраны и квартира казалась пустою. Нам отпер Драйзер, никого, кроме него, не было дома. Мы сели в пустом его и громадном кабинете. Каждый раз, как я встречался с Драйзером, Драйзер поднимал тему о будущем социализма, — я думаю, он работал тогда над вещью круга этих тем. И в этот пустой день Драйзер вернулся к этой теме. Он поставил вопрос, который, повидимому, он еще не разрешил и разрешал, для себя, по-своему:

— При социализме, при коммунизме, когда коммунизм пройдет по всему земному шару, останутся или не останутся мерзавцы?

Драйзер — старик. У него совершенно старческие руки и совершенно старческая привычка держать в

руках, аккуратно комкая, носовой платок. И у Драйзера совершенно молодые глаза. Драйзер — прекрасный старик! Мы разговаривали через Джо. У нас была конституция, — через десяток моих фраз Драйзер говорил: «стоп!» (точка), — и Джо переводил.

Я должен был отвечать на вопрос — будут или не будут при социализме мерзавцы? — Я говорил о социальных и биологических инстинктах, которые предрешают мерзавство в человеке. Я полагал, что социализм, уничтожив социальное неравенство, уничтожит мерзавство, связанное с этим неравенством, и социальные инстинкты будут перестроены в первую очередь. Я полагал, что очередь даже для ряда биологических инстинктов не за горами. Социальная медицина, равная для всех, обязательная для всех и профилактическая, рядом с грамотностью вообще и с социальной грамотностью в первую очередь, освободит человечество от эпилептиков, от туберкулезных и сифилитиков, перестроит здоровье человечества, увеличит рост человечества, — перестроит биологию организма каждого индивидуума, создаст здоровую психологию здорового человека и уничтожит, стало быть, биологическое мерзавство, связанное с мерзостью нездоровья, чахоток, чумы.

Драйзер, перебивая через десяток фраз, говорил: — Стоп! — слушал перевод, думал и спрашивал дальше: — Ну, а горбатые? — Ну, а затем? — посмотрите кругом, на земной шар, — человечество уже живет стотысячелетие и — какая мерзость!

Я предлагал вспомнить не столетия, но последнюю тысячу лет, или даже пятьсот, проследить время от средневековья до теперешних дней.

Драйзер сказал:

— Стап! — выслушал перевод и возразил предложением: — Зачем от средневековья и пятьсот лет? — возьмите полтора столетия Соединенных Штатов, — конституция прав человека и — такая мерзость, как в Питтсбурге!

Мы не договорились. Я верил и знал, что социализм освободит человечество от очень большого количества мерзости — социализм и будущее, ибо будущее человечества — социализм. Драйзеру это было не ясно, он не очень верил, и он лучше меня видел прошлое. Так пришел час обеда. В тот пустой день к этому часу выяснилось, что и у Драйзера, и у нас обеденный час пуст. Мы решили обедать вместе. И Драйзеру, и мне надо было отлучиться по мелочным делам. Мы условились встретиться в ресторане, в стареньком французском ресторанчике на 47-й улице. Еще до своей поездки в Калифорнию я был в этом ресторане.

Мы с Джо приехали раньше Драйзера. И мы не нашли ресторана. Старые, трехэтажные дома на этой улице, целый квартал, исчезли, на их месте был пустырь, валялись битые камни. От ресторана уцелело одно лишь крылечко, — белая провинциальная каменная плита. Я сел на нее, чтобы ждать. Драйзер запаздывал. С пустыря вышел человек, сторож. Джо спросил его, — куда делись дома.

— Кризис, — ответил человек. — Дома оказались дешевле земли под ними. Их задушила рента. Хозяева их продали, чтобы не обанкротиться окончательно. Впрочем один или два уже обанкротились.

Автомобиль Драйзера остановился прямо против отсутствующего подъезда. Драйзер привычно шагнул на камень крылечка. И только тогда он увидел, что он шагает в пустоту. И Драйзер заволновался, он вдвойне скомкал свой платок. Мы рассказали ему судьбу этих домов. Драйзер внимательно рассматривал белый провинциальный камень крылечка, — такие камни есть повсюду — в Китае, в Турции, в России, в Англии. Ресторанчика не было.

Драйзер сказал мне:

— Вы говорите — будущее у социализма? и социализм перестроит инстинкты? — впервые в этом ресторанчике я был сорок лет тому назад.

Драйзер замолчал.

Человек с пустыря вставил свое словечко:

— На этом камне Радио-корпорэйшэн будет строить радио-небоскреб, еще выше, чем Эмпайер-Стэйт, о-кэй!

— Последний раз я был здесь неделю тому назад, — сказал Драйзер, — и в первый раз — да, сорок лет назад. Быть может, вы и правы о социальных инстинктах?

Это прощание с Драйзером было за несколько дней до моего отъезда из Америки. И я кончил мой американский роман. О-кэй! — Направо и налево, на

восток и запад от 47-ой улицы располагался Нью-Йорк, остров Манхэттен. Когда Гудзон, чьим именем названа река, омывающая Манхэттен, подплыл к Манхэттену, навстречу ему вышли индейцы. Гудзон угостил индейцев водкой, которую индейцы называли огненной водой. Индейский вождь выпил больше остальных своих собратий, — выпил так, что тут же свалился в мертвый сон. Индейцы решили, что он умер. Но он проснулся после смерти, он сообщил, что был в блаженстве и побывал в потустороннем мире. Манхэттен водкой перешел от индейцев к европейцам и на Манхэттене — как сказано — люди ухитрились побывать в раю. Если б тот райский индеец повидал теперешний Манхэттен — тот самый Манхэттен, где некогда с гранита он ловил рыбу! На самом деле, представить себе на минуту, что в эту скалистую от небоскребов местность, скалистую и изрытую пещерами, такими пещерами, что эти пещеры идут под Гудзоном, в эту местность, задохнувшуюся бензином без единой травинки на бетоне и железе, — волку, как сказано выше, страшно было бы на этих камнях, душно б стало от бензинового и каменноугольного удушья, — нервы волка расстроились бы от грохота города и от миллионов тех радиоволн, длинных и коротких, которые опутывали город, проникая через все, речами президента Гувера, математическими концертами и джазом, рекламой и информацией о забастовке в Питтсбурге. Это был уже вечер, когда мы распрощались с Драйзером. Бродвей захлебывался рекламой.

«Ундервуд — твоя машинка! — всё — больше ни слова!»

«Приблрети же наконец для твоего мальчики муку Сапау!»

— «Локки смягчает горло!»

«Как можно жить без рефрижератора!?»

— больше! больше! больше!

Рекламы гремели, орали, шарашили светом, обвалами света, бредом электрического света, всеми возможными и невозможными цветами и светамн. По асфальту полз конвейер автомобилей. Электрические — с рекламных плакатов — автомобили лезли на небоскребы, падали с небоскребов. Небоскребы замерзали рефрижераторами. В небе торчала красная электрическая женская юбка, вдруг она стала голубой. Но над нею вспыхнули слова:

«Не говори мне, что тебе никогда не улыбнулся случай!!!»

— Ну, а если,—ну, а если — — ну, ну, а если — вдруг — над всем этим — по самой середине неба — повесить плакат единственного немеханизированного с чикагских боен, с города Ала Капона — жирного, слезящегося, даже с обрезанными клыками—борова!?

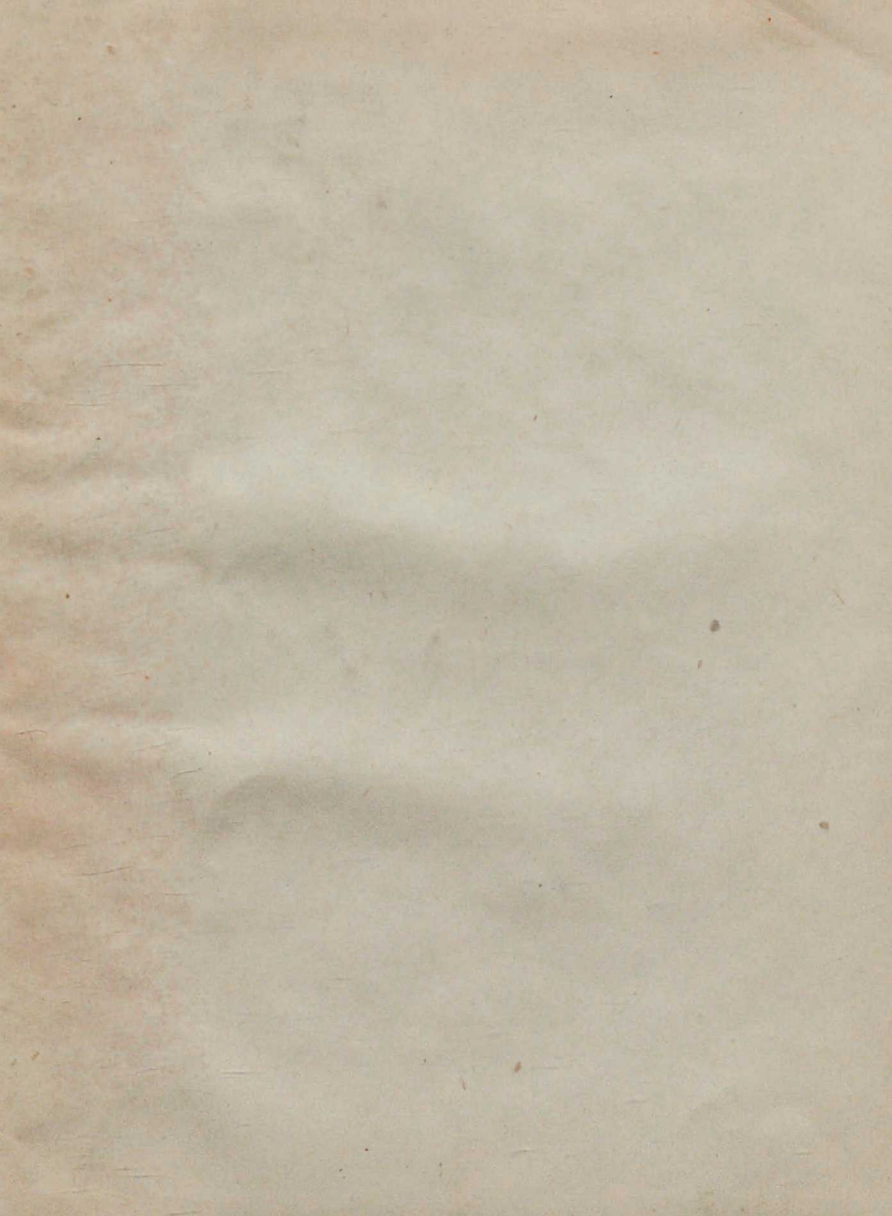
4 июля 1776 года, в день объявления независимости Соединенных Штатов, в Филадельфии, американская женщина Бэтси Росс подарила Джорджу Вашинг-

тону, первому американскому президенту, знамя, первое знамя Северо-Американских Соединенных Штатов. 7 ноября 1931 года, в Детройте, американская женщина Бэтси Росс, праправнучка первой Бэтси Росс, коммунистка, передала коммунистическое красное знамя детройтской организации коммунистической партии.

М о с к в а,
Ямское поле,
Угодские земли.
Октябрь 1931—
18 февраля 1932.

Отв. редактор Г. Цыпин. Техред
Н. Греймер. Москва. Уполно-
моченный Главлита В 30322.
ФОСП № 779/161. Сдано в про-
изводство 5 IX-32 г. Подписано
к печати 10 XII-32 г. Печатных
листов 23,5. Бумага 72×106 с/м.
Тираж 10.200. Заказ № 1403.
16-я типография треста „Поли-
графкнига“, Трехпрудный, 9.







2010456461